



ГОСТИНАЯ

выходит с 1995 года

Годовой выпуск

2024



Philadelphia, 2024

РЕДАКЦИЯ

Главный редактор

Вера Зубарева

зам. Главного редактора

Елена Литинская

Редакция

Ефим Бершин

Владислав Китик

Марина Кудимова

Татьяна Окоменюк

Елена Севрюгина

Дизайнер и технический редактор

Вадим Зубарев (США)

ISBN 979-8-3305-4098-3

ISSN 1076-691 X

*К 225-летию со дня рождения
А. С. Пушкина*

Друзья мои, прекрасен наш союз!

А. С. Пушкин



СОДЕРЖАНИЕ

Вера ЗУБАРЕВА. КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Обзор Гостиной и лауреаты Гостиной-2023.....	6
О книгоделах и издателях.....	9
В рамках необъяснимого: пространство и время.....	12
О новаторстве Пушкина.....	14

СТРАНИЦА ПАМЯТИ

Алена ЯВОРСКАЯ. Памяти Евгения Голубовского.....	17
Вера ЗУБАРЕВА. Памяти друзей и коллег:	
Памяти Сергея Костырко (1949-2024).....	22
Памяти Даниила Чкони (1946-2023).....	24
Памяти Натальи Гранцевой (1951-2024).....	26
Владислав КИТИК. Памяти Беллы Верниковой (1949 - 2024).....	27

ПУШКИНСКАЯ СТРАНИЦА

Олег ГУБАРЬ. Корсар в отставке.....	32
Виктор ЕСИПОВ. «Демократическим копытом...». Политические воззрения Пушкина.....	38
Вера ЗУБАРЕВА. Принцип неопределенности в «Борисе Годунове».....	45
Галина МАНАЕВА. По страницам пушкинской родословной.....	58
Александр МЕЛИХОВ. «Дай нам руку в непогоду...».....	76

ЗАМЕТКИ

Марина КУДИМОВА. Бегущая строка. <i>Персональная рубрика</i>	87
---	----

ПОЭЗИЯ

Рита БАЛЬМИНА. Не пишите с меня икону.....	92
Слава БАШИРОВ. На том и этом берегу.....	99
Юлия БЕЛОХВОСТОВА. Уместить в себе.....	102
Ян БРУШТЕЙН. Седьмая вода.....	107
Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Там, где треплется слово «душа»... ..	113
Надя ДЕЛЛАЛАНД. Удивлённое зеркало.....	116
Виктор ЕСИПОВ. Две фигурки на дороге.....	118
Жанна ЖАРОВА. Зим гравюрой чёрно-белой.....	121
Елена ЛИТИНСКАЯ. Ретро. Стихи разных лет.....	128

Юлия МЕЛЬНИК. Светлей свечи.....	141
Сергей ПАГЫН. У окна	145
Эдуард УЧАРОВ. Запретный язык	149

ПРОЗА

Елена ДАНЧЕНКО. Мой младший брат Петричек. Рассказ.....	152
Александр ШИРОБОКОВ. Ателье. Рассказ.....	165
Елена ЛИТИНСКАЯ. Польские каникулы. Рассказ	171
Татьяна ОКОМЕНЮК. Кумир. Рассказ.....	178
Михаил СМИРНОВ. Души. Рассказ.....	187
Дина ИЗМАЙЛОВА. Александр умирал. Рассказ	201
Наталья ТРУШ. Собачья жизнь. Рассказ.....	208
Станислав ГРИГОРЬЕВ. Донеси светло. Рассказ.....	211
Татьяна ЯНКОВСКАЯ. Треугольник со стихами. Повесть.....	214

ЭССЕ

Ефим БЕРШИН. Песочные часы Юрия Левитанского.....	226
---	-----

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

Александр КАРПЕНКО. «Жизнь – это реквием по человеку...» ..	237
Владислав КИТИК. Здешний и нездешний свет Ксении Август... ..	242
Ольга ЛАДОХИНА. Человеческий самоцвет. Галина Климова. ...	245
Елена СЕВРЮГИНА. Литературный обзор.....	247

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Елена СЕВРЮГИНА. Первый русский поэт-импрессионист.....	254
Валерий СУХОВ. «Венец певца, венец терновый...»	
Мотив предсказания смерти в лирике Лермонтова	259

ИНТЕРВЬЮ

Интервью с Игорем ШАЙТАНОВЫМ.....	264
-----------------------------------	-----

ОДЕССКАЯ СТРАНИЦА

Евгений ГОЛУБЕНКО Омовение словом. Стихи.....	271
Ирина ДУБРОВСКАЯ Старые фотографии. Стихи.....	275
Владислав КИТИК. Маяки светят всем. Стихи.....	280
Тамара КОЛЕНКО. «Старший боцман Адамыч». Очерк.....	285
Алена ЯВОРСКАЯ. Тайны одесского кладбища. Историческая справка.....	290

Вера ЗУБАРЕВА. Колонка редактора

ОБЗОР ГОСТИНОЙ И ЛАУРЕАТЫ ГОСТИНОЙ-2023

Ушедший год порадовал нас интересными материалами в каждом из разделов Гостиной. Имена лауреатов помещены ниже.

Также хочется отметить новые поступления в Библиотеке Гостиной. О некоторых из них я писала в годовом обзоре для Формаслова. Приведу их и здесь с ссылками на эти книги.

К ним, прежде всего, относится «Раздетый свет» Елены Севрюгиной с моим предисловием. Книга самобытная. Дело не в приёмах и образности, а, в первую очередь, в голосе автора, в писательской энергетике, которой проникнуто всё от первой до последней страницы. Метафора раздетого света разворачивается постепенно как сближение Света и Логоса в их первозданности. Поэтому всегда вторым планом присутствует *другое*.

где-то там на совсем другой стороне реки
в глубине холодной чужой планеты
ходят всеми забытые лодки и моряки
управляют ветрами бросают на дно монеты
по ночам зажигают жертвенные костры
а под утро смуглые женщины и мужчины
прогоняют от скал косяки кистепёрых рыб
странно пахнувших мертвечиной
и тогда вода начинает гореть гореть
бледно-жёлтым зелёным оранжевым тёмно-синим
говорят что в час когда хочется умереть
это лучшее из усилий

Новая книга прозы Наталии Елизаровой «Озеро» (Орёл: Издательство «3-е ИЮЛЯ», 2023) очень чеховская по звучанию. Она написана на полутонах, в приглушённой интонации и выстроена вокруг внутреннего мира героев в регистре тонких материй, которые открываются в моменты потерь и разочарований.

Книга-дебют Матвея Цапко «Причина идти дальше». (Красногвардеец: Издательство «ВНОВЕ», 2023). Меня покорила музыкальность и пластика его верлибра. Вылущивание внутреннего – мазками, линиями – и воссоединение разрозненности создаёт удивительно поэтичную и одновременно очень реальную, не надуманную картину отношений. Достигается такой эффект за счёт авторской тонкости и точности.

я с тобой даже не в метр
я с тобой даже не в рифму
мы
на одном языке
это главное
ладонями
головой
тетрадкой
ещё чем-нибудь
закрываю
чтобы ей не пекло
главное украдкой
мы
нить
что стягивает
лоскуты противоречий
в невесомом одеяле
которым укроем
ещё не родившихся
нас

И ещё одна книга-дебют – проза Владислава Китика «Голубиные дворики» (Астропринт, 2023), написанная в лучших традициях Южнорусской школы, где всё проникнуто тем же поиском равновесного состояния перед лицом штормовой реальности. Книга светлая, тёплая, верная по тону и очень нужная сегодня.

И, наконец, очень драматичная книга Владимира Смирнова «Багульник» (М.: Изд-во журнала «Москва», 2023).

Ну, а кроме всего, в Библиотеке можно читать мою повесть «Школьный двор» (Москва ФЛОБЕРИУМ / RUGRAM 2023). Привожу здесь отрывок из рецензии на повесть Ирины Роднянской:

«Понравилось всё: и действующие лица, и одесский быт, и проделки, и любовь. Радость от чтения “Школьного двора” усугубилась тем, что позитивное чтение – само по себе нынче не просто редкость, а целебный раритет».

ЛАУРЕАТЫ ГОСТИНОЙ

Поэзия

Надя ДЕЛАЛАНД. Скульптор небесный листоюший лес

Перевод

Лиана АЛАВЕРДОВА. Пять американских поэтесс.

Проза

Галина ПИЧУРА. Женихи для мамы. Рассказ

Пушкинская страница

Галина СЕМЬКИНА. «Обаяние пушкинских стихов побуждало нас к литературным занятиям...».

Интервью

Алена ЮРЧЕНКО. Анна Маркина, Евгения Джен Баранова: «Бороться, искать, найти и не сдаваться!»

Рецензия

Елена СЕВРЮГИНА. Небожительство в стиле модерн. Максимычева, София. Петербуржье: сборник стихотворений / София Максимычева. – Волгоград: Перископ-Волга, 2022. – 200 с.

Критика

Вера КАЛМЫКОВА. «Как набраться сил идти вперед, где тускнеет свет». (Поэзия Киры Грозной)

Одесская Страница

- Евгений ГОЛУБЕНКО. Причастность к сотворенью. Стихи
- Алена ЯВОРСКАЯ. «О, граждане воры...» Рассказ

О КНИГОДЕЛАХ И ИЗДАТЕЛЯХ

Писатель издал книгу. Праздник! Её ждали, помогали собирать средства и радовались всем миром, когда нужная сумма была собрана. А писатель? Тоже радовался. Теперь сидит в окружении книг, на которые насобирал денег и которые (книги) ему честно отдал издатель. Нет, ну несколько копий, конечно, автор великодушно оставил издателю на всякий случай. Также раздарил спонсорам, затем – критикам и близким друзьям... А дальше? Дальше припоминаем Ильфа и Петрова, слегка перефразировав: распространение пишущих – дело рук самих пишущих. Издатель, конечно же, удивлённо поднял бы брови, услышав такое А, что, мол, ещё от него ожидалось? Ну выступит там-сям со своей продукцией, чтобы привлечь новых авторов. Среди них может, и покупателей немного найдётся (собрать пишущих куда проще, чем читающих). Такова реальность.

Нужно признать – распространение книг сегодня находится в плачевном состоянии. Даже не так. *Культура распространения* книг сегодня находится в плачевном состоянии. Иными словами, историко-литературный опыт по изданию книг, если и знаком образованному издателю, то не принимается в расчёт. Издательства, предлагающие издать книгу, её активным продвижением не занимаются. Не все, конечно, но заметная часть. Функция такой части издателей сводится исключительно к выпуску книги. Это включает дизайн, набор и иногда корректора. Ну и печать, конечно. Можно всё то же сделать дома на компьютере, в том числе дизайн и вычитку текста с помощью программы или близкого друга. А потом издать в Инграмме или Руграме. Затем известить друзей в сетях и самому же отправить желающим книгу. Книга получается для узкого, но очень ценного круга заинтересованных в том, чтобы прочитать, а иногда даже и написать о ней.

Причём тут издатель? Ни причём. То есть, он был «причём», когда подготавливал книгу к печати и получал за это оплату. Но на этом причастность к книге закончилась.

Дело всё в том, что, если художественное произведение само по себе обладает безусловной ценностью, то книга такой ценностью не обладает. У книги ценность условная. Книга зависит от рынка, от времени и многих других факторов. Времена меняются, а ценность произведения сохраняется (знаменитое «рукописи не горят» об этом). Задача издателя в том, чтобы максимально повысить условную значимость книги, донести её до читателя. Издатель, который озабочен лишь тем, чтобы получить оплату за свою продукцию, на это не способен. И в этом смысле он книгодел.

Первым крупнейшим распространителем в России был Фаддей Венедиктович Булгарин. Булгарин – фигура одиозная, но опыт его

издательской деятельности открыл новую эру в издательском деле в России. Он постиг искусство распространения журналов и книг настолько глубоко и успешно, что его можно было бы назвать гением-распространителем. Посудите сами. «В то время, когда Пушкин почувствовал первые признаки читательского охлаждения, в 1829 году, Булгарин издал своего “Ивана Выжигина”; затем “Петра Выжигина”, “Дмитрия Самозванца”, другие романы и повести. Спрос оказался больше обычного: за 5 дней разошлось 2000 экземпляров “Ивана Выжигина”, в течение двух лет до 7000. ... Причина временного успеха булгариных довольно понятна – об этом говорилось не раз: потакание примитивным вкусам тех, кто выучился грамоте, но не чтению, кому Пушкин, другие лучшие литераторы чужды, “трудноваты”» (Н. Я. Эйдельман. Статьи о Пушкине. М., 2000 г. С. 378). Но не только в этом дело. Вкусы вкусами, но ведь нужно было ещё донести это до широкого читателя!

Булгарин начинал как журналист, писал очерки и военные рассказы, а затем стал издавать собственный журнал («Северный архив»), но на этом не остановился и продолжил свою издательскую деятельность, открыв совместно с Гречем «Северную пчелу», которую успешно распространял. Тираж газеты достигал 10 тыс. экземпляров, что было рекордным показателем. Широкий круг подписчиков приносил прибыль. Кроме того, яркое публицистическое перо Булгарина снискало как друзей, так и литературных противников, что ещё больше привлекло внимание читателя к его изданию. При этом Булгарин успешно налаживал контакты с иностранными кругами. По словам Н. И. Греча, ему удалось попасть «во французский круг у генералов Базена, Сенновера», где он читал «свои сочинения, которые кто-то переводил для него на французский язык. Именно о французском своем сочинении Булгарин вспоминал во “Встрече с Карамзиным”, сообщая о том, что историограф услышал и оценил его при первой их встрече в 1819 г. Чтение этого сочинения происходило на литературном вечере у Эмиля Дюпре де Сен-Мора, литератора и ультрароялиста» [Кузовкина 2007: 278]. В дальнейшем по его стопам пошли наиболее известные российские издатели.

Здесь нельзя обойти фигуру известного издателя А. С. Суворина, издававшего также и Чехова и состоявшего с ним в дружбе многие годы. История и опыт Суворина представляют интерес.

Сын государственного крестьянина, дослужившегося до капитана, что дало ему возможность получения потомственного дворянства, Суворин до открытия своего издательства сотрудничал с «Московским вестником», «Русской речью», был опубликован в «Современнике», затем, переехав в Петербург, публиковался в газете «Санкт-Петербургские новости», для которой писал обозрения и фельетоны. Спустя некоторое время, уже набравшись достаточно

опыта, он решает открыть своё издательство. В этом ему помогли не только навыки работы в различных изданиях, но и острый журналистский ум и умение ориентироваться в обстановке.

Суворин перекупает в 1867 году убыточное «Новое время», налаживает дело и в дальнейшем решает класть прибыль не в карман, а на развитие издательства, направляя вырученные деньги на издание книг. Его типография открывается в 1877 году и начинает успешно функционировать, выпуская самую разнообразную книжную продукцию. Суворин придумал схему, по которой кропотливо и успешно осуществлял задуманное, завоёвывая читательский рынок. У него был также свой книжный магазин.

Конечная цель Суворина состояла в издании большой литературы. Издательское дело было его вкладом в литературный процесс. Но конечной цели нельзя достичь без промежуточных целей. Промежуточными были выпуск недорогостоящих изданий с целью охватить широкий круг читателей, не снижая при этом планки. Так появились издания серий «Дешёвая библиотека» и «Научная дешёвая библиотека». Названия отражали доступную стоимость книг, уровень которых был столь высок, что вскоре серии принесли славу Суворину как издателю интеллектуальной литературы. В кругах русской интеллигенции Суворин прослыл издателем-просветителем. Печататься у него было почётным для автора. Основной доход шёл от «Дешёвой библиотеки», а на вырученные деньги издавалась классика. 10-томное издание Пушкина, например, составляло 100 тыс. экземпляров.

Да, издательское дело хлопотное, требующее знания рынка, связей с покупателями, рецензентами, прессой, особого энтузиазма и преданности своему делу. Издательский талант является здесь основополагающим. Он так же редок, как писательский.

Надежды на то, что издатель, отправляющий автору тираж, вырастет в нового Суворина, столь же малы, сколь надежды на то, что автор станет таким же успешным распространителем своих книг, как Булгарин.

Сегодня массовый доступ к печати в Амазоне, Инграме, Руграме и у др. сетевых книгоделов перекрывает работу многих мелких издательств. За дополнительную небольшую оплату крупные сетевые издательства могут ещё и продвигать книгу в сетях. Разумеется, они индифферентны к качеству произведений. Развитие той или иной национальной литературы их не касается. Но при прочих равных условиях для автора это выгодный вариант. Главное – автор не обязан выкупать немислимое количество собственных книг. Он может заказать некоторое количество экземпляров для себя и, если понадобится, заказать книгу повторно по авторской скидке. Как говорится, дёшево и сердито. Дёшево в смысле печати, сердито в

смысле гласа вопиющего в небоскрёбах книжной продукции.

P.S.

Разумеется, не всё так однопланово в современном издательском мире. Мой опыт работы с издательствами скорее положительный. Наверное, это связано с пониманием общей ситуации и тенденций, о которых писалось выше. Надеюсь в будущем продолжить этот разговор уже в качестве интервью с некоторыми издателями на страницах Гостиной.

В РАМКАХ НЕОБЪЯСНИМОГО: ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ

Время – это меняющееся пространство, его внутренний механизм изменчивости. Оно проявляет себя, деформируя или совершенствуя пространство на всех уровнях – от макро до микро. Иногда – под давлением внешних сил, служащих катализатором перемен.

Телевизор включает в розетку хвост,
Возвращается к жизни привидение-время
И шарит по ящикам, перетряхивая мозг
И циферблатами глаз наблюдая за всеми.
Только по ним и распознаёшь
Расположение клюва в дремучем пространстве.
Но толку что? Оно – филин, ты – ёж.
Ещё никто не увернулся, не спасся.
Снова ухает.
Колебания масс.
В воздухе носятся
Вирусы бессонниц.
Тревожно ворочаются
Личинки дремоты
В кавернах пней,
В болотных перинах.
По ним, пугая осололевших лягушек,
Хлюпают мысли барсуков и ежей.

Что было раньше – пространство или время – вопрос «курицы и яйца». Человеку не под силу его решить. Наша жизнь протекает в рамках необъяснимого. Иногда

Кажется, мы потерялись в пространстве.
Или во времени. Или в том и другом.
Трудно сказать наверняка, пока
Пространство и время сосуществуют,
Как тело и душа. Пространство – тело.
Время – душа. Оно беспокойно,

Оно разъедает жилы пространства,
Заставляет его пульсировать, болеть,
Сохнуть, обрушиваться, истекать потопами.
Без него пространство очоленеет,
Покроется коррозией, перестанет быть.
Быть или не быть – вопрос пространства.
Это оно, безутешный Гамлет,
Ловит знаки привидения-времени,
Верит в его допотопные рассказы.
Время катится по нему, полыхает,
Как шаровая молния по полю жизни.
Кто перешёл его – тот погиб.

Глубинные изменения в пространстве дают о себе знать задолго до того, как станут явными. Некоторые ловят их во сне, где они трансформируются в причудливые образы.

В полночь, когда замирает всё в дуплах,
Коре, подземельях, запруженных водоёмах,
Филин выходит на лунную охоту –
Каждую ночь он охотится на сны.
Они бросаются врассыпную, как мыши,
Чтоб слиться с темнью, превратиться в тени.
Клюв его стрелок остро отточен,
Два циферблата его глаз
Крутят стрелки в зеркальном направлении,
И всё живое прижимается к земле.
Кольшутся рыбы на блюде водоёмов,
Вязнут птицы в болотах воздуха,
Звери зажмуриваются, и ночной страх
Их погружает в топи оцепенения.
Звери боятся превращений пространства,
Звери читают на языке тьмы.
На нём написаны все инстинкты,
И все стихии разговаривают на нём.

Импульсы грядущих перемен тревожат внутренний слух писателя. Тогда-то и рождаются Беатриче, Лаура, Ярославна, Незнакомка, Прекрасная Дама, Маргарита... Они не только несут в себе определённую эпоху. В них растворено мироздание – бесконечное и безначальное, беспрестанно меняющееся и самообновляющееся. В отличие от образов, слитых с конкретикой «места действия», большие произведения обречены на нескончаемую одиссею, причаливая к эпохам, оставляя свой след, и отчаливая к новым. Большой писатель воссоздаёт не события, а очертания времени.

О НОВАТОРСТВЕ ПУШКИНА

Русская литература в том виде, в котором мы знаем её сегодня, обязана своим своеобразием Пушкину. Речь не о новшествах в рамках известного, а о смене парадигмы мышления, в корне повлиявшей на развитие русской поэзии, прозы и драматургии. Смена парадигмы – вещь непростая, тем более, когда речь идёт о богатейшем литературном наследии западноевропейской литературы, которую Пушкин прекрасно знал и читал.

Две вещи, которые Пушкин ввёл в литературу, поменяв её курс, были жанр, названный им «поэзией действительности», разумея под «поэзией» художественную литературу в целом, и драматические инновации. В его бытность эти новшества не были до конца поняты и оценены, но впоследствии большая русская литература пошла в разработанном им направлении. В 1833 году выход в свет полного издания «Евгения Онегина» «стал поводом для новых пасквилей. О Пушкине хулителю говорили как о писателе “без мыслей, без великих философических и нравственных истин, без сильных ощущений, он “просто гударь”...14* Но и некоторые из тех журналов, которые раньше оценивали первые главы романа сочувственно, теперь писали о нем совершенно иначе, обнаруживая полную неспособность понять его новаторство.» [Мейлах 1984: 79].

И в прозе, и в драме Пушкин сместил фокус с сюжета на характер. Шаг был поистине революционный, учитывая, что весь просвещённый мир был увлечён нравописанием, заполонившим книжные полки и диктовавшим писателю определённые правила создания повестей, поэм и романов. Нравописание активно расширялось за счёт новых жанров от приключенческого до исторического, любовного и др. Несмотря на это, не только нравоописательная схема, активно разрабатывавшаяся и в молодой русской литературе, но и детерминирующая роль сюжета, где характер играл подчинённую роль, были в корне пересмотрены Пушкиным.

Назвав «Бориса Годунова» комедией, Пушкин обозначил новый этап в развитии драматического жанра и стал первым создателем не просто несмешной, но и очень драматичной по содержанию комедии (так Пушкин определил жанр своей исторической драмы) «Борис Годунов». Мало ему было бесконечных придинок со стороны критики!

Можно было бы гадать, что конкретно имел в виду Пушкин, назвав «Годунова» комедией, если бы он не оставил нам своих статей и заметок.

В то время как аристотелевская школа и её последователи фокусируются на различиях между комедией и трагедией (довольно безуспешно), Пушкин впервые ставит вопрос о том, что является для

них общей основой. Его ответ — характер.

В статье «О народной драме...» Пушкин, размышляя о комедии, резонно отмечает, что «смех скоро ослабевает, и на нем одном невозможно основать полного драматического действия». Далее он вводит понятие «высокой комедии», утверждая, что «высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и что нередко близко подходит к трагедии» (Пушкин VII, 147). Здесь, по сути, Пушкин, вопреки догме Аристотеля, отделяет смешное от комедии, давая понять, что «смешное» даже и не обязательный признак комедийного жанра. Это ли не новаторский взгляд?

В статье «О народной драме и драме “Марфа Посадница”» он пишет:

Трагедия преимущественно выводила тяжкие злодеяния, страдания сверхъестественные, даже физические (напр., Филоклет, Эдип, Лир). Но привычка притупляет ощущения – воображение привыкает к убийствам и казням, смотрит на них уже равнодушно, изображение же страстей и излиятий души человеческой для него всегда ново, всегда занимательно, велико и поучительно. Драма стала заведовать страстями и душою человеческою (Пушкин VII, 147).

Акцент, как видим, сделан на внутреннем, на излипаниях «души человеческой», на скрытых страстях, а не на том, на что опирался Аристотель в своём определении трагедии, утверждая, что «без действия трагедия невозможна, а без характеров возможна» (Аристотель 1983: 653). По Аристотелю героям присущи только внешние атрибуты – статус (высокий в трагедии и низкий в комедии) и набор гомогенных качеств, позволяющих соотносить их однозначно с той или иной группой («негодные» или «худшие» в комедии и «лучшие из нас» в трагедии). Жанр определяется действием, а действие продиктовано целью. Герой в этой трактовке – марионетка, управляемая действием. Этот постулат доминировал на протяжении веков.

Пушкин поставил всё с головы на ноги, показав, что сюжет не движет характерами, а вырастает из них.

Пушкин был абсолютно прав, когда писал: «Успех или неудача моей трагедии (так он называл в письмах жанр «Годунова» – ВЗ) будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы» (Пушкин VII, 433). Наивысшей точки «преобразование» достигло в комедиях Чехова, в которых продолжено и развито новаторство Пушкина практически по всем направлениям, обозначенным в «Годунове». Невзирая на отсутствие действия, открытую концовку и отказ от главного героя, Чехов настаивал на комедийном жанре своих пьес, которые все упорно принимали за драмы.

Подобные параллели дают возможность лучше оценить новаторство Пушкина, проявляющееся, как всякое новаторство,

ретроспективно, по типу «ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо (Исх. 33:19–23).

Литература:

Аристотель. Поэтика / Перевод с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Аристотель. Сочинения в 4 тт. Т. 4 / Общ. ред. А. И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 645–681.

Мейлах Б.С. Творчество А.С. Пушкина: Развитие художественной системы. Книга для учителя. М.: Просвещение, 1984.

Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 тт. / Сост. Б. В. Томашевский. 4-е изд. Л.: Наука, 1977–1979.

СТРАНИЦА ПАМЯТИ

Алена ЯВОРСКАЯ. Памяти Евгения Голубовского.

Прошел год. И все равно трудно привыкнуть к мысли, что нельзя больше позвонить, зайти в гости, посоветоваться, узнать о новых книгах, о забытых именах. Без Голубовского не вышли бы в свет десятки, а то и сотни книг, не стали бы многие поэтами, прозаиками, да и жизнь у них сложилась бы совсем по-другому – скучнее, хуже. И, как и год назад, я могу лишь повторить то, что писала для книги, которую друзья сделали Жене в подарок. Книги о нем, человеке, с которым так легко и хорошо было говорить о литературе и о жизни. Говорить обо всем...

В августе 1984 мне дважды повезло: меня приняли на работу в Одесский (тогда еще государственный) литературный музей, и я попала в сектор «двадцатых годов».

Официальное его название было длиннее – «сектор литературы 1920-х-1940-х годов», но так этот сектор никогда не называли, и был он сектором «двадцатых годов», а сотрудники его, соответственно, «двадцатниками».

В августе-сентябре все старые «двадцатники» – Марина Лошак, Оля Попроецкая, Таня Липтуга – отдыхали после открытия музея, заведующая сектором Наташа Городецкая была в декрете, а единственный и главный мужчина сектора – Боря Владимирский и вовсе уволился.

Два месяца жизнь была тихой и спокойной. Но потом начали возвращаться из отпусков девушки, и жизнь забила ключом.

Приходили гости – замечательные, интересные люди. Кроме обаяния молодых и красивых девушек, их привлекали архивы, которые в те годы казались неисчерпаемыми – на столах барышень лежали в ожидании описания и сдачи в фонды фотографии Ильи Ильфа, рукописи ранних стихов Семена Кирсанова, Валентина Катаева, уникальные книги.

И расходились из сектора если не далеко за полночь, то близко к этому.

Звучал бархатный голос Юрия Михайлика, который читал стихи – свои и Бродского, строго отчитывал за ошибки в экспозиции Сергей Зенонович Лущик, приходил с рассказами о «раньше временах» и одесскими анекдотами Саша Розенбойм, целовал ручки дамам Тарас Максимюк, забегали коллекционеры Толя Дроздовский, Леня Нейман, Алик Клевицкий – посмотреть на наши экспонаты, показать свои находки.

В этом калейдоскопе лиц, рукописей, легкого флирта, неизменного кофе для гостей однажды появился невысокий человек с пышной

шевелюрой. Это был Евгений Михайлович Голубовский. Невысокий, с негромким голосом и обаятельной улыбкой. Журналист «Вечерней Одессы» – в те годы это была лучшая, самая живая и веселая газета Одессы.

Потом Марина Лошак подробно рассказала мне про Евгения Михайловича – о его увлечении авангардной живописью, о том, как его исключали из Политеха, о поездке в Москву и встрече с Ильей Эренбургом, о письме Эренбурга. Тогда, до перестройки, эта история казалась невероятной, фантастической.

И такими же невероятными были и его рассказы о встречах с писателями, поэтами, художниками, о книгах из его коллекции – изданиях начала века и двадцатых годов. Футуристы, имажинисты, вычурно звучащие названия сборников: «Пощечина общественному вкусу», «Громокипящий кубок». Евгений Михайлович щедро делился с нами – далеко не все коллекционеры, рассказывающие о своих сокровищах, соглашались дать их на месяц-другой на выставку.

Постепенно это знакомство перерастало в дружбу, и называла я нашего гостя уже не Евгений Михайлович, а Женя, а затем «пустое вы сердечным ты» стало не обмолвкой, а привычным обращением.

Женя открыл мне еще один мир, о котором я не знала – мир одесских художников. Именно он привел меня в мастерскую Иосифа Островского, которого называл Осиком. Прошло больше тридцати лет, а я помню залитую солнцем мастерскую, скорбные лица еврейских стариков в голубой дымке и неожиданно лукавую улыбку козы. Мир волшебства, туманной легенды.

А потом был мир плутовской, озорной сказки в мастерской Юрия Коваленко – он отобрал работы для большой выставки в Германию и позвал Голубовского посмотреть. Каким-то чудом до этого Женя оказался в музее и взял меня с собой. Сельский городок, где сверкают купола церквей и гуляют козы, где идет дождь из рыб, а груши больше людей. И обжигающие искры с картины «Смалят кабана» долетают сквозь годы, напоминая о первой встрече с озорным художником, похожем на пополневшего Пана Врубеля.

Не помню, что было раньше – я попала в гости к Голубовскому или познакомилась с Вале́й, его женой. Вале́й она стала для меня сразу и навсегда. Немного людей такого обаяния, ироничности, удивительной легкости я встречала. Аристократичная, стильная – эти слова слишком просты для описания Вали. Светлая – наверное, это самое удачное определение. Валя читала у нас в музее лекции об искусстве – точнее, не лекции это были, а беседы. Посещение их было не обязательным, но даже зрители наши шли на всевозможные ухищрения и чуть ли не должностные преступления, чтобы хоть полчаса послушать Валу.

Квартира Голубовских на площади Конституции, возле редакции

«Вечорки», была в стандартной «хрущовке». Убогость этих зданий общеизвестна – низкие потолки, не всегда разумная планировка. Но у Голубовских потолки словно раздвигались – все стены были увешены картинами одесских художников, а книги занимали все оставшееся место, явно главенствуя в дом и выживая хозяев. Даже комнатку для маленькой Анечки сделали, перегородив большую комнату книжным стеллажом.

Я помню свой первый визит в эту квартиру, и, кроме восхищения книгами и картинами, немного смешное чувство удивления: коньяк мы пили из точно таких же рюмок, что стояли у меня дома в серванте, а тахта была покрыта точно таким же одеялом в зеленую клетку, что и у меня. В те годы журналисты еще казались если не небожителями, то уж точно людьми из другого мира. А эти мелкие детали делали знакомство еще более уютным.

Началась перестройка, взволнованные обсуждения уже не книжных находок, а новых литературных публикаций, а затем и политической жизни. До того мы привыкли к еженедельным обязательным пятнадцатиминутным политинформациям, на которых все, включая докладчика дремали. И кто бы мог подумать, что мы станем не только читать газету «Правда» но еще и бурно обсуждать прочитанное! И выборы в горсовет, на которых впервые можно было в самом деле выбирать. И вот уже Евгений Михайлович Голубовский стал депутатом. И естественно, работал в комиссии по культуре. Бурное время надежд и разочарований, когда тяжелый быт скрашивали новые книги, возвращение забытых имен.

В эти годы Женя стал не только журналистом, но и тележурналистом – ведущим программы «Конец века – новый век».

В новом веке Голубовский начал возвращать забытые имена не только на страницах газет и с телеэкрана.

Уже был создан Всемирный клуб одесситов, бессменным вице-председателем которого он является. И вот под эгидой клуба началось издание малотиражных книг – всего сто экземпляров. Первой вышла книга стихов Анатолия Фиолетова «О лошадях простого звания».

А затем Женя предложил следующую книгу делать вместе. Книгу Веры Инбер. И придумал название «Цветы на асфальте» – по строке из ее лекции о моде 1914 года «Современные женщины – последние яркие цветы на сером асфальте города». Работа над книгой всегда приносит необычные открытия – я искала в периодике 1910-х годов лекции Веры Инбер о модах, а нашла с помощью Оли Барковской очерк Натана Инбера о жене. В те годы компьютер был роскошью невиданной, о ноутбуках вообще не слышали и переписанный от руки

текст был принесен Жене. Надо признаться, почерк у меня, мягко говоря, не самый лучший и разборчивый, но закаленный работой в газете Женя безропотно прочел и одобрил находку.

Надо сказать, что Женя – самый мягкий из всех со-составителей (а делала я книги вместе с Сергеем Зеноновичем Лущиком, Сашей Розенбоймом, Аней Мисюк). Работать с ним – одно удовольствие. Увы, не все проекты состоялись – но всегда не из-за нас, а из-за обстоятельств непреодолимой силы, как говорили раньше. Попросту – из-за отсутствия денег.

Именно Женя придумал «изюминку» для нашего музейного сборника «Дом князя Гагарина» – вот уже шесть раз он дает для репринтной публикации малотиражные и уникальные книги – Георгия Шенгели, Зинаиды Шишовой, Василия Каменского, Владимира Нарбута, сборники «Омфалитический Олимп» и «Первый альманах».

С начала XXI века выходит альманах «Дерибасовская-Ришельевская». И бессменный замредактора – Евгений Голубовский. Именно он вдохновляет и заставляет меня писать статьи для альманаха. Если с первым проще – то со вторым намного сложнее. Порой Женя отступает и машет рукой – и тогда я пропускаю очередной номер, а потом с обидой думаю: «Надо было Жене меня заставить! Так красиво было – десять номеров подряд мои статьи, а теперь перерыв...»

Для Всемирного клуба Женя придумал газету «Всемирные одесские новости». Был ее редактором и выпустил ровно сто номеров. А потом передал в другие руки.

Книги, которые он сделал, стоят на полках Всемирного клуба – книги стихов Петра Ставрова, Юрия Олеши, Натальи Крандиевской, «Возвращение Ковчега».

И последняя книга, о которой он мечтал долгие годы и которую мы сделали вместе – большая книга Анатолия Фиолетова «Как холодно розовым грушам...». Книга – открытие, ведь в нее вошли стихи, до того не публиковавшиеся. Книга, в которой статьи ученых из России и Америки, и, естественно, наши – моя и Голубовского.

Собственную книгу Женя сделал к восьмидесятилетию – «Глядя с Большой Арнаутской». Название географическое – не помню, то ли в 2004 то ли в 2005 семья Голубовских перебралась в новую, просторную квартиру. Но так же тесно в ней увешены картинами все стены, так же не хватает места книгам. Как-то Женя огорченно сказал, что Валя потребовала убрать все «толстые» перестроечные

журналы, и он покорился.

Стоят на полках вперемешку старые книги и новые, громоздятся на полу стопки журналов, а на старинном столике лежат те книги, которые надо прочесть – и вышедшие в Одессе и присланные из других городов и стран.

И, невзирая на коронавирус, изоляцию и прочие прелести современного быта, можно прийти на Большую Арнаутскую, сесть в старое, уютное, слегка продавленное кресло.

Сесть и говорить о книгах – старых и новых, друзьях, разъехавшихся по всему миру, о планах, о картинах, обо всем. Говорить с вице-председателем, зам. редактора, журналистом, книжником, другом – Евгением Голубовским. С Женей.

Вера ЗУБАРЕВА. Памяти друзей и коллег

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО (1949-2024)

Странные чувства испытываешь, когда послание есть, а адресат выбыл... На протяжении всех предыдущих лет, начиная с того момента, когда «Гостиная» стала появляться на портале Журнального Зала, весть о её выходе первым получал Сергей Костырко. Переписка была краткой, деловой, но никогда не сухой. Она всегда заканчивалась обоюдными добрыми пожеланиями.

Помню, в начале прошлого года, поставив новогоднюю Гостиную в ЖЗ, он написал: «Дорогая Вера! С Новым годом вас! Будем надеяться, что окажется лучше прошедшего»... Увы, последнее извещение о выходе весеннего номера Гостиной было молчаливо принято его почтой, хотя обычно Сергей всегда откликнулся добрым словом на мои анонсы.

Помню, осенью прошлого года произошёл сбой с изображением обложки «Гостиной» на портале ЖЗ, и Сергей очень обеспокоился, тут же принялся исправлять досадную оплошность и продолжал работать над этим, пока окончательно не поправил. А в конце, когда работа была завершена, и я сама была уже не рада, что побеспокоила его, написал: «Вера, извините за эту вот суету с переверткой – моя вина. Проглядел». А ведь мог бы просто поправить и ничего такого не писать... И так уйму времени потратил! Да, конечно, это говорит о том, как много значило для него его детище ЖЗ, как он болел за то, чтобы всё было в лучшем виде, но ещё больше это говорит о его человеческих качествах.

Мы познакомились в редакции «Нового мира». Он пригласил меня в свой офис, усадил и исчез. Я рассматривала его кабинет, чувствуя себя виноватой, что, вот, отнимаю у человека время. Стояла зима, за окном снежило, в коридоре раздавались голоса, я пыталась представить, что он там делает, как вдруг на пороге появился Сергей с кружкой горячего чая, достал откуда-то печенье, и сразу стало тепло, уютно, просто... Потекла беседа. Он расспрашивал о Филадельфии, об университете, где я преподавала, о студентах, о том, что я им преподаю... Как и на чём мы распрощались уже не помню, помню дымящуюся кружку, и всю дорогу домой эта добрая душа чая сопровождала меня.

Сергей Костырко был тонким человеком и критиком, и в текст вчитывался с пониманием и душой. Он умел посмотреть в корень.

Не забуду, как поразила, прочитав в обзоре его отклик на мою публикацию статьи об «Иване Денисовиче» в «Новом мире».

Статья (скажем сразу, неожиданная для юбилейного жанра статья), написанная к 55-летию выхода в свет повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Повесть эта в 60-е прочитана была почти исключительно как художественная публицистика, антисталинская и антитоталитарная; ну а герой ее воспринимался как жертва сталинского режима, как олицетворение истинно русского человека с его нравственностью. Однако предлагаемое автором статьи прочтение повести приводит читателя к выводу, что хранителем чистоты русского духа и нравственности Ивана Денисовича можно назвать с большой натяжкой, что дух этот стремительно истончается в нем с утратой веры. И вина (беда) не только в сталинском режиме, но и в неустойчивости нравственных принципов самих его жертв – «...о чем ведет речь Солженицын? О том, что строится новый мир на новых ценностях, о том, что возводится изба, каждый угол которой обустроивается за счет угла другого, о том, что изба расшатывается, и никакие идеологические подпорки ее не укрепят, о том, что происходит обмеление души и вырождение духа. А также о приходе «врага рода человеческого» в лице коммунизма и о вере, находящейся в заточении. Шухова, возможно, и выпустят на волю. А кто освободит веру?»

В такой литературной плоскости складывались наши отношения. С большим волнением отправила ему как-то свой новый перевод «Слова...». Он поздравил меня с выходом книги, а потом, сюрпризом, написал о ней в своей колонке в январском номере «Нового мира» (2022). Написал обзорно, ёмко, по сути. В частности, он отметил: «сам перевод Зубаревой представляет собой отнюдь не только работу стилиста, ищущего в современном русском языке аналоги «старым словесам трудных повестей», то есть не только попытку высвободить для сегодняшнего читателя эмоциональный напор «Слова...», но и выявить сложнейшую, не сразу прочитываемую смысловую нагрузку образов в «Слове...» и их взаимодействие.»

Все эти моменты бесконечно дороги. Светлая память!

ПАМЯТИ ДАНИИЛА ЧКОНИИ (1946-2023)

Даниил Чкония. Даня... Даничка... Непроходящая печаль. Писать об этом не было сил. Всё собиралась с духом и – откладывала. Словно перо вынесло бы окончательный приговор, а он был жив – в душе, в памяти, во всём, что написал и сделал. Но приходится смириться и отдать долг памяти прекрасному человеку, поэту, литератору.

Даниил Чкония – поэт, прозаик, журналист, эссеист, критик, главный редактор «Зарубежных записок» (2004-2009). Заместитель главного редактора «Эмигрантской лиры», входил в состав Госдумы РФ по образованию и культуре... Этот список можно продолжать, но представление о диапазоне его литературной деятельности не может быть в отрыве от его человеческого диапазона. Диапазон его души был широк. Это сразу же раскрывалось в самом сокровенном – в творчестве, где он был и реалистом, и романтиком, и лириком... Отзывчивость – то главное качество, которое отличало и поэзию, и всё, о чём бы ни писал и с чем бы ни взаимодействовал этот удивительный по своей доброте человек. Очное знакомство с Даниилом состоялось в редакции «Нового мира», где проходила презентация моей новой книги стихов, на которую он написал замечательную по мысли, сердечности и мастерству рецензию. Там же я получила в подарок от него его новую книгу.

Какое он произвёл на меня впечатление? Застенчивого, очень милого и негромкого человека. Таким я и представляла его по нашей переписке. Слово раскрывало его полностью. И отношения со словом у него были, как с живым.

* * *

это грустно и непонятно
снова время кричит пестро
и толпятся слова невнятно
как набитый вагон метро
лишь одно словцо-неотложка
спит у сердца оно пока
не распахнуто нам окошко
уж ли участь его горька
и стеною непреодолимой
подступает тоска к нему
молчаливой печальной длинной
той которую не пойму
от которой не жду привета
от которой не жду обид
демон тьмы или ангел света
днём и ночью в трубу трубит

В интервью, которое я брала у него для Гостиной, он сказал такие точные и важные слова о поэзии:

Стихи – настоящие стихи – всё ещё пишутся не умом, а умным сердцем, и умным сердцем воспринимаются!

Если говорить о ракурсе, которым некоторые современные сочинители пренебрегают, так это их пренебрежительное отношение к «вдохновению». Технологически современное сочинение стихов оснащено основательно, число людей, умеющих написать грамотные и внешне современные стихи, огромно! Только читать скучно! «Ни божества, ни вдохновенья». Холодным умом писано! Я это называю «стихи умных людей». Никакой иронии! Они, действительно, умные, авторы таких стихов. Но ведь есть стихи, а есть поэзия!

(См. моё интервью с Даниилом Чкония и стихи из его книги «Стихия и Пловец» в Гостиной Выпуск 76; Февраль, 2016)

Так он думал, тем дышал и оставил нам, с нежностью вспоминающим о нём.

Светлая память!

ПАМЯТИ НАТАЛЬИ ГРАНЦЕВОЙ (1951-2024)

Парадокс: когда связь оборвана, присутствие ещё острее.

За несколько дней до тяжкого известия душа томила. Тягостное, траурное нависло и не отступало. Так бывает, когда что-то происходит с близким, даже если он на большом расстоянии. Думалось: кто бы это мог быть? Из близких молчал только один человек...

Этот год начался без светлых слов и пожеланий дорогой Натальи Гранцевой. Мои пожелания зависли где-то в серой зоне. «Может, уехала на праздники... Только бы была здорова...»

Мы никогда не встречались. Наше общение было эпистолярным, а значит – очень личным. Не знаю никого, кто бы так легко, просто и сердечно раскрылся в переписке с незнакомым человеком. В этом общении не требовалось многословия, каких-то уточнений, разъяснений. Всё моментально прочитывалось между строк, на загадочном невербальном уровне, на котором и сейчас ощущается её присутствие.

Её слова и вообще её тексты несли особую энергетику, по которой можно было без труда распознать её.

Современники будущего, и вы
Обернетесь прошлым когда-нибудь,
Отразитесь в синем стекле Невы,
Чтоб уйти в неведомый вечный путь.
Это будет тогда, когда города
Унесет поток васильковых вод —
Драгоценный пепел, оттиск труда,
Вещества души световой исход. <...>

В эти дни мы наблюдаем «вещества души световой исход». Души светлой, добронаправленной и сильной. А ещё нам оставлен «оттиск труда» – драгоценный оттиск мыслей, литературоведческих находок и прекрасных стихов.

У нас было удивительно много общего не только в человеческом, но и в творческом плане, включая поэзию и метод интерпретации художественных текстов. Ей была присуща та же детективная жилка в поиске разгадок смыслов, и то же обращение к историко-литературным истокам. И обе мы равнодушны были к Одессе...

Ну что ещё прибавить? Люблю её стихи, её литературоведческие изыскания. Радовалась выходу в свет её книг. Радовалась, что можно было обменяться мыслями. Некоторые её материалы опубликованы в Гостиной, где у неё есть своя персональная страничка. Желающие могут навестить её по этой ссылке. https://gostinaya.net/?page_id=24601?author=234

Светлая память!

Владислав КИТИК. Памяти Беллы Верниковой (1949 - 2024)

4 апреля 2024 г. не стало Беллы Верниковой.

Ее уход был потрясением для многих читателей, поклонников ее стихов и, конечно, для тех, кто любил ее, знал, общался с нею. В литературном мире, в котором она собственно жила, первыми ее слушателями, друзьями, собратями по перу были студийцы литобъединения «Круг», руководителем которого был поэт Юрий Михайлик. Там, в подвале на улице Розы Люксембург, позже – в здании, называемом дворец Персидского Шейха, на улице Гоголя не раз звучали ее стихи, ее аналитические высказывания об авторах, замечания по поводу творчества молодых соискателей лавров так же, как и она, мечтавших о писательском будущем. Это было в Одессе – городе, который навсегда остался для нее родным, хотя в начале 90-х обстоятельства привели ее к решению уехать в Израиль. Здесь же у нее остались школа, первая влюбленность, головокружение от аромата акации, проявился деятельный азарт молодости, сложилось мировоззрение и своя неповторимая манера творческого письма.

Стихи Беллы Верниковой неторопливы и вдумчивы, и проникновенны, совестливы что ли... Они наполнены лиризмом, доверительная интонация придает им оттенок исповедальности. Их энергетической пружинкой часто становятся самые будничные атрибуты. Вплоть до перечня блюд, знакомых по застолью каждому, кто рос в одесском дворе:

Когда садятся в летний день за стол,
и женщины выносят в сад салаты,
картошку, водку, свежий разносол,
мужчины наливают, и пошел
обед в беседе незамысловатой...

Так же упомянутые в стихах названия улиц из топографических понятий перетекают в поэтические реалии.

Похож ли автор на свои стихи? Во всяком случае, этим стихам сопутствовала ее сокровенная, немного ушедшая в себя улыбка, осветлявшая лицо. И сама Белла предстает человеком, который увлеченно думает над судьбой своего города, его историей, ощущает свою неразрывную связь с ним. Отсюда «разговор прямой и горький», без надуманности и нарочито эмоциональных эффектов. Но именно благодаря этому намного глубже западающий в память.

Первой серьезной заявкой на признание стала публикация ее стихов в необычайно популярном в 80-е годы прошлого века журнале «Юность». Потом она была в числе авторов коллективного сборника «Вольная гавань» (Одесса) и его хронологическом продолжении

«Глаголы настоящего времени» – еще одном документальном свидетельстве существования студии «Круг».

Перед отъездом Белла Верникова подарила одесским читателям сборник стихов «Прямое родство». Сборник «Звук и слово» вышел уже в Иерусалиме. В США издан сборник переводов ее стихов на английский язык. Ее талант раскрылся в разных ракурсах: поэт, эссеист, художник-график, историк литературы. Доктор философии Еврейского университета в Иерусалиме. Член редколлегии одесского альманаха иудаики «Мория». Победитель Международных конкурсов графики (Варшава, Москва). Участник многих израильских поэтических антологий. Она была постоянным автором журнала «Литературный Иерусалим».

Стихи Верниковой, а они были главным ее проявлением, печатались в литературных журналах России, Украины, Израиля, США, Англии, Италии, Японии. Нам же она близка еще и потому, что в поле ее исследовательских интересов всегда было то творческое явление, которое получило название Южно-русской школы, или Юго-западного направления. За ними стоит сопричастность к литературе, на формирование характера которой больше всего повлияла Одесса с ее особенностью и неповторимостью, юмором и драматизмом. Рассмотрению тенденций и компонентов одесского текста, деятельности одесских писателей 2-й половины XIX-XX – начала XXI вв. посвящена книга Верниковой «Из первых уст». Еще она писала для детей, читала лекции, редактировала книги. Прожила яркую жизнь, наполненную любовью, трудом и откровением. Конечно же, в подтверждение всего сказанного – стихи... Те, которые живут дольше человека.

Когда садятся в летний день за стол,
и женщины выносят в сад салаты,
картошку, водку, свежий разносол,
мужчины наливают, и пошел
обед в беседе незамысловатой,
я подставляю рюмку и беру
свой хлеб и что положено в придачу –
я с ними не монахиня в миру
и не зверек, забившийся в нору,
а друг, к друзьям приехавший на дачу.
Я выросла и не таю обид
на то, что не умею, как другие,
весомо жить. Мне просто делать вид,
что я живу как следует. Мой щит –
веселый нрав и помыслы благие.
Пока никто не умер из родных,
а если заболел, то простудился,

легко мне череду забот дневных
прервать, витая в облаках иных,
чем те, откуда дождь на сад пролился.

НА ВЫСТАВКЕ ХУДОЖНИКА СИНИЦКОГО

Олегу Губарю

Нам свойственно в служебном помещенье
хранить благонамеренность лица.
Не так уж и страшимся подлеца
доносчика и сплетника, а все же
предпочитаем о себе молчать
и говорим о модах, о футболе,
о рок-ансамблях с теми, кто моложе.
Душа заиндевает и не сможет
в себя взглядеться, чтоб других понять
и различить, кто в здравии, кто болен.
Я встала у окна, закончив до обеда
все срочные служебные дела.
На улице шел снег, и тихая беседа,
как свежий воздух, в комнату вплыла.
О жизни разговор простой и горький
меж нас мосток доверия воздвиг,
на пробужденье заиграл нам зорьку
исповедальный русский наш язык,
обеденный подкрался перерыв,
заснеженные двери отворив.
Хотелось праздника, и белизна округи,
деревья пышные, пушистые кусты,
следов цепочки, снегопад без вьюги
слагали фон протяжной чистоты,
на нем цветет живое впечатленье,
и мы пошли с приятелем в музей.
Негромкий южнорусский корифей
встречал, еще работая пейзажи,
свой девяностолетний юбилей,
но до открытия выставки не дожил.
От раннего этюда – домик белый
в районе Мельниц, зарисован в год
пятнадцатый – до близких к нам работ
(мы помним этот берег порыжелый
и дикий пляж у кромки теплых вод)
в двух залах жизнь художника идет,
в пристрастиях и красках постоянна,

как будто ей известно наперед,
что хрупкую подробность мест
желанных
холст сохранит, а время заметет.
Мы выбрали на память по картине,
мой спутник взял Большефонтанский мыс,
я – натюрморт, накрытый к чаепитью,
и сумерки в окне. Мы обнялись
с художником по-братски, будто сами
отчалили туда, где с небесами
сливаются моря, – за край земли
уходят те, что напряженно шли.
Последний инок южнорусской школы,
как пламенеет облако вдали!

ФЛИГЕЛЬ В АВЧИННИКОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ.

Евгению Голубовскому

Детский сиротский еврейский приют
В семидесятых, но прошлого века.
Господи, где тот немый калека,
К бедным и чистым его не берут.
Адрес знакомый и дом-инвалид,
В семидесятых моих рядом школа.
Мальчик еврейский, любитель футбола
Мячик гоняет, доволен на вид.
Собственно, как сообщает в строке
Автор, из нищего выбившись в люди,
Не было жизни в сиротском приюте,
Той, что приносит дары в узелке.
Собственно, сказано слогом иным –
«Собственно жизни, того, что одухотворяет
и волнует душу ребенка, здесь не было и в помине» –
и это заденет, и отошлет от сиротских видений
к собственным будням и страхам дневным.
Господи, что тебе чья-то судьба
При мириадах уже отлетевших,
Горько болевших и сладко поевших,
И в униженьи взрастивших хлеба.
Вот и понятен двойной псевдоним,
Выбранный гордо из местных наречий.
Легче ему, Бен-Ами не один,
Ладно, поплачь по иным, что далече.

* * *

Как человека, мы способны
любить свой город или не любить.
Чему дано в одно соединить
людей живущих и когда-то живших,
архитектуру, говор, склад ума,
вечерний запах моря на остывших
от зноя улицах, где мы живем,
как на ветру, во времени своем.
Чему?

Наверно, чувству твоему
Спокойствия в известняковых стенах,
автоматизму в повседневных сценах
общения с говорливыми людьми,
привязанности к лицам и пространству,
организованному на века.
Жизнь безутешна тем, что коротка,
но здесь идет и клонит к постоянству.

* * *

Старые названья старых улиц
помню я, как выраженья лиц
бабушки и деда.
На заросшем кладбище приткнулись
их могилы.
Затяжное лето,
как горчичник выгревает стены
на Канатной, Малой Арнаутской,
Греческой, Успенской, Ришельевской,
на Преображенской, Тираспольской,
на Гаванной, в Дюковском саду.
Сына я по городу веду.
Душно,
и роднят не только гены
с бабушкой и дедом –
вдавленным в асфальт горячим следом
связаны,
вопросом и ответом,
Как по-старому зовется эта
Гарибальди в выхлопном чаду...

Подборка составлена Анной Голубовской

ПУШКИНСКАЯ СТРАНИЦА

Олег ГУБАРЬ (1953, Одесса-2021, Одесса). Корсар в отставке

С молодых ногтей знакомое изображение прощающегося с морем Пушкина, подкрепленное хрестоматийными строками стихотворения «К морю»:

«Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами прославить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!»

Мало кому известно о том, что намерение бежать из Одессы морским путем в определенный момент было вовсе не метафорическим. Это предположение подтверждается документально. 24 декабря 1824 года граф М. С. Воронцов писал чиновнику по особым поручениям при московском генерал-губернаторе А. Я. Булгакову: «Мы считаем, так сказать, неприличным её (В. Ф. Вяземской – О. Г.) затеи поддерживать попытки бегства, задуманные этим сумасшедшим и шалопаем Пушкиным, когда получился приказ отправить его в Псков». Позднее в письме к брату Булгаков уточняет: «В. (Вяземская – О. Г.) хотела поддержать его (Пушкина – О. Г.) бегство из Одессы, искала для него денег и способы отправить морем».

События, о которых идет речь, хронологически относятся к июлю 1824 года. Самое любопытное заключается вот в чем: сама княгиня Вера Федоровна Вяземская впоследствии вспоминала о том, что Пушкин трое суток, меж 15-м и 25-м июля, провел на судах, стоящих в одесской гавани, где изрядно покутил со шкиперами. Не искал ли он здесь случая договориться с ними об осуществлении задуманного? Если связать все факты воедино, выстраивается оригинальная версия. Но хорошо бы подкрепить ее еще какими-нибудь убедительными фактами.

В поисках информации я обратился к реестру судов, приходящих в Карантинную гавань, а затем уходивших из Практической в интересующий нас период. Выяснилось, во-первых, что накануне отъезда Пушкина в Михайловское 1 августа у него было несколько вариантов ухода морем: 28 июля – в Стамбул, на австрийской поларке (род судов) «Эрцгерцогиня Клементина» или русском бриге «Триумф», в Геную, на австрийском бриге «Отиппа», в Марсель, на австрийском бриге «Фачино»; 30 июля – в Стамбул, на русском

бриге «Святой Николай», русской трабакке «Нептун» и австрийском бриге «Пеликан», в Ливорно, на одном из двух австрийских бригов, «Адриано» и «Пациент». Все они стояли в Одессе с июня – первой половины июля.

Высматриваю имена шкиперов тех парусников, на одном из которых Пушкин загулял на трое суток. Василио Мелинович, Стамати Янулато, Николо Додеро, Джованни Перлинович, Георгио Буранелли – преимущественно югославяне, подданные австрийской короны, имевшей бонус при проходе через Босфор, потому-то суда ряда стран ходили под австрийским флагом. Вероятно, поэт был знаком с кем-нибудь из этих тёртых мореходов, однако нам за давностью лет с этим вряд ли удастся разобраться. И вдруг перед глазами выныривает до боли знакомое имя: надо же, Морали, приснопамятный «корсар в отставке»! 15 июня он привел в балласте из Стамбула свой бриг «Элиз», а 24 июля ушел в Геную с грузом пшеницы.

По авторитетному свидетельству И. П. Липранди, «этот мавр, родом из Туниса, был капитаном, т. е. шкипером коммерческого или своего судна, человек очень веселого характера, лет тридцати пяти». Он же сообщает о взаимной симпатии, доверительных отношениях Пушкина и Морали, о том, что последний «говорил несколько по-французски и очень хорошо по-итальянски», откуда и его итальянское имя – Гаэтано. Короче говоря, «корсар в отставке» вовсе не был шкипером в отставке, и даже посещал по коммерческим делам администраторов ранга Воронцова. Тогда всё сходится. Тогда понятно, на кого Пушкин мог рассчитывать и с кем общался в течение нескольких суток к ряду в порту.

Параллельно формируется и другой сюжет, рассматриваемый уже непосредственно в контексте поэтического творчества Пушкина. Как раз к интересующему нас промежутку времени относится набросок стихотворения «Кораблю», связанного с графиней Е. К. Воронцовой (правописание оригинала):

«Морей красавец окриленный!
Тебя зову – плыви, плыви
И сохрани залог бесценный
Мольбам, надеждам и любви.
Ты, ветер, утренним дыханьем
Счастливый парус напрягай,
Волны незапным колыханьем
Ее груди не утомляй».

Датируют его по месту расположения в тетради – после 14 июня. Теперь эта дата может быть уточнена. В самом деле, 14-го Пушкин

проводил взором яхту, на которой Элиз Воронцова отбыла в Крым, а на следующий день встретил бриг «Элиз». Именно поэтому стихи посвящены не Елизавете Ксаверьевне или, скажем, NN, но Кораблю. Далее: Воронцова возвратилась в Одессу в тот же день, что бриг «Элиз» оставил город – 24 июля. Не находите ли вы, что совпадений чересчур много? Так или иначе, а цепь событий сложилась так, что Пушкин отказался от своих намерений, и 29 июля дал официальную подписку следовать назначенным ему маршрутом в Псковскую губернию.

Что виделось, что грезилось изгнаннику за неосуществленным морским путешествием... Вероятно, привлекал пестрый, пряный, экзотический, полуденный мир, который можно было открывать, стоя на свежем ветру, у штурвала, подле настоящего морского волка в живописном многоцветном наряде, с роскошными пистолетами-трамбонами за кушаком, чувствовать дружеское плечо простодушного искреннего человека... «У меня лежит к нему душа, – говаривал Пушкин, – кто знает, может быть, мой дед с его предком были близкой родней».

Упомянутая встреча наших героев было далеко не единственной: сохранились, например, достоверные известия относительно их общения в начале февраля 1824 года в отеле дома Рено, где Пушкин квартировал большую часть времени из тринадцати одесских месяцев. Причем характер этих отношений демонстрировал их некоторую давность. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что многие суда совершали подобные коммерческие рейсы с завидной регулярностью, причем, случалось, и зимовали в Одессе. То обстоятельство, что Морали привел судно в балласте, означает: городу остро недоставало прочного строительного камня, и шкиперов поощряли к привозу такового. В результате капитаны выгружали в порту изверженные средиземноморские породы и загружались сельскохозяйственной продукцией.

Занимательно, что еще до переезда Пушкина в Одессу Морали подозревали в шпионаже. Храбрый военный моряк, сражавшийся на Средиземноморье, затем городской полицмейстер, а в тот момент чиновник карантинного ведомства С. С. Достанич весной 1822 года сообщал начальнику штаба 2-й армии П. Д. Киселеву: «На арапа по фамилии Морали имеют подозрение, что он извещает в Константинополь об некоторых делах, происходящих в Одессе». Впоследствии Достанич занимался в этом штабе тем, что на нынешнем языке именуется контрразведкой, и, вероятно, у него были какие-то основания к подобному недоверию. Тем не менее, как

видно из дальнейшего хода событий, подозрения не нашли весомых подтверждений, по крайней мере, в 1823-1824 году.

Что случилось с Морали в дальнейшем? Судя по всему, он в конце концов поселился в Одессе. Племянник основателя города Михаил Феликсович де Рибас рассказывает, что африканского корсара считали несметно богатым, однако он был скорее простым искателем приключений. Впрочем, однажды Морали предложил Феликсу де Рибасу приобрести за 30 тысяч рублей две большие золотые табакерки, точнее музыкальные шкатулки, усыпанные бриллиантами. В процессе музицирования в одной из них выскакивал петушок, открывал клювик, размахивал крылышками. Но вечный должник, Феликс де Рибас, разумеется, мог ими только полюбоваться вместе с сыном. Кроме всего прочего, Морали слыл отчаянным азартным игроком. Сказывают, его дочиста обчистили в карты «проевшие зубы» одесские шулера, после чего «он вдруг бесследно исчез из нашего города, вероятно, не подозревая, что великий поэт прославит его имя».

М. Ф. де Рибас оставил довольно рельефное описание нашего героя: «Я отлично помню этого Морали. Он не раз посещал наш дом (то есть двухэтажный дом по улице Гаванной, № 1 – О. Г.). С каким детским восторгом я любовался его блестящим одеянием! Это был человек высокого роста, прекрасно сложенный. Голова была широкая, круглая; глаза большие, черные. Все черты лица были правильные, а цвет кожи красно-бронзовый. Одежда его состояла из красной рубахи, поверх которой набрасывалась красная суконная куртка, роскошно вышитая золотом. Короткие шаровары были подвязаны богатою турецкою шалью, служившею поясом; из ее многочисленных складок выглядывали пистолеты. Обувь состояла из турецких башмаков и чулок, доходивших до колен. Белая шаль, окутывавшая его голову, прекрасно шла к его оригинальному костюму. Нечего и говорить, что появление такого набоба в нашем городе произвело громадный эффект – как среди нашей молодежи, так и среди наших дам, всегда готовых восторгаться всякою новинкой. Вскоре Морали подружился с молодыми людьми, был принят во многих одесских гостиных и участвовал во всех пирушках и вечеринках. Он хорошо говорил по-итальянски и никогда не обижался, когда ему напоминали о его прежних корсарских подвигах

М. Д. Бутурлин: «Неразлучным компаньоном великого поэта был колоссальный полу-мавр и полу-негр по имени Али, но его звали Морали*) (*Вероятно, от французского «Maure-Ali»). Этот человек был, по-видимому, не без средств существования, хотя не имел никаких занятий и, сколько помнится мне, подозревали, что он нажил

состояние будто бы ремеслом пирата. Ходил он в африканском своем костюме с толстой железной палкой в руке вроде лома, и помнится мне, что он изрядно говорит по-итальянски». Выходит, Пушкин не был так уж оригинален в выборе этакого специфического оружия самозащиты, тем более, что защищаться приходилось не только от злых людей, но и от злых собак.

В черновиках «Путешествия Онегина» находим следующие варианты интересующей нас строфы:

«Язык Италии живой
Звучит на улицах широких
Поправка: Звучит на улицах. Там бродит
Поправка: И грек и гордый славянин
а. И арнаут и армянин
б. Фран<цуз> гишпанец армянин

а. Как в тексте.
б. Француз и молдаван тяжелый

а. И ты Отелло-Морали
б. Гишпанец и беспечный раб

И сумрачный корсар-араб

в. Жильцы то моря то земли
г. И беглый сын родной земли
д. И черный гость родной земли
е. И враг Египетской земли».

Заметим, что морской разбой и каперство на Средиземном море были обычным явлением, причем не только в первой половине 1820-х, но даже несколько позднее. Скажем, одно из настоящих морских сражений с пиратами произошло в сентябре 1827-го. Тогда шкипер российского купеческого судна «Графиня Воронцова» Иосиф Силич (Giuseppe Silich), следовавшего из Ливорно в Стамбул и Одессу, вступил в бой и спас от разграбления в Хиосском проливе захваченный корсарами русский торговый бриг «Быстрый». В бою корсары потеряли 32 человека убитыми и ранеными. 19 декабря 1827-го по представлению Воронцова император пожаловал Силичу золотую медаль на Владимирской ленте с надписью «За усердие».

Что до 1810-х, в которых Морали предположительно пиратствовал, то они были куда более суровыми. По данным исследователя А. Г. Рагунштейна, в 1812–1814 годах тунисские пираты совершили 13

разбойных рейдов, а в 1815 году это число выросло до 41. Корсарством также занимались выходцы из Алжира и Триполи, каковые территории формально относились к Османской империи. В 1804-м тунисские пираты захватили российскую полакру «Ассунта» и казнили ее капитана Гаргило. В том же году вооруженным отрядом Кючук Али из Паяса захвачено другое русское судно (шкипер Ласкари Корнело). В 1814-м пиратами из Марокко захвачено судно «Святой Петр» (шкипер Крузе), груз разграблен, экипаж продан в рабство. В том же году захвачено еще одно российского судно (шкипер Дааль), которое удалось вернуть, но груз был разграблен. Особенно урожайным для морских разбойников был 1815 год: нападение пиратов из Триполи на судно «Дионисио» (шкипер Панайоти Апостолопуло), тунисцев – на судно «Ла Пас» (то есть «Мир», шкипер Джованни Коколи), тунисских и триполитанских корсаров совместно – на суда «Аделаида» (шкипер – уже знакомый нам Николо Додеро!), «Одесса» (шкипер Анжело Додеро, явно брат предыдущего) и «Сан Николо» (шкипер Антонио Додеро, еще один брат); нападение пиратов из Триполи на судно «Святой Александр» (шкипер Райенкович), позднее освобождено без груза. Убытки грузоперевозчиков нередко исчислялись десятками тысяч пиастров.

Во второй половине 1810-х европейскими военными флотами предпринимался ряд специальных операций, и в итоге морской разбой пошел на убыль. Тот же источник сообщает: в феврале-июле 1816-го из Туниса вышло лишь 12 пиратских кораблей, в 1817-1821 – пять, а в 1827-1830 – два. Аналогичная ситуация складывалась в Алжире, где призовая сумма сократилась с пяти миллионов (1812-1815) до 394.777 франков (1817-1827). В годы колониальной экспансии Франции в Алжире морской разбой в средиземноморском регионе практически сошел на нет.

Согласно относительно недавней публикации, потомки «корсара в отставке Морали» до сих пор живут в Тунисе, «занимаются мирной торговлей, им принадлежат в столице и Бизерте несколько магазинов готового платья. Как бесценную семейную реликвию хранят они грамоту тунисского бая, выданную их прапрадеду на право морского разбоя (то есть патент на крейсерство – О. Г.) в Средиземном море». По их просьбе знакомая привезла из Москвы открытку с портретом Пушкина, которую они приобщили к своему архиву”.

Виктор ЕСИПОВ. «Демократическим копытом...»
Политические воззрения Пушкина

Пристальный интерес Пушкина к современной ему молодой американской литературе, вероятное воздействие творчества Вашингтона Ирвинга на автора «Повестей Белкина», «Сказки о золотом петушке», «Истории села Горюхино», как и сюжетные параллели «Капитанской дочки» с романом Фенимора Купера «Шпион», мы уже отмечали раньше¹

К последнему сопоставлению еще вернемся позднее под определенным углом зрения, потому что в настоящей работе собираемся сосредоточиться не на литературных реминисценциях и заимствованиях, а на отношении Пушкина к происходящим на его глазах изменениям государственных формаций в Европе и Северной Америке.

Повод к этому дают его политического толка замечания в начале статьи о «Записках» Джона Теннера, которые были изданы в Нью-Йорке в 1830 г., а затем – на французском языке в Париже в 1835 г. С парижского издания Пушкин и сделал перевод для своего изложения «Записок» в упомянутой статье.

Начинает он с признания, что «Северо-Американские Штаты», которые, собственно, для упрощения и называются часто Америкой, живо интересуют Европу:

С некоторого времени Северо-Американские Штаты обращают на себя в Европе внимание людей наиболее мыслящих. Не политические происшествия тому виною: Америка спокойно совершает свое поприще, донныне безопасная и цветущая, сильная миром, упроченным ей географическим ее положением, гордая своими учреждениями.

А затем следует продолжение, в котором тональность пушкинского высказывания меняется:

Но несколько глубоких умов в недавнее время занялись исследованием нравов и постановлений американских, и их наблюдения возбудили снова вопросы, которые полагали давно уже решенными. Уважение к сему новому народу и к его уложению, плоду новейшего просвещения, сильно поколебалось.

Среди «нескольких глубоких умов», упомянутых Пушкиным, подразумевался, в частности, граф Алексис де Токвиль (1805 – 1859) – французский политический деятель, лидер консервативной партии порядка во времена Июльской монархии при Луи-Филиппе. Токвиль пришел к убеждению в необходимости и неизбежности перехода к демократическому политическому устройству для всех государств мира. Примером такого государственного устройства на тот исторический момент явились для него Соединенные Штаты Америки, куда он 1831 г. вместе со своим другом публицистом Густавом де

Бомоном (1802 – 1866) отправился для подробного ознакомления с положительными и отрицательными сторонами нового государства. Пробыв в США год, путешественники возвратились домой, а в 1835 г. Токвиль издал книгу «О демократии в Америке», вызвавшей большой интерес в Европе XIX века и вновь востребованной в веке XX-м.

Сохраняя приверженность демократической идее, Токвиль указал на опасности всеобщего равенства, которое прямо не противореча свободе, ведет к установлению деспотии большинства, к обособлению людей друг от друга, развивает страсть к наживе, которая становится во главе угла новой цивилизации. Противовесом негативным явлениям демократического устройства общества Токвиль считал независимость юридической власти (судов) и свободу прессы. Все это остро ощутил Пушкин и этим ощущением проникнута критическая часть его отзыва об американской демократии образца 20-30 годов XIX века в цитированной уже статье «Джон Теннер»:

С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую — подавленное неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (comfort); большинство, нагло притесняющее общество; рабство негров посреди образованности и свободы; родословные гонения в народе, не имеющем дворянства; со стороны избирателей алчность и зависть; со стороны управляющих робость и подобострастие; талант, из уважения к равенству, принужденный к добровольному остракизму; богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надменной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами.

Пушкин мог ознакомиться с книгой Токвиля, как и с «Записками» Джона Теннера, до лета 1836 г.²

В черновом тексте письма к Чаадаеву от 19 октября 1836 г., предлагая свою концепцию истории России, он признается:

«Петр Великий укротил дворянство, опубликовав *Табель о рангах*, духовенство — отменив патриаршество (NB: Наполеон сказал Александру: Вы сами у себя поп; это совсем не так глупо). Но одно дело произвести революцию, другое дело это закрепить ее результаты. До Екатерины II продолжали у нас революцию Петра, вместо того, чтобы ее упрочить. Екатерина II еще боялась аристократии; Александр сам был якобинцем. Вот уже 140 лет как (.....) сметает дворянство; и нынешний император первый воздвиг плотину (очень слабую еще) против наводнения демократией, худшей, чем в Америке (читали ли вы Токвиля? Я еще под горячим впечатлением от его книги и совсем напуган ею)» (курсив в конце мой. – В.Е.).

Таким образом, имя Токвиля возникает только в конце пушкинской сентенции, но за ним многое стоит. Нельзя не вспомнить в связи с

этим строфу IX из неоконченной поэмы «Езерский»:

Мне жаль, что мы, руке наемной
Дозволя грабить свой доход,
С трудом ярем заботы темной
Влачим в столице круглый год,
Что не живем семьею дружной
В довольстве, в тишине досужной,
Старея близ могил родных
В своих поместьях родовых,
Где в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава;
*Что геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!*

(курсив мой. – В.Е.).

И тут уместно еще одно важное уточнение: «Езерский» датируется 1832-1833 гг., а книга Токвиля вышла в Париже в 1835 г. Следовательно, Пушкин и в пору работы над поэмой был в курсе главных американских событий. В том числе факта возникновения в 1828 г. символа демократической партии США в виде осла. Произошло это из-за того, что баллотирующийся на высший государственный пост от демократической партии Эндрю Джексон, ставший в результате выборов 7-м президентом США (1829 – 1837), подвергся нападкам и оскорблениям со стороны представителей Консервативной партии (Республиканская партия еще не существовала) за свое низкое происхождение. Консерваторы называли его «jackass» (осел), однако Джексон, вместо того, чтобы оскорбиться, сделал осла (пример упрямства, стойкости и трудолюбия) своим лозунгом и это стало символом его партии, сохранившимся до наших дней...

Менее обстоятельны пушкинские инвективы в адрес новых государственных установлений в Европе, в первую очередь во Франции, где уже существовал парламент с противоборствующими партиями, ответственность министров, суд присяжных, ограниченное избирательное право (для плательщиков 200 франков прямых налогов).

Именно к депутатам французского парламента обращены его гневные строки в известном ультрапатриотическом стихотворении: «Клеветникам России».

В письме Н. Б. Голицыну от 10 ноября 1836 г., приславшему свой перевод на французский язык упомянутого стихотворения, Пушкин вновь саркастически вспоминает их:

Тысячу раз благодарю вас, милый князь, за ваш несравненный перевод моего стихотворения, направленного против недругов нашей страны. Я видел уже три перевода, из которых один сделан высокопоставленным лицом из числа *моих друзей*, но ни один не стóит вашего. Отчего вы не перевели этой пьесы в свое время,— я бы послал ее во Францию, чтобы щелкнуть по носу всех крикунов из Палаты депутатов.

То же пренебрежение к депутатским полномочиям и прессе в стихотворении начала июля 1836 г. «Из Пиндемонти», за полгода до смерти»:

Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги,
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура...

Итак, Пушкин предстает в критике демократии своего времени убежденным монархистом (таким же, заметим, как П.А. Вяземский, В.А. Жуковский, П.А. Плетнев и др. его друзья и сподвижники по литературной борьбе).

А пушкинское признание в стихотворении «Друзьям» (1828), вызвавшее ропот и возмущение в среде его поклонников:

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю —

совершенно искренне и сделано, как говорится, в «трезвом уме и твердой памяти».

Но он ратует за такую монархию, где бы правитель был благородным и справедливым, как его Екатерина II в финале «Капитанской дочки» (хотя в жизни он относился к Екатерине с неизменной неприязнью); как Дук в «Анджело», как Петр I, которого Пушкин со времени освобождения из ссылки в 1826 г. ставил в пример Николаю I.

Что касается Екатерины II, художественно идеализированной Пушкиным в известной всем нам с детства повести, то здесь, как мы уже писали об этом³, возникает не единственная параллель с романом Купера «Шпион». Так герою упомянутого романа Генри Уартону, захваченному американскими мятежниками в качестве лазутчика англичан, грозит (как и Гриневу) суровое наказание в результате беспристрастного и обстоятельного судебного разбирательства. При этом лидер мятежников Вашингтон, лично знакомый с Генри (как

Пугачев с Гриневым) открыто ничем не может помочь обвиняемому, хотя в душе уверен в его невиновности и искренне сочувствует ему и его семье. Вашингтон не может мановением руки освободить своего пленника от смертной казни и вынужден вмешаться в ход дела тайно. Он поручает своему доверенному лицу устроить побег Генри.

В отличие от Вашингтона Екатерина обладает властью, не ограниченной законом. Для Екатерины, оправдывающей Гринева на основании прошения его невесты, решение суда по его делу вообще не является каким-либо препятствием.

В сюжетной параллели с Купером Пушкину, конечно, импонирует, что русская императрица в отличие от будущего президента демократического государства, власть которого ограничена законом, может проявить милость, быть милостивой к осужденному...

Однако в этой надежде на милость, благородство и справедливость правителя Пушкин постоянно испытывает жестокие разочарования. Царь так и не помиловал сосланных в Сибирь декабристов, несмотря на очевидные призывы поэта («Стансы» – 1826; «Друзьям» – 1828; «Утопленник» – 1828;

«Пир Петра I» – 1835 и др.).

Разочарованием явилось для Пушкина и ужесточение внутренней политики Николая I, начавшееся летом 1832 г. с запрещения журнала «Европеец» И. В. Киреевского. В письме последнему от 11 июля 1832 года находим:

Запрещение Вашего журнала сделало здесь большое впечатление; все были на Вашей стороне, то есть на стороне совершенной безвинности; донос, сколько я мог узнать, ударил не из болгаринской навозной кучи, но из тучи...

«Туча» в письме, указывает на самый верх⁴.

Несколькими месяцами ранее Пушкин сам получил довольно резкое письмо от Бенкендорфа, касающееся публикации стихотворения «Анчар» в альманахе «Северные Цветы на 1832 год».

В апреле 1834 года цензурные ужесточения вновь коснулись Пушкина в связи с публикацией поэмы «Анджело» в сборнике «Новоселье».

Мелочные придирки царя, касающиеся придворной службы, вызвали уничижительную по отношению к нему запись от 21 мая 1834 г. в Дневнике Пушкина:

«В нем много от прапорицка и немного от Петра Великого». (Франц.).

И наконец характеристика монархической России в окончании письма к Чаадаеву от 19 октября 1836 г., не менее жесткая, чем критика американской демократии в цитированной выше статье о Джоне Теннере:

Поспориw с вами, я должен вам сказать, что многое в вашем

послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко. Но боюсь, как бы ваши исторические воззрения вам не повредили...

Последнее разочарование ожидало Пушкина в связи с работой над историей Петра I, монарха, образ которого представлен в пушкинском творчестве с восхищением и неизменной симпатией и который ставился в пример императору действующему, как образец подражания.

Подтверждением упомянутого разочарования Пушкина-историка служит его конспект событий за 1721 год в материалах к истории Петра, исключенный впоследствии цензурой из его тетрадей:

Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика.

НВ. (Это внести в Историю Петра, обдумав).

По учреждении синода духовенство поднесло Петру просьбу о назначении патриарха. Тогда-то (по свидетельству современников — графа Бестужева и барона Черкасова) Петр, ударив себя в грудь и обнажив кортик, сказал: «Вот вам патриарх».

Сенат синод подносятему титул: Отца Отечества, Всероссийского Императора и Петра Великого. Петр недолго церемонился и принял их».

Сенат (т. е. восемь стариков) прокричали *vivat*...

Никитенко в дневниковой записи от 21 января 1837 г. сообщал о встрече с Пушкиным у П. А. Плетнева, где разговор также шел об «Истории Петра» и Пушкин сомневался, что ее можно будет провести через цензуру. Это опасение оправдалось: после его смерти В. А. Жуковскому не удалось опубликовать материалы о Петре, собранные Пушкиным, из-за возражений Николая I, усмотревшего в них «неприличные выражения», касающиеся Петра...⁵

Приведенные примеры говорят о том, что и монархия в реально существовавшем виде не могла удовлетворить Пушкина...

Итак, подведем итоги:

- в результате нашего рассмотрения Пушкин предстает убежденным монархистом, но с чаянием благородного и справедливого монарха;
- в результате нашего рассмотрения Пушкин предстает убежденным противником демократии, но остается при этом поборником свободы, как личной (см. «Из Пиндемонти»: «... себе лишь самому/Служить и угождать»), так и общественной (см. «Памятник»: «восславил я свободу»).

В связи с этим особое значение приобретают известные строки из упомянутого уже стихотворения «Из Пиндемонти»:

Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не всё ли нам равно?...

Может быть, это и есть окончательное пушкинское суждение по поводу монархии и демократии, не допускающее однозначных трактовок?

И мы вновь убеждаемся в том, что в какие бы готовые формулы ни пытаться уложить мысли Пушкина по той или иной проблеме, это все равно окажется для них прокрустовым ложем.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., напр.: Есипов В.М., «Семейные истории Гриневых и Уартонов» // Гостиная (Филадельфия), 2023, годовой номер, С.28–37. ISSN 1076-691 X
2. Это совпадение – ещё одно свидетельство пушкинской заинтересованности Америкой летом 1836 г.
3. См.: Есипов В.М. Семейные истории Гриневых и Уартонов.
4. См. стихотворение 1835 г. «Туча»
5. Пушкин А.С. Полн собр. соч. в 10 тт., Т.8, С.379.

Вера ЗУБАРЕВА. Принцип неопределенности в «Борисе Годунове»

Каждый писатель решает по-своему вопрос развития степеней свободы героя в поле заданной фабулы. Пушкину в этом помогает его неизменный *принцип неопределенности*. Принцип этот проявляет себя как на *внутреннем*, так и на внешнем уровнях.

К внешней неопределенности в «Годунове» относится не только заключительная сцена молчания, но и расплывчатость касательно убийства. Убийца ли Годунов? У историков нет на это однозначного ответа. В литературоведении принято считать, что Пушкин опирался на Карамзина, открыто обвинившего Бориса: «...он умел лицемерить: не забывая в радости сердца – и за семь лет пред тем смело вонзив убийственный нож в гортань Св. младенца Димитрия, чтобы похитить корону» [Карамзин 2014: 181].

Согласимся, что семь лет – слишком долгий срок для того, чтобы успешно осуществить подобную кровавую комбинацию в постоянно развивающемся мире. Например, комбинация в шахматах, рассчитанная заранее, часто терпит крах, потому что слишком многое происходит на шахматной доске, чего нельзя просчитать заранее. В жизни еще сложнее, учитывая, что появляются новые люди, завязываются новые отношения, меняются цели, задачи, да и вообще картина мира. Политический мир подвижен и нелоялен. Кроме того, царевич Димитрий Иоаннович – сын от шестой или седьмой жены Ивана Грозного – был незаконнорожденным. Так что историками многое поставлено под вопрос. В художественной литературе выбор за писателем. Может, Пушкин и следовал сюжету Карамзина, а может, сделал что-то совершенно другое, в соответствии со своими художественными задачами.

Убийца ли Годунов?

Внешний конфликт «Годунова» разрастается вокруг мотива убийства. «Почти в каждой сцене “Бориса Годунова” присутствуют воспоминания или намеки на совершенное злодеяние в Угличе (сцены “Кремлевские палаты”, “Ночь. Келья в Чудовом монастыре”, “Царские палаты”, “Ночь. Сад. Фонтан”, “Царская дума”, “Площадь перед собором в Москве”, “Москва. Царские палаты”» [Макаренко 2011: 100].

Но какие неоспоримые доказательства представлены в пьесе для поддержания версии Годунова-убийцы?

Впервые мотив убийства возникает в «Кремлевских палатах» (первая сцена), выдвинутый Шуйским, который утверждает, что Годунов – убийца, а он – свидетель подготовки убийства. Если

говорить о практике расследования (а читатель и есть следователь), то обычно требуются дополнительные свидетели для подтверждения обвинения. В пьесе их нет. Все дается со слов Шуйского. Определенно им высказано только одно – Годунов виновен в том, что пролилась кровь Димитрия. На вопрос Воротынского: «Полно, точно ль / Царевича сгубил Борис?» – следует очень расплывчатый ответ:

Шуйский

...Я в Углич послан был
Исследовать на месте это дело:
Наехал я на свежие следы;
Весь город был свидетель злодеянья;
Все граждане согласно показали;
И, возвратясь, я мог единым словом
Изобличить сокрытого злодея.

На какие именно следы «наехал» Шуйский? Чему был «весь город» свидетель? Факту убийства или связи убийцы с Годуновым? Но связь с Годуновым могла раскрыться только в процессе расследования. Не присутствовал же «весь город» в кабинете следователя! И вообще – не многовато ли свидетелей для тайного покушения? Далее Шуйский «подкрепляет» свой смутный рассказ словами о единогласном подтверждении свидетелей. Каких? Да всего города! То есть «все граждане», которые по странному стечению обстоятельств явились в тот день к месту будущего убийства, впоследствии единогласно засвидетельствовали... О чем? Снова неясно. Все подано в искусно составленных намеках с ключевыми словами, призванными бить на эмоции, а не на логику. Главное – изначально создать конкретную установку, а к ней уже подшить акценты типа «свежие следы», «свидетели», «единогласные показания».

Воротынский, конечно, наивен, но и у него возникает естественный вопрос: «Зачем же ты его не уничтожил?» Ответ весьма любопытен.

Шуйский

Он, признаюсь, тогда меня смутил
Спокойствием, бесстыдностью неожиданной,
Он мне в глаза смотрел как будто правый:
Расспрашивал, в подробности входил –
И перед ним я повторил нелепость,
Которую мне сам он нашептал.

Минуточку! Как это – смутил? Тем, что смотрел «как будто правый»? А как же «свежие следы» и свидетельства всего города Углича? То есть Шуйский хочет сказать, что поведение Годунова было убедительнее прямых улик? Но чтобы у Воротынского не возникло

тех же сомнений касательно виновности Бориса, Шуйский тут же приплетает историю с нашептыванием. Опять, заметим, ничего определенного. Все в намеках.

В расследовании важную роль играет личность свидетеля. Насколько он искренен и непредвзят? Насколько честен? Есть ли у него личные мотивы, по которым он может обелить или очернить подозреваемого? Теперь на первый план выходит *внутреннее*, без которого невозможно составить представление о том, с кем мы имеем дело.

Личность Шуйского достаточно сомнительна. Он искушает Воротынского. В конце разговора Воротынский, поддавшись искусу, уже исподволь охвачен мечтой о заговоре: «А слушай, князь, ведь мы б имели право / Наследовать Феодору». Ответ Шуйского: «Да, боле, / Чем Годунов». При этом он постоянно юлит. Уже в четвертой сцене он отказывается от своих «показаний», говоря Воротынскому: «...я злословием притворным / Тогда желал тебя лишь испытать» («Кремлевские палаты»).

Ответ приводит в замешательство не только Воротынского, но и читателя. Так было или не было то, о чем ранее свидетельствовал Шуйский? Если Шуйский действительно вступил в заговор с Годуновым, поддавшись «нашептываниям», и сокрыл преступление, то он нарушил присягу царю. В первом послании к Курбскому Грозный ставит измену государю на одну ступень с изменой православию и уподобляет изменников бесам, нарушившим обряд крестоцелования. Такого «свидетеля» замели бы в острог и казнили.

Речь не о том, что же было «на самом деле», а как Пушкин выстраивает *ситуацию неопределенности*. Например, характеристика, которую несколькими сценами ниже Годунов дает Шуйскому, не вызывает сомнений: «А Шуйскому не должно доверять: / Уклончивый, но смелый и лукавый...» («Царские палаты»). Ранее читатель уже в этом убедился. То есть, когда Пушкин хочет создать определенность, он делает это максимально ясно. Совершенно другую картину мы наблюдаем, когда дело касается убийства царевича.

С. Баймухаметов пишет: «Если бы Пушкин в драме “Борис Годунов” не написал больше ничего, связанного со смертью царевича Дмитрия, а только одну строчку: “И мальчики кровавые в глазах” – ее было бы вполне достаточно, чтобы мир приговорил царя Бориса» [Баймухаметов 2008]. Действительно, этот монолог Бориса обычно воспринимается как признание вины. Но так ли все в нем однозначно? Перечитаем концовку о совести:

Но если в ней единое пятно,
Единое, случайно завелось,
Тогда – беда! как язвой моровой
Душа сгорит, нальется сердце ядом,

Как молотком стучит в ушах упрек,
И все тошнит, и голова кружится,
И мальчики кровавые в глазах...
И рад бежать, да некуда... ужасно!
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.

Кажется, будто Борис говорит себе. Любопытен синтаксис первого предложения. Оно выстроено как условное сложноподчиненное, где связь между зависимым и главным предложениями осуществляется с помощью составных двойных союзов «если... тогда». Выполнение второй части в таких предложениях обусловлено первой. Эта часть монолога содержит предложение с реальным условием. Условие в данном случае связано с совестью («если в ней единое пятно <...> случайно завелось»). Заканчивается монолог сложноподчиненным предложением с придаточным «Тогда – беда!». Оно логично замыкает мысль условно подчиненного предложения. Можно предположить, что Годунов ведет речь не о себе, а о злодее, чье имя пока не обнародовано, которого должна ведь мучить совесть! Может, и так, но двойственность возникает при внезапном появлении глаголов несовершенного вида во второй части условно подчиненного, перед этим использовавшего совершенный вид («сгорит», «нальется»). Переход к несовершенному виду в том же перечислении ощущений («стучит», «тошнит», «кружится») сдвигает монолог в область *интимно внутреннего*, относящегося уже не к общим размышлениям, а к специфическим ощущениям.

Так, может, Борис все-таки говорит о себе?

Неопределенность нарастает. Вырванный из контекста сегмент о «мальчиках» рождает больше вопросов, чем ответов. Нужно посмотреть, из какого целого он вытекает, то есть проанализировать не только что говорится или делается, но и кто стоит за словами или поступками. Идем к началу монолога (у Пушкина всегда так – доходишь до конца и понимаешь, что нужно вернуться к началу). Монолог открывается сетованиями Годунова на скуку и томленье. Он сравнивает властителя с любовником, утолившим «сердечный глад» и охладевшим к тому, что вожделем. Ничто не намекает на внутренние терзания и угрызения совести. Обычный монолог пресыщенного властью. Где-то в глубине души шевелятся смутные предчувствия «грома небесного» и «горя». Борис мысленно возвращается к неблагодарности людской, вспоминая все, что он сделал для народа.

Мне счастья нет. Я думал свой народ
В довольствии, во славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать –
Но отложил пустое попеченье...

В этом суть его печалей. Далее он пытается урезонить горькие чувства, подняться над ними, посмотрев на это с высоты птичьего полета:

Безумцы мы, когда народный плеск
Иль ярый вопль тревожит сердце наше!

Увы, это ему не удастся. Неблагодарность народная гложет его, и в душе всплывает самое больное – напраслина, которую на него возводят.

Я дочь мою мнил осчастливить браком –
Как буря, смерть уносит жениха...
И тут молва лукаво нарекает
Виновником дочернего вдовства –
Меня, меня, несчастного отца!..
Кто ни умрет, я всех убийца тайный:
Я ускорил Феодора кончину,
Я отравил свою сестру царицу –
Монахиню смиренную... все я!
Ах! чувствую: ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Так, здравая, она восторжествует
Над злобою, над темной клеветою.

«Молва» разыгрывает историю «Макбета» с бесконечной чередой убийств в целях завоевания и укрепления верховной позиции. Однако Пушкин не писал русский вариант «Макбета». Он развивал свой жанр – *жанр действительности*. Поэтому ситуация скорее напоминает реальную травлю, возможно и срежиссированную кем-то, кто более родовит, кого гложет тайная ревность, «злоба». Обращает на себя внимание эпитет «лукавый» по отношению к молве – тот же эпитет, которым Годунов окрестил Шуйского. В первой сцене Шуйский и предстает как источник слухов, когда пытается «просветить» Воротынского относительно Годунова.

Борис сетует на слухи («темная клевета»), на ярлыки, которые на него навешивают. Сетует, как сетовал бы каждый, незаслуженно оклеветанный. Его монолог не самооправдание – он наедине с собой, ему не перед кем кривить душой, «лицемерить». Это и не «самоотчет-исповедь». Он не исповедуется. Это горькие размышления о «мирских печалях», о природе человеческой, о том, как быстро и бездумно толпа поддается «молве». Мысли Годунова не «призраки невидимого горя» Ричарда II и не «призрачные страхи» его жены. Горе Бориса не метафизично. В своих горьких размышлениях он пытается найти решение, как сохранить здравый ум, не дать себя на растерзание

эмоций. В конце концов он находит ответ, как с этим справиться. Спасение – в «здравой совести» и вере в то, что она восторжествует над эмоциями «черни». К этому приходит Борис. Станет ли тот, у кого совесть нечиста, успокаивать себя таким странным образом, если только он не мазохист?

Так постепенно Пушкин подводит к третьей, заключительной, части монолога. Размышления о «злобе» людской закономерно приводят к мыслям о злодействе, о том, «в ком совесть» действительно «нечиста». «Мальчики кровавые» возникают в *этом* контексте. Они вынесены в конец монолога как последняя капля, как самая ужасная клевета, с которой можно справиться, только проведя мысленно убийцу по всем кругам ада нечистой совести.

Но может быть, все и не так. Ведь восклицает же Борис наедине с собой, узнав о самозванце: «...тринадцать лет мне сряду / Все снилось убитое дитя!» Значит, монолог о мальчиках все-таки о его собственных ощущениях? Еще одна «улика» против Годунова?

И да, и нет. Во-первых, убийца не вопрошает, не гадает на протяжении тринадцати лет, почему ему снится жертва. Он знает почему. Годунов вопрошает. Он разгадал смысл сна только после того, как понял, что затевается спектакль государственного переворота. Сам он не мог предусмотреть или просчитать появление подобного сценария, но вполне возможно, что его интуиция оказалась сильнее. Она и сигналила ему в образе царевича. (Объяснения мистического толка я упускаю как не относящиеся к жанру действительности.)

Во-вторых, ощущения могут быть вызваны мысленными картинками убиенных детей. Годунов мог ощутить подобное, когда Шуйский живописал ему кровавую расправу над детьми после убийства царевича. Шуйский мастер расписывать. Вот и отвечая на вопрос Бориса об опознании царевича, он добавляет: «Перед тобой дерзну ли я лукавить?» (Снова «лукавить»!) И тут же начинает расписывать усопшего, наделяя его сверхъестественными качествами.

Но детский лик царевича был ясен
И свеж и тих, как будто усыпленный;
Глубокая не запекалась язва,
Черты ж лица совсем не изменились.

«Как будто усыпленный...» О чем это он? Усыпленные просыпаются, если речь о живых. А царевич и впрямь описан как живой... Намек на возможное воскрешение? Но Шуйский ведь не верит во все это! Не с его циничностью верить в подобные вещи.

Немного в другой форме Шуйский повторит то же перед Патриархом:

Святой отец, кто ведает пути
Всевышнего? Не мне его судить.
Нетленный сон и силу чудотворства
Он может дать младенческим останкам...

За благочестивой речью просматривается лукавый затейник. Лукавство и затея всегда идут рука об руку. В этом есть какая-то бесовщина. «Не правда ль, эта весть / Затейлива?» – бросает Борис вслед Шуйскому, когда Шуйский собирается покинуть покои, сообщив о самозванце. Между ними разворачивается неявный диалог, который можно восстановить по отдельным словам, как по вершине айсберга. Шуйский юлит, как бес: царевич мертв, но он как живой; «держава» «сильна», но «питается» «баснями» (интересно, кто их подбрасывает?); Димитрий мертв, но «Димитрия воскреснувшее имя» «к нему толпу безумцев привлечет». Понимай как знаешь.

Годунов высмеивает «затею», но так, что за этим слышится вызов Шуйскому:

Чтоб мертвые из гроба выходили
Допрашивать царей, царей законных,
Назначенных, избранных всенародно,
Увенчанных великим патриархом?
Смешно? а? что? что ж не смеешься ты?

«Посмотрим, как ты посмеешься, когда *как будто усыпленный* начнет расшатывать твой трон», – словно отвечает ему Шуйский последующим описанием царевича в гробу.

При продвижении к развязке неопределенность не убывает. В сцене, когда Борис обращается за советом по поводу Самозванца («Царские палаты»), вновь вклинивается принцип неопределенности. На сей раз в репликах бояр, наблюдавших за реакцией царя на совет Патриарха, а затем Шуйского:

Один боярин (тихо другому)
Заметил ты, как государь бледнел
И крупный пот с лица его закапал?

Другой
Я – признаюсь – не смел поднять очей,
Не смел вздохнуть, не только шевельнуться.

Первый боярин
А выручил князь Шуйский. Молодец!

Из диалога следует, что *Один боярин* либо верит в версию убийства, либо сам замешан в заговоре и с любопытством наблюдает за реакцией Годунова на совет Патриарха (подробнее об этом будет ниже). Реплика Другого настораживает. Почему он «не смел поднять очей»? Только виновный избегает смотреть в глаза. Боялся, что план вот-вот рухнет? Реплика Первого боярина озадачивает вконец. Кого «выручил» Шуйский? Царя? Но этот глагол уместен по отношению к кругу друзей, попавших в затруднительное положение.

Установка на убийство постоянно отбрасывает тень, превращаясь из тени младенца в тень отца Гамлета. От тени сложно избавиться. «Ужели тень сорвет с меня порфиру», – задается вопросом Годунов. «На призрак сей подуи – и нет его». Если бы так! Эта тень будет преследовать его веками.

Что породило ее – миф или история?

Главное, что Пушкин не хочет нас избавить от нее. Да, Борис теряет самообладание, когда Шуйский приносит ему весть о самозванце. Но кто бы остался невозмутим? Да, он допрашивает Шуйского по поводу свидетельства смерти младенца. И это нормально в подобных обстоятельствах. Но смятение читателя только нарастает. Когда же наступит ясность?

Читатель ждет покаяния от последней сцены Годунова, словно смерть – это та самая «мышеловка», которая сумеет наконец развязать язык убийце. Но и в этом читателю отказано. Вместо покаяния – инструкции сыну и беглое упоминание грехов:

Но я достиг верховной власти... чем?
Не спрашивай. Довольно; ты невинен,
Ты царствовать теперь по праву станешь,
Я, я за все один отвечу богу...

И это все. Можно, конечно, предположить, что здесь мелькает тень убиенного царевича, но только если находиться в капкане установки. Тогда нужно ответить на вопрос, как это согласуется с внутренним монологом о «здравой совести». Здесь может быть три варианта. Первый – Пушкин упустил момент согласования этих монологов. Маловероятно. Второй. Признание в убийстве. Третий. Грехи, на которые намекает Годунов, не смертные грехи. Это, по крайней мере, согласуется с монологом о «здравой совести». Да, Годунов не безгрешен. Да, путь к верховной власти не усеян розами. Да, все мы держим ответ перед Богом и всем нам есть в чем покаяться. И да – дети не отвечают за грехи родителей. Но грех греху – рознь.

Если пушкинский Годунов и впрямь невиновен, то это в корне меняет смысл пьесы. Тогда получается, что она не об убийце-царе, а о жертве заговора «природных князей» против того, кто не «Рюриковой крови». Приняв эту версию, можно говорить о том, что в структурном

аспекте вырисовывается двойственная иерархия – законная, с Годуновым во главе, и тайная, структурированная вокруг тех, кто «Рюриковой крови». Оператором при таком раскладе будет Шуйский («Давай народ искусно волновать, / Пускай они оставят Годунова»).

Процесс – тайная борьба недоброжелателей Бориса «затейливыми» методами, включая союзничество с враждебными иностранными силами и навет (или, говоря современным языком, «фейки»). Вещь обычная в политике. Ну хоть взять недавнюю борьбу династий Клинтон и Бушей против аутсайдера Трампа с фейками типа Russian collusion, бесконечными судами и гонениями на его семью, с последующим низвержением его незаконными, по мнению большей части избирателей, методами и тюремным заключением его союзников без суда и следствия).

Функциональное значение – попытка отмирающей династии Рюриковичей, в ком, по словам Воротынского, «народ отвык <...> видеть древню отрасль», закрепиться вокруг трона во что бы то ни стало («Пускай они оставят Годунова, / Своих князей у них довольно, пусть / Себе в цари любого изберут»). Наконец, генезис может быть представлен известным признанием Пушкина Вяземскому о том, что он смотрел на Годунова «с политической точки» (X, 141; письмо Вяземскому от 13 сентября 1825 года). А если так, то «молву» можно расценить как акт политического манипулирования народом в процессе осуществления замысла по свержению Бориса.

Сказанное верно при условии, что мы принимаем версию невиновности Бориса.

Принцип неопределенности порождает ситуацию, в чем-то схожую с ситуацией Ричарда II, когда герой предстает «то преступником, то жертвой, а то и тем, и другим в одном лице», но не потому что Годунов таковым является, не потому что, как Ричард, не умеет «ни совладать с собственным “я”, ни с миром, не готовым принять его» [Шайтанов 2023: 230], а потому что мир не может решить, кто же он на самом деле, и никто не может или не хочет пролить ясность на сей счет, включая духовников и близкое окружение Бориса. Не хочет и Пушкин. И жанр зависит в зоне неопределенности.

Ситуация наподобие квантового дуализма, когда в зависимости от того, что хочешь наблюдать, получается либо частица, либо волна. Хочешь наблюдать Бориса-убийцу – получай убийцу, а хочешь Бориса-жертву – получай жертву. В первом случае речь будет о мощном потенциале героя, сумевшего повернуть историю вспять, рассчитав все на годы вперед, и только смерть кладет естественный конец его злодеяниям. Это жанр трагедии. Во втором случае перед нами характер со слабым потенциалом, не сумевший укрепить свою позицию и павший жертвой заговора. Здесь мы имеем дело с комедией.

Жанровая определенность вырисовывается при смещении ракурса на *внутреннее*, связанное с вопросом принятия решений Бориса.

Литература

- Алексеев М. П. Реплика Пушкина «Народ безмолвствует» // Алексеев М. П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л.: Наука, 1972. С. 208–239.
- Аристотель. Поэтика / Перевод с др.-греч. М. Л. Гаспарова // Аристотель. Сочинения в 4 тт. Т. 4 / Общ. ред. А. И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 645–681.
- Баймухаметов С. Т. Убивал ли Борис Годунов царевича Дмитрия? // Баймухаметов С. Т. Призраки истории. М.: АСТ, Олимп, 2008. URL: <https://history.wikireading.ru/248249> (дата обращения: 01.02.2023).
- Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986.
- Белый А. А. «Я понять тебя хочу». М.: Индрик, 1995.
- Бердяев Н. Духи русской революции. М.: Т8Rugram, 2018.
- Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. Второе дополненное издание. М.: Мир, 1931.
- Благой Д. Д. Историческая трагедия Пушкина «Борис Годунов». М.: Госиздат, 1957.
- Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Вацуру В. Э. Историческая трагедия и романтическая драма 1830-х годов // Вацуру В. Э. Пушкинская пора: Сб. ст. СПб.: Академический проект, 2000. С. 559–603.
- Веселовский А. Н. Избранное. На пути к исторической поэтике / Сост., вступ. ст., послесл., коммент. И. О. Шайтанова. М.: Автокнига, 2010.
- Веселовский А. Н. Избранное. Историческая поэтика / Сост., вступ. ст., послесл., коммент. И. О. Шайтанова. СПб.: Университетская книга, 2011.
- Веселовский А. Н. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». М., СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.
- Винокур Г. О. Собрание трудов. Комментарии к «Борису Годунову» А. С. Пушкина. М.: Лабиринт, 1999.
- Вогман В. М. Пушкин и Николай I. Исследование и материалы. СПб.: Нестор-История, 2019.
- Жуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М.: Художественная литература, 1957.

- Данилов С. С. Русский драматический театр XIX века. В 2 тт. Т. 1. М.; Л.: Искусство, 1957.
- Дельви́г А. А. Сочинения / Сост. В. Э. Вацуро. Л.: Художественная литература, 1986.
- Захаров Н. В. Шекспиризм в творчестве А. С. Пушкина // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 2. С. 235–248.
- Зубарева В. К. Чехов – основатель комедии нового типа // Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 92–123.
- Зубарева В. К. Перечитывая А. Веселовского в XXI веке // Вопросы литературы. 2013. № 5. С. 47–82.
- Зубарева В. К. Чехов в XXI веке: позиционный стиль и комедия нового типа. Idylwild, CA: Charles Schlacks, Jr. Publisher, 2015.
- Зубарева В. К. В поисках «встречного течения». Метасюжет «Евгения Онегина» // Вопросы литературы. 2022. № 1. С. 12–52.
- Калашников С. Б. Метасюжет «поэт vs государь» в «Борисе Годунове» А. С. Пушкина // Известия ВГПУ. 2012. № 1. С. 126–129.
- Карамзин Н. М. История государства Российского в 4 тт. Т. 4. М.: Delibri, 2014.
- Кара-Мурза А. А. «Государь» Макиавелли и «Медный всадник» Пушкина. Философско-политические параллели // Филологические науки. 2014. № 1. С. 75–87.
- Каценелинбойген Арон. Шахматы. 2014. URL: <http://litved.com/арон-каценелинбойген-шахматы/> (дата обращения: 01.02.2023).
- Кунин В. В. Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. В 2 тт. Т. 2. М.: Правда, 1987.
- Листов В. С., Тархова Н. А. К истории ремарки «Народ безмолвствует» в «Борисе Годунове» // Временник Пушкинской комиссии, 1979 / Ред. М. П. Алексеев. Л.: Наука, 1982. С. 96–102.
- Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. (Истоки и эстетическое своеобразие). Л.: Наука, 1974.
- Лотман Л. М. Историко-литературный комментарий // Пушкин А. С. Борис Годунов. СПб.: Академический Проект, 1996. С. 129–359.
- Лотман Ю. М. Избранные статьи в 3 тт. Т. 3. Таллин: Александра, 1992.
- Лотман Ю. М. Пушкин: Очерк творчества // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб.: Искусство–СПБ, 1995. С. 187–211.
- Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство–СПБ, 1998.

- Макаренко Е. К. Карамзинские мотивы в трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» // Вестник ТГПУ. 2011. № 11. С. 9–101.
- Макиавелли Н. Государь. Искусство власти / Перевод с ит. Г. Д. Муравьевой. М.: АСТ, 2018.
- Мейерхольд В. Э. Пушкин-режиссер // Звезда. 1936. № 9. С. 205–211.
- Надоумко Н. «Борис Годунов». Сочинение А. Пушкина. Беседа старых знакомцев // Телескоп. 1831. Ч. 1. № 4. С. 546–574.
- Непомнящий В. Поэзия и судьба: Книга о Пушкине. М.: Московский городской фонд поддержки школьного книгоиздания, 1999.
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 тт. / Сост. Б. В. Томашевский. 4-е изд. Л.: Наука, 1977–1979.
- Пушкинская энциклопедия. Произведения / Ред. М. Н. Виролайнен и др. Вып. 1. А – Д. СПб.: Нестор-История, 2009.
- Термины стилей, искусства и философии // Студопедия. 2021. 7 июля. URL: https://studopedia.ru/30_496_termini-stiley-iskusstva-i-filosofii-stranitsa.html (дата обращения: 01.02.2023).
- Тюпа В. И. «Борис Годунов» и жанровая природа трагедии // Новый филологический вестник. 2009. Т. 8. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/boris-godunov-i-zhanrovaya-priroda-tragedii> (дата обращения: 01.02.2023).
- Фомичев С. А. Пушкинская перспектива. М.: Знак, 2007.
- Шайтанов И. О. От составителя // Веселовский А. Н. Избранное: На пути к исторической поэтике. 2010. С. 5–8.
- Шайтанов И. О. Две «Неудачи»: «Мера за меру» и «Анджело» // Проблемы современной компаративистики / Сост. Е. Луценко, И. Шайтанов. М.: Журнал «Вопросы литературы», 2011. С. 111–135.
- Шайтанов И. О. За гранью эпического времени. «Ричард II» и природа трагического у Шекспира // Studia Litterarum. 2021. № 4. С. 120–141.
- Шайтанов И. О. Речевой жанр на лингвистическом повороте // Ревнитель просвещения: Сб. ст. к 90-летию почетного профессора МПГУ Валентина Ивановича Коровина / Сост. Е. Е. Дмитриева, С. В. Сапожков. М.: Литфакт, 2022. С. 11–22.
- Шайтанов И. О. Шекспировский жанр. Опыт исторической поэтики. М.: РГГУ, 2023.
- Bertalanffy L. von. General system theory: Foundations, development, applications. New York: George Braziller, 1976.
- Gharajedaghi J. Toward a systems theory of organization. Seaside, CA: Intersystems Publications, 1985.

- Prendergast C. Balzac: Fiction and melodrama. London: Arnold, 1978.
- Ulea V. (Zubarev Vera). A concept of dramatic genre and the comedy of a new type. Chess, literature, and film. Carbondale & Edwardsville: Southern Illinois University Press, 2002.
- Zubarev V. A systems approach to literature: Mythopoetics of Chekhov's four major plays. Westport Ct.: Greenwood Press, 1997
- Отрывок из статьи «Становление героя. Проблемная комедия Пушкина «Борис Годунов» в свете дифференциации поэтических родов А. Веселовского. // Вопросы литературы, 2023, № 3. С. 36-92.

Галина МАНАЕВА. По страницам пушкинской родословной.

«ВОДИЛИСЬ ПУШКИНЫ С ЦАРЯМИ...»

Предлагаемые очерки повествуют о некоторых известных или освещённых лишь частично моментах сибирской родословной поэта, начиная с XVI века. Если говорить конкретнее – вы познакомитесь с подробностями пребывания представителей рода Пушкиных в суровом крае. Они занимали высокие посты в управленческой иерархии в городах Тюмени, Тобольска, Березово, Пелыма, Мангазеи. Очерки насыщены интересными подробностями, рассказами о ярких фигурах династии поэта. Уточнено, когда у Пушкина появился интерес к Сибири, как пополнялась его библиотека о крае.

А помогли в этом исследования, прежде всего, таких выдающихся краеведов и историков, создателей пушкинской Сибириады, как В. И. Щербаченко, благодаря научным изысканиям которого вы почувствуете себя соучастниками и живыми свидетелями того далекого времени.

Итак, в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина древний дворянский род Пушкиных упоминается двадцать один раз. Сам поэт высказывался о том, что имена предков в истории Отечества «встречаются поминутно». Они столетиями состояли на служении России дружинниками, воеводами, председателями судов и расправы, дипломатами, генералами, губернаторами, преподавателями, инженерами, окольныхичими, стряпчими и даже ответственными за царскую охоту.

Александр Сергеевич исследовал свою родословную, в основном, по мужской линии, хотя обращал внимание на родственные связи и по материнской ветви – вплоть до шестипородных родственников. Современные ученые-генеалоги, исследователи, документалисты, историки, писатели, очеркисты, литературоведы С. Б. Веселовский, Ю. Н. Тынянов, И. Л. Фейнберг, В. Л. Модзалевский, В. В. Набоков, В. К. Лукомский, В. Д. Шабалина, Т. Г. Цявловская, В. И. Щербаченко и другие досконально и тщательно изучали необычайную густоту и причудливую разветвленность женской линии вплоть до двадцатого колена.

В увлекательных многолетних изысканиях обнаружилось много удивительного. Например, доказывается родство разной степени Пушкиных с потомками знаменитых фамилий Гоголей, Арсеньевых, Долгоруковых, Меншиковых, Дорошенко, Горленко, Девиеров, Лизогуба, Головиных, естественно, Загряжских и Гончаровых, Юсуповых, Оболенских, Голицыных, Мятлевых, Мещерских, Бобрищевых-Пушкиных, Мусиных-Пушкиных.

Авторы Российского Дворянского ДНК-проекта Владимир

Волков, Станислав Думин, Алекс Чарторыйский, Максум Акчури и Татьяна Плошко в течение многих лет занимаются исследованиями генетического происхождения дворянства Российской империи, включая и род Пушкиных. В 2009 году они с блеском выиграли настоящую этногеографическую битву, получив данные графа Мусина-Пушкина, потомка нетитулованной ветви Мусиных-Пушкиных, а также представителя рода Кологривовых, потомка костромской ветви Пушкиных. Тестирование проходило в компании Family Tree DNA (Хьюстон, США) и в Томском институте медицинской генетики. Большую помощь в исследовании оказали наши современники Никита Максимов и Олег Мусин-Пушкин.

Генетические данные подтвердили биологическое родство по мужской линии между представителями разных ветвей рода Пушкиных. В итоге сформировано несколько версий, некоторые из которых упоминали дядя поэта Василий Пушкин и сам Александр Сергеевич.

1. «из Немец» – т. е. из Германии или других немецких земель, в том числе Пруссии;

2. «из Пруссии» – т. е. мест проживания пруссов (современная Калининградская область и прилегающие территории);

3. «из Славонии» – вероятно, из каких-то славянских земель, находившихся под властью «Священной Римской империи германской нации»;

4. «из знатной славенской фамилии из Германии»;

5. «из Седмиградской земли» – вероятно, из Трансильвании (территория современной Румынии);

6. Из Рашской земли (Сербии).

Генетические данные помогли установить место жительства прямых предков Пушкиных по мужской линии.

Так, Григорий Пушка принадлежал к генетической линии, самой типичной у русских – R1a-YP682. Она впервые «проросла» 2100 лет назад. Получается, что большинство русских являются сородичами Александра Пушкина по мужской линии. Ближайшими же генетическими родственниками Пушкиных можно считать представителей подветви R1a1-A11915 – русских из Рязанской, Московской, Тверской и Пензенской областей.

В соответствии с генеалогическими открытиями, получается, что Сергей Львович (отец поэта) женился на Надежде Ганнибал, своей внучатой племяннице, не подозревая об этом. А Наталья Гончарова и поэт Михаил Лермонтов оказались пятиродными братом и сестрой.

ДВА РАТШИ

Советская историческая наука убедительно доказала существование двух Ратшей в родословной Пушкина. Первый Ратша – легендарный дружинник князя Александра Невского. В житии святого князя рассказано о Ратше как об одном из главных героев Невской битвы 1240 года. Могучий богатырь принял бой с несколькими врагами и погиб, окруженный неприятелем. В поэме «Руслан и Людмила» один из героев по имени Рача фигурирует как предок поэта.

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один...

Однако основоположником рода Пушкиных является другой Ратша, о котором и сказано в «Государевом родословце»: «Из немец пришел Ратша. У Ратши сын Якун. У Якуна сын Алекса. У Алексы сын Гаврила» [Документальное URL]. Далее всё прослеживается до нашего времени. Таким образом, Ратша прибыл на Русь с Запада, а Александру Невскому служили уже его сыны и правнук. Поэтому поэт и оставался при убеждении о «прусском» происхождении рода «из Немец», как указано было в «Бархатной книге» Новикова 1787 года. А между тем в родословной справке, напечатанной в 1840 г. под рисунком герба, Пушкин прочел бы, что родоначальник их, «муж честен Радша», «знатной славянской фамилии», и что выехал он не из Пруссии, а из «Седмиградской земли», т. е. Трансильвании, лежавшей на пути его из Славонии, через Семиградие, на Русь.

Общим предком всех Пушкиных, кого причисляют к роду Ратши, является Гаврило Алексич, конкретная историческая личность, упомянутая в летописях. Действительно, он служил Александру Невскому. А его прямым потомком, согласно родословной, является Григорий Пушка (7 колена), от которого и образовалась ветвь А. С. Пушкина.

ГАВРИЛА ПУШКИН

Предок Пушкина не по прямой линии Гавриил Григорьевич Пушкин, или Гаврила Пушкин является видным деятелем Смутного времени. Точный год его рождения неизвестен – считается, что он родился около 1560 г. Впервые в исторических документах он появляется в 1579 году, когда женится на Марье Мелентьевне Ивановой, падчерице Ивана Грозного. Надо отметить, что и вторая

жена также была из семейства Грозного.

При Борисе Годунове Гаврила Пушкин попал в опалу, чем и объясняется то, что в 1601—1602 годах он послан головою в Пелым Тобольской губернии (ныне село в Свердловской области). Александр Пушкин в своём письме Н. Н. Раевскому-младшему от 30 января 1829 г. пишет на французском языке:

Гаврила Пушкин – один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных бумагах. Он был очень талантлив как воин, как придворный и, в особенности, как заговорщик. Это он и Плещеев своей неслыханной дерзостью обеспечили успех Самозванца. Затем я снова нашел его в Москве в числе семи начальников, защищавших ее в 1612 году, потом в 1616 году заседающим в Думе рядом с Козьмой Мининым, потом воеводой в Нижнем, потом среди выборных людей, венчавших на царство Романовых, потом послом. Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотою, которую я нашел в Погорелом Городище – городе, который он сжег (в наказание за что-то), подобно проконсулам Национального Конвента.

[Пушкин 1959-1962 :296]

Во время венчания Михаила Федоровича Романова на царство 11 июля 1613 года Гаврила Пушкин претендовал на равенство с Дмитрием Михайловичем Пожарским.

За важную услугу Лжедмитрию Гаврила Пушкин стал думным дворянином и великим сокольничим, то есть надзирателем за царскими кречетами и постоянным спутником государя на птичьих ловах, став одним из наиболее приближенных лиц к новому царю. В 1606 году на свадьбе Лжедмитрия с Мариной Мнишек Пушкин сидел под дружками, а затем должен был потчевать в Золотой Палате 150 слуг воеводских и посольских и «жолнеров лучших».

Несмотря на то, что Гаврила Пушкин интриговал против Лжедмитрия II, противника царя Василия Шуйского, он включился в заговор против самого Шуйского. Изворотливость потомка в самых щекотливых политических ситуациях не знала предела. В 1612 году он выступил уже против поляков. В 1617 году, предположительно из-за угрозы захвата крепости, в Погорелое Городище (ныне посёлок в 150 километрах к югу от Твери) в качестве воеводы Гаврила Пушкин получает приказ «разломати или сжечь» укрепление, с чем он успешно и справился. Вместе с крепостью сгорели и все строения жителей, в связи с чем царь Михаил Федорович Романов жаловал погорельцам грамоту, даровавшую освобождение от податей на пять лет. Чтобы предотвратить распри между Пушкиными и боярином Д. М. Пожарским, Г. Пушкин получил новое назначение – воеводой пограничного города Вязьмы. В 1626 году он отправляется в свои

поместья, приняв перед смертью монашеский постриг. Наследниками остались два сына – Григорий Гаврилович и Степан Гаврилович Пушкины.

Гаврила Пушкин фигурирует в опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в роли гонца от Лжедмитрия I.

ДВА ФЁДОРА

Стольнику Федору Пушкину повезло меньше. В 1697 году вместе с окольным Алексей Соковниным, его зятем, стрелецким полковником Иваном Циклером, этот предок организовал заговор против царя Петра I. В случае успеха стрельцы планировали возвести на царский престол царевну Софью Алексеевну, старшую сестру Петра. Два стрельца уведомили царя о намерении заговорщиков зажечь дом, в котором находился царь, и во время пожара убить его. 23 февраля заговор был раскрыт. Пётр явился на место собрания заговорщиков, лично арестовал их и организовал над ними суд:

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.

В 1833 году, в сентябре, Александр Сергеевич Пушкин побывал в Оренбурге – не так уж далеко от Сибири, если следовать хронологии трех реформ по административно-территориальному устройству Тобольской губернии. По результатам поездки, в которой его сопровождал Владимир Даль, были написаны повести «История Пугачевского бунта» и «Капитанская дочка». В бурной, кипящей роскоши пушкинской родословной 16 поколение рода замыкают два прямых предка Пушкина — Александр Петрович и Федор Петрович с братьями и сестрой, а открывают дети троюродного брата «Калиновичей» Алексея Михайловича Пушкина, закончившего карьеру тайным советником. Младшего из его сыновей, отважного воина Федора Алексеевича, как раз и упомянул Пушкин трижды в «Истории Пугачева».

Родился Федор Алексеевич в 1751 г. В 1767 г. вступил в военную службу поручиком Невского полка. В 1771 г. он уже секунд-майор, участник штурма Перекопа. Восстание Пугачева застаёт его в чине секунд-майора 2-го гренадерского полка под Оренбургом – в самой гуще событий. Пушкин первый раз упоминает его в главе V, где речь идет о приближении к Оренбургу отряда генерал-майора князя П. М. Голицына и его успехах в столкновении с мятежниками.

Позднее полковник Пушкин переходит в гражданскую службу, в

1794 г. занимает пост председателя Воронежского верхнего земского суда, в 1797 г. — председателя в Палате суда и расправы Калужской губернии, с 1798 по 1800 г. — калужского вице-губернатора, и, наконец, с 1800 по 1805 г. — воронежского губернатора с чином действительного статского советника.

Женат Ф. А. Пушкин был на княжне Марии Ивановне Оболенской (1764 — после 1815). Это же имя и отчество Пушкин даст позднее героине «Капитанской дочки». Имя Федора Алексеевича было известно Пушкину, ведь его дочь едва не стала женою поэта. История первого сватовства Пушкина к своей дальней родственнице Софии Пушкиной хорошо известна. Именно ей, шестиродной бабушке, посвящено стихотворение «Нет, не черкешенка она».

**ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ БРОНЕВСКИЙ,
или КТО РАСКРИТИКОВАЛ «ИСТОРИЮ
ПУГАЧЕВСКОГО БУНТА»**

«Капитанская дочка» и «История Пугачёвского бунта» были встречены читающей публикой с восхищением, но в некоторых кругах с известной долей сомнения. Впервые появилась и критика, написанная ... кем бы вы думали? В. Б. Броневским (1785-1835), Георгиевским кавалером, генерал-майором, участвовавшим в 18 морских компаниях и служившим в составе Черноморского флота. Все пережитое он описал в своих книгах, которым академик Е. В. Тарле дал высокую оценку. В 1833 году Владимир Богданович окончательно расстаётся со службой и уходит в отставку в чине генерал-майора, полностью посвятив своё время писательскому труду.

Нужно сказать, что жанр путеводных заметок занимал его смолоду. Как-то летом 1815 года его дядя Семён Михайлович, готовясь к поездке по своей вотчине с целью проверки карантинных служб Крыма, пригласил с собой и Владимира, чтобы тот запечатлел наиболее интересные места делового путешествия. Об этом рискованном путешествии Владимир Броневский рассказал в своей книге «Обозрение Южного берега Тавриды. В 1815 году».

Владимир Броневский, сохраняя жанровую преемственность (жанр путевых записок, ведущих своё начало с древнерусской паломнической литературы), установил глубокий культурный диалог времён, внёс существенный вклад в развитие путевой литературы. Переосмысливая впечатления, он развернул широкий информационно-познавательный план – от Севастополя до Феодосии. Не забыл Броневский и Чатыр-Даг, упомянутый Пушкиным в письме к Дельвигу в декабре 1824 года .

Путешественник назвал его «исполином Крымских гор с сочными травами, изобилием ключевых вод». С интересом узнаешь, что 200

лет назад нынешний величественный и грозный Карадаг выглядел, как «природою устроенный грот, образующийся сблизившимися крупными скалами, с вершин которых свешиваются деревья. А рядом, чуть ли не в самом гроте, стоит дача, в которой живёт султанша из рода Гиреев, родственница последнего крымского хана» [Броневский 1822: 96,132]. Напрасно путники мечтали о встрече с ней. По замечанию писателя, несмотря на старания, никто не смог организовать столь почётный визит. Пушкинистов заинтересовал этот факт в связи с крымским путешествием Пушкина и Раевского, которые именно здесь сошли с корабля, покидая Феодосию (1820 г.). Не к султанше ли тоже пытались зайти в гости друзья? Знаменитый рисунок поэта, выполненный на берегу, послужил доказательством их пребывания в этой местности. О догадке касательно их таинственного исчезновения впервые упомянуто мной на феодосийских литературных чтениях 2019 года – скромнейший вклад в отечественную Пушкиниану.

В Санкт-Петербурге Броневский находился в гуще научной и культурной жизни. Его заслуги были отмечены членством в Императорской академии наук. Он состоял членом Вольного общества любителей российской словесности, наук и художеств, который посещал и Пушкин. Броневский редактировал морскую часть известного академическим блеском и достоверностью «Энциклопедического лексикона» А. А. Плюшара. Его произведения печатаются в «Благонамеренном», «Соревнователе Просвещения», «Вестнике Европы», «Сыне Отечества» и других периодических изданиях. Наряду с морской темой Броневского заинтересовала история казачества.

Броневский написал критическую рецензию на «Историю Пугачёвского бунта» А. С. Пушкина, опубликованную в январской книжке журнала «Сын Отечества» за 1835 год. №1 под псевдонимом. И на это он имел основания. В 1834 году в свет вышел его капитальный труд в 4 частях «История Донского войска». Пугачёва он считал извергом, «вне законов природы рождённым». По мнению Броневского, *«В Истории Пугачёвского бунта», действительно всё так холодно и сухо, что тщетно будут искать в нём труда знаменитого нашего поэта. К удивлению, и признаюсь, к сожалению нашему, мы не нашли в нём ни одного чувства, ни одной искры жизни. Пушкин, как Историк, так мало походит на Пушкина поэта, что мы, удивляясь такому его самоотвержению, не хвалим его за насилие самому себе сделанное, и досадуем что ему вздумалось, исписав 168 страниц, ни одним словом, ни одним выражением не изменить своей пламенной природе, всегда сильно чувствующей и пишущей пером огненным»* [Броневский 1835: 177].

Александр Сергеевич, естественно, воспринял критику в свой адрес болезненно. Признав некоторые замечания справедливыми,

он оставил весьма любопытные комментарии, часто превосходящие замечания Броневского в несколько раз («Современник», 1836. С. 109-134).

«ЦАРЮ НАПЕРСНИК, А НЕ РАБ...»
 СИБИРСКИЕ КОРНИ ПУШКИНА:
 ПУШКИНЫ-НЕПУШКИНЫ И ГАННИБАЛЫ

А. С. Пушкин никогда не был в Сибири, но дух его постоянно витал над могучей, сильной, щедрой и суровой землей. Около 30 представителей рода имеют непосредственное отношение к становлению и развитию обширных территорий Севера.

Далёкие, но прямые предки Александра Сергеевича служили и в только что отстроенных сибирских городах Тюмени и Тобольске. Первыми на тюменской земле стали направленные на службу в Тобольск стали братья Пушкины – Евстафий Михайлович и Никита Михайлович. До тобольской службы братья Пушкины проявили себя при Иване Грозном в Ливонской войне, как дипломаты и военачальники. Во время похода хана Девлет-Гирея на Москву предок поэта разработал план отъезда царской семьи из Москвы. В 1598 году Евстафий Пушкин, потомок Григория Пушки в шестом поколении, подписал соборное постановление об избрании на царский престол Бориса Годунова.

Смирив крамолу и коварство
 И ярость бранных непогод,
 Когда Романовых на царство
 Звал в грамоте своей народ,
 Мы к оной руку приложили,
 Нас жаловал страдальца сын.

Важно обратить внимание на сакральную фразу поэта в приведенной выше строфе: «... нас жаловал страдальца сын» (подразумевается сын патриарха Филарета государь Михаил Романов). А страдалец патриарх, как известно, пребывал в польском плену несколько лет.

В конце царствования Годунова Евстафий Михайлович чем-то вызвал недовольствие царя. Карамзин приводит выдержки из разрядной книги 1601 года. «Послал царь Борис в Сибирь Пушкиных Остафья с братьею за опалу... а Левонтия, да Ивашку Пушкиных за то, что они бил челом на князя Ондreja Елецкого в отечестве и тем царя раскручинили... поместья и вотчины у них велел отписать, а животы распродать» [Софронов, 2013:45]. Конечно, дворяне не шли по этапу, закованные в кандалах, как другие ссыльные, а в сопровождении

членов семейств, слуг, челяди, и нередко – с повышением в чине. Евстафий прибыл в Тобольск в статусе думного дворянина в Тобольск, что означало только одно: он назначен наместником всей Сибири.

В Тобольске братья Пушкины в 1601-1605 годах занимали должности помощников тобольского воеводы и командиров полков тобольского гарнизона. Евстафий Михайлович закончил жизненный путь в 1603 году в Тобольске, где и похоронен, а Никита Михайлович в 1605 году перевёлся на службу в Москву. Сын Ефстафия Пушкина, Никита, служил в 1625-1627 годах в Сургуте.

Еще одного Пушкина невозможно не упомянуть – Михаила Алексеевича Пушкина, переводчика и сотрудника первого сибирского литературного журнала «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» (1789-1791). Издателем вызвался внук русского поэта А. П. Сумарокова – П. П. Сумароков.

Биография Михаила Пушкина окутана такими историческими завитушками-тайнами, что сейчас невозможно установить, где вымысел и клевета, а где правда. Михаил – активный участник переворота в пользу Екатерины II; именно в его мундир переоделась Е. Р. Дашкова, сопровождавшая будущую императрицу в Петергоф. Вместе с братом они были приговорены как фальшивомонетчики к смертной казни, которая потом была заменена ссылкой в Тобольск. Им даже не разрешили сохранить свою фамилию, и назвались они Непушкины.

Михаил Алексеевич перевел роман французского писателя Клода-Жозефа Дора (1734-1780) «Несчастья, от непостоянства происходящие, или Письма маркизы Сирсе и графа Мирабеля». В Тобольске М. Пушкин близко познакомился с А. Н. Радищевым, направлявшегося в Илимский острог.

Кроме того, предки Пушкина имеют самое непосредственное отношение к возникновению первого русского города Заполярья – Мангазеи, построенного в 1600 году, откуда к царскому двору поставлялись соболиные меха. Историк Миллер писал: «Из Березова (русские) старались проведывать лежащие оттуда к востоку места при реках Пуре, Тазе и Енисее и понеже при реке Тазе нашли некоторый род самоеды, называемой Мокасе, то сие подало повод к названию тамошней страны по российскому произношению Мангазея». В новгородском списке XV века «Сказание о челоуцех незнаемых в восточной стране» обитателях Мангазеи сказано: «На восточной стране за Югорискою землею над морем живут люди Самоедь, зовомы Могонзеи; а ядь их мясо олень, да рыба... Сия же люди не велики возрастом, плосковиды, носы малы, но резвы вельмы и стрельцы скоры и горазды, а яздыть на оленях и на собаках. Платне носят соболие и олень, а товар их соболи» [Белов, 1969:4]. О Мангазее говорили как «о стране, текущей медом и млеком». Добраться до этих

богатых мест можно было морским ходом: от устья северной Двины до Тазовской губы, далее по реке Таз.

Русские и коми-зырянские промышленники в бассейне реки Таз поставили свои городки, наладили торговлю с местными жителями, с которых брали дань. Это считалось преступлением, царь Борис Годунов решил взять под свой контроль, на каждом шагу построил таможни. Воевода в старой Руси выполнял обязанности начальника войска, высшего местного администратора. Они отвечали за строительство оборонительных линий, обеспечение сибирских окраин вооружением, судебные дела, продовольственное снабжение «непашенных» городов. Корректировали внешнеполитические и торговые сношения с соседними государствами. В 1600 году из Тобольска в район Мангазеи отправился отряд из ста стрельцов во главе с воеводами Мироном Шаховским и Данилой Хрипуновым. Он оказался не совсем удачным. Тогда царь Борис Годунов приказал воеводам Василию Мосальскому и Савлуку Пушкину идти в Мангазею с новым составом. На этот раз подготовка к нему велась более основательно. Вся Россия готовилась к этому эпохальному событию. Ведь городу предстояло стать основным регионом поставщика пушнины.

Снаряжение для их похода доставляли через Тюмень.

Надо сказать, что воеводами Тюменского уезда Тобольской губернии трудились на благо развития города Пушкины: Федор Семенович (1600-1601) и Федор Федорович (1620-1622). Фёдор Фёдорович Пушкин в 1613 году подписал соборную грамоту об избрании на царский престол 16-летнего Михаила Фёдоровича Романова. После Тюмени служил в Поместном приказе, описывал земли в Московском уезде. иногда присутствовал за царским обедом, на приемах, воеводил в Чугуеве. С супругой Анной Ивановной Давыдовой у них родилось четверо сыновей и дочь. Его отпрыск Иван Фёдорович Пушкин, (по прозвищу Шиш), приближённый царя Алексея Михайловича Романова, в 1673-1676 годах – помощник воеводы Тобольска. Как видим, в Сибири зародилась и управленческая династия Пушкиных. Позднее Иван Федорович стал членом боярской думы, назначен в окольничие. Чин по рангу – второй после бояр. Ему на смену пришёл Пётр Тимофеевич Пушкин, возглавлявший Тюмень в 1627-1629 годах. С 1644 по 1646 года этот пост занимал Иван Гаврилович Бобрищев-Пушкин, представитель боковой ветви Пушкиных.

Интерес Александра Сергеевича к этому краю пробудился в раннем возрасте и никогда не исчезал. Будущий автор неоконченного романа «Арап Петра Великого» впервые о Сибири услышал из устных семейных разговоров и воспоминаний: его прадед по матери Ибрагим Ганнибал был в сибирской ссылке с документами

на имя Абрама Петрова (фамилия образована от имени Петра I, его крестного отца). Вообще-то Ганнибал имел три имени, две фамилии, две даты рождения, дважды менял религию. Он не эфиоп (абиссинец), а камерунец, как считают некоторые выдающиеся ученые, включая старшего научного сотрудника Национального центра научных исследований Франции Анри Турнье. До сих пор точно не установлены место рождения, имена отца и матери. И фамилию он себе взял весьма значимую в истории. Версий и гипотез появления Ганнибалов в России тоже несколько, и ни одна из них пока официально не подтверждена. Наиболее распространенная – турецкая, упоминаются также голландская, английская. В молодом, двадцать первом веке, литературоведы вновь сошлись в интеллектуальном «бою», сопоставляя факты, анализируя документы, которые ранее сознательно утаивались некоторыми специалистами, да ведь и сам Абрам давал повод для фантазий, рассказывая о себе несколько туманно. Д. Д. Благой, один из самых авторитетных пушкинистов прошлого века полагал, что Абрам Ганнибал родился в 1688 году. Профессор верил беспристрастным дворцовым расходным книгам, в которых уже с 1698 года упоминается арап Абрам. Петр I, как известно, был большим любителем экзотики и хотел иметь своего «арапчонка», и не пожалел об этом ни разу. Абрам проявил себя талантливым учеником, сопровождал царя во всех военных походах, выполняя различные поручения Петра. Впоследствии он стал государевым камердинером, секретарем и библиотекарем.

В 1717 году Абрам Петров выехал со свитой Петра во Францию, где и остался для дальнейшего обучения военному искусству. К тому времени он уже знал иностранные языки и точные науки. Знания подкрепил во франко-испанской войне, был ранен, дослужился во французской армии до звания капитана. В 1723 году вернулся отличным специалистом, с прекрасными манерами и огромной библиотекой. Он знал Мольера, Корнеля, Расина, Овидия, изучал «Историю Кромвеля», «Способы познания истины». Сразу же по возвращению получил должность инженера-поручика бомбардирской роты Преображенского полка. Дослужился до генерал-аншефа. Фотографии Абрама до сих пор не найдено. Известный портрет, «путешествующий» по просторам всемирной паутины, в некоторых печатных изданиях, как считают ученые, является изображением генерала Ивана Меллер-Закомельского.

Возле Петра I Абрам Ганнибал находился неотлучно, стал его другом, советчиком, к тому же хорошо разбирался в придворных хитросплетениях. После смерти императора Екатерина I доверила ему воспитывать юного Петра II, что не нравилось другому петровскому фавориту – Александру Даниловичу Меншикову (1673-1729), в руках которого находилась реальная власть. Он блестяще

продемонстрировал свои воинские способности в Северных войнах, Азовских походах. Полководец не знал себе равных в сражении под Полтавой, разбив корпус генерала Росса, что и обеспечило победу русских над шведами.

Этого государственного деятеля, фактического правителя страны, известного широким массам по картине Василия Сурикова «Меншиков в Березово» (1883) Пушкин в поэме «Полтава» охарактеризовал как «счастья баловень безродный, полудержавный властелин». Жаждавший власти, богатства, славы Александр Данилович рассчитывал упрочить свое положение, выдав дочь за Петра II. И добивается помолвки малолетнего Петра и Марии, которая искренне любила другого человека. Классический интриган, он тщательно следил за поведением своих недругов. К тому времени против Меншикова сформировалась сильная оппозиция во главе с Аграфеной Волконской, фрейлиной императрицы Екатерины I, и, конечно, как водится, с непосредственным участием представителей княжеских родов. Ганнибал находился в курсе происходящего и сочувствовал этой партии. Меншиков недолюбливал Ганнибала и за его образованность, компетентность. Сам-то он ведь не умел даже писать. Узнав о заговорщиках, он успел расправиться со своими недоброжелателями, как ему казалось. Одни отправились в ссылку по российским губерниям, другие – в монастыри и тюрьмы.

А Ганнибал 8 мая 1727 года получил приказ отправиться в Казань, чтобы руководить благоустройством местной крепости. Уже в дороге его настигло новое поручение – как можно быстрее быть в Сибири, в Тобольске. Летом 1727 года он добрался до Тюмени. К тому времени в городе уже стояли Благовещенская церковь и Свято-Троицкий монастырь, на строительство которых выделил средства Петр Великий.

Известно, что здесь Абрам посетил могилу благоустроителя монастыря Филофея, умершего в мае того же года. Однако по дороге он получил новый приказ – ехать на границу с Китаем, в Селенгинск (нынешняя Бурятия) и построить крепость и чуть ли не перенести город в другое место. Меншиков тем временем сам испытывал огромный стресс, вдобавок тяжело заболел, чем и воспользовались недоброжелатели. События даже по обыденным меркам в течение нескольких месяцев развивались стремительно и не в его пользу. 8 сентября 1727 года по 4 апреля 1728 года Александр Данилович находился под арестом. А после полученных неопровержимых доказательств казнокрадства и непосредственного участия в заговоре против царевича Алексея Петровича, своего отца, Петр II, в мае отправил его в Тобольск, а затем в Березово, ныне Ханты-Мансийский округ-Югра Тюменской области.

Имение, состоящее из 99 тысяч душ, нескольких городов и

поместий, 13 миллионов рублей, огромное количество бриллиантов было конфисковано. В аресте активное участие принимал сенатор Алексей Долгоруков, представитель рода Рюриковичей. Однако вскоре и он оказался вместе с семьей в Березове. Сам Березов основан предком Пушкина и Толстого – Никитой Васильевичем Траханиотовым, правнучатая племянница которого вышла замуж за Петра Алексеевича Головина. Никита Васильевич – продолжатель древнегреческой династии Траханиотисов, пришедших на Русь в 1473 году, внук царского печатника. Род Петра Головина известен с дорюриковских времен, через сто лет представительница которого Евдокия стала супругой прадеда Александра Сергеевича Пушкина. Долгоруков противился воцарению императрицы Анны Иоанновны, отправившая его в «отдаленные» места в 1730 году. Долгоруков скончался в 1734 году, а детей освободила императрица Елизавета Петровна в 1741 году. Вот такой «цветастый» круговорот в царских делах.

Опытный специалист, Ганнибал понимал всю абсурдность, несостоятельность и глупость поручений. 31 августа 1729 года, когда Меншиков находился в Березово, Ганнибал посылает императору Петру II письмо следующего содержания: «Бывший генералиссимус меня послал для своего партикулярного интереса и по злобе, и по наущению его креатур, а не для дела, понеже не дав мне инструкций и указа, где мне получать жалование, также де и инструментов, и бумаги, и краски, которые тому делу принадлежат» [Сергеев 1996 :47]

К слову сказать, Петропавловская крепость была возведена до приезда прадеда Пушкина в Селенгинск. Он отказался участвовать в проектах. 19 января 1730 года от черной оспы умирает Петр II. Судьба Ганнибала остается неопределенной, он несколько раз обращается к своим влиятельным друзьям, но не получает ответа. Абрам Петрович мечтал вырваться из сибирской ссылки, часто голодал, оставался без куска хлеба. Савва Лукич Владиславич-Рагузинский, сподвижник Петра Великого, сербский патриот, негоциант, один из организаторов внешней российской разведки, помог ему выехать из Селенгинска. Но вместо Тобольска Абраму Петровичу пришлось добираться до Томска, где подвергся аресту, обыскам и заточению в Алексиевский монастырь.

В Тобольск он вернулся по распоряжению новой императрицы Анны Иоанновны в начале 1730-го года майором Тобольского гарнизона. А военачальник, фельдмаршал Б.-Х. Миних организовал перевод в Пяру. Князь Меншиков к этому времени уже скончался и был похоронен на территории березовской местной церкви, построенной им самим 290 лет назад.

С воцарением на престол Елизаветы Петровны (1709–1761)

Ганнибал с 1756 года он был назначен главным военным инженером русской армии, за три года дослужился до генерала-аншефа. Руководил строительством Ладожского канала, отлично себя зарекомендовал в должности директора крепости Кронштадт, на посту Выборгского губернатора. Не забывал Ганнибал и о важности образования, ревностно следил за качеством подготовки инженерных кадров. Он открыл школу для мастеровых и рабочих, успешно продвигаясь по служебной лестнице. Получил звание генерал-инженера. Перу Абрама Петровича принадлежат посвящение его двухтомной рукописи «Практическая геометрия» и «Фортификация» императрице Екатерине I (1726) на русском языке.

Ганнибал активно способствовал широкому распространению картофелеводства в России. В 1762-м во время царствования Петра III (1728–1762) ушел в отставку, поселился в своем имении Суйда в Санкт-Петербургской губернии, где его навещал А. В. Суворов. Похоронен Абрам Петрович на старом Суйдинском кладбище.. На предполагаемом месте могилы в 1871 году была установлена гранитная плита, которая в 1922 году была использованы как фундамент для строящихся барачков.

В 1970 году старое кладбище перепахали. В настоящий момент мемориальное надгробие с надписью «Здесь похоронен прадед А. С. Пушкина Абрам Петрович Ганнибал, выдающийся русский математик, фортификатор и гидротехник. 1697-1781» установлено в селе Воскресенское Гатчинского района Ленинградской области.

У него родилось 11 детей, выжили семеро. Внучка от сына Осипа, Надежда, стала матерью великого русского поэта.

Старший из 11 детей генерала Ганнибала и урожденной Христины фон Шенберг Иван Абрамович Ганнибал (1735(6?)-1801), двоюродный дед Пушкина, служил в морской артиллерии. Успешно командовал береговой артиллерией и десантом в бою за Наварин против турок. Приморская крепость была взята:

... Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала
И пал впервые Наварин...

Он принимал участие в знаменитом Чесменском сражении в июне 1770-го под командованием графа Алексея Орлова. В 1778 г. Иван Абрамович, генерал-цехмейстер, строил цитадель в Херсоне. Здесь базировался Черноморский флот, которым он руководил. В Указе императрицы Екатерины II об основании Херсона от 18 июня 1778 г. №14.764 определена цель: заведение «...для Черного моря гавани и верфи...» [О назначении места 1830: 722]

Название города обозначает преемственную связь с Херсонесом

Таврическим, что видно из указа 1775 года: «14.366. – Сентября 9. Именной, данный Синоду. – Об учреждении в Новороссийской и Азовской Губернии вновь Епархии, под названием Славянская и Херсонская. <...> наречением сим возобновляем Мы также и те самые знаменитейшие названия, которые от глубокой древности сохраняет Российская История, что Наш народ есть единоплеменный, и сушая отрасль древних Славян, и что Херсон был источник Христианства для России, где, по восприятии Князем Владимиром крещения, свет благодатной веры и истинного богослужения воссиял и насажден в России» [О составлении 1830: 889]

Казенные и вольные рабочие, мастеровые и ремесленники, солдаты местного гарнизона и каторжники были заняты на работах. В начале 90-х годов XVIII века здесь насчитывалось уже более двух тысяч домов, лучшие из которых находились в греческом предместье. В одном из них (дом губернского правления) в 1792–1794 годах жил Александр Васильевич Суворов, командовавший в эти годы войсками Херсонского корпуса. Он тесно общался с Абрамом Петровичем, которому был обязан своей блестящей карьерой, и Иваном Абрамовичем. Но и Иван Ганнибал не избежал интриг, теперь уже со стороны фаворита Григория Потемкина. Вместо того, чтобы помочь Ганнибалу укрепить команду управленцев, когда надо было обновлять флот, он строчил на него доносы. Императрица не приняла во внимание эти клеветы. Она благоволила к Ивану Абрамовичу, что позволило ему пребывать в почете, с земельным наделом, и в чине генерала-аншефа.

В 1784 году И. А. Ганнибал уходит в отставку. Умер Иван Абрамович, не оставив потомства. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры.

Увлеченный рассказами о Ганнибале, Александр Пушкин рано начал читать историческую литературу. Частым гостем в их доме был большой друг Сергея Львовича, востоковед, основоположник русской синологии Никита Яковлевич Бичурин (1777-1853), который некоторое время проживал в Иркутске и являлся настоятелем Вознесенского монастыря. Он же – первый китаевед, автор русско-китайского словаря.

Никита Яковлевич блестяще владел китайским, перевел множество традиционных китайских текстов и как участник духовной миссии Российской Империи прожил в Пекине почти пятнадцать лет. Вот как Никита Яковлевич описывает в своих дневниках один из первых своих визитов домой к Пушкиным, в июле 1814-го: «Сергей пригласил отужинать и я с радостью согласился. Надежда, его жена – истинное очарование. Саша – живой мальчик, читал вслух свои стихи. Похоже, сын Сергея по-настоящему талантлив. Родители на него не нарадуются. Стал показывать Сергею гравюры, которые привез из

Поднебесной, и тут с Сашей произошла необычайная перемена. Он затих, подобрался поближе, как будто окаменел и неотрывно смотрел на пекинские домики и пейзажи, которые я показывал его родителям. Когда пришла пора прощаться, он долго не хотел меня отпускать и просил показать еще картинок. В результате несколько гравюр я ему подарил, чем чрезвычайно обрадовал мальчугана...» [Мелочихина URL].

Через много лет, в 1828-м году, Никита Яковлевич дарит поэту книгу «Описание Тибета» с дарственной: «Милостивому государю моему Александру Сергеевичу Пушкину от переводчика в знак истинного уважения». А позднее он вручает Пушкину книгу «Сань-Цзы-Цзин, или Троеслово», собрание древнекитайских изречений. Пушкин в своих дневниках пишет: «Никита пролил самый яркий свет на сношения наши с Востоком, открыл мне эту страну и пробудил во мне что-то глубокое, детское, неведомое» [Суржок, 1981:29] Казалось, что удача улыбнулась поэту – зимой 1829-го была начата подготовка экспедиции в Китай под руководством барона фон Кашнтадта и при непосредственном участии Бичурина. Но когда Пушкин обратился к графу Бенкендорфу с просьбой включить его в состав русской миссии, поэту было высочайше отказано...

* * *

Неподалеку от Красноярска, в селе Емельяново, сохранилась могила декабриста Михаила Матвеевича Спиридова – двоюродного брата офицера Семеновского полка Петра Яковлевича Чаадаева, дальнего родственника поэта. Ее редко посещают туристы, но всегда останавливаются в поклоне и молитве прихожане емельяновской церкви во имя Живоначальная Троицы и Покрова Божией Матери. А где-то сейчас возносятся к небу молитвы с пушкинской ладанкой в руках. Как свидетельствуют исторические хроники, Россия с 1625 года обладала величайшей святыней христианского мира – Ризой Господней, сотканной Пресвятой Богородицей. От первых Романовых бояре Пушкины и получили частицу Святыни. С тех пор предки в июле праздновали положение Ризы Господней в Москве. В своих воспоминаниях Александра Петровна Арапова, дочь Натальи Николаевны и Петра Петровича Ланского пишет: «В роде бояр Пушкиных с незапамятных времен хранилась металлическая ладанка с довольно грубо гравированным на ней Всевидающим Оком и наглухо заключенной в ней частицей Ризы Господней. Она — обязательное достояние старшего сына. Ему вменяется в обязанность 10 июля в день праздника Положения Ризы Господней служить перед этой святыней молебен. А. С. Пушкин всю свою жизнь это исполнял и завещал жене соблюдать то же самое. А когда наступит время, вручить ее старшему сыну, взяв с него обещание никогда

не уклоняться от семейного обета» [stoletie.ru Черкашина, 2019] . После октябрьского переворота святыня дома Пушкиных с внучкой Александра Сергеевича Еленой Александровной фон дер Розенмайер отправилась в Константинополь. В 1942 году Елена Александровна умерла в Ницце. Некоторые литературоведы осторожно поясняют, что след пушкинской святыни потерялся, а другие уверенно называют нынешнюю московскую «прописку» ладанки.

А завершить статью важно сведениями о Сергее Борисовиче Пушкине (1925–2015), праправнуке поэта. В семнадцать лет стал курсантом Красноярского авиационно-технического училища. Получил специальность механика-моториста: возвращал в строй после боевых вылетов самолеты-штурмовики «Ил-2» и истребители. Победу встретил в Маньчжурии, где служил механиком самолетов штурмовой авиации. Имеет боевые награды.

Сергей Борисович многие годы его жизни связаны с работой во Всесоюзном научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений. Специалист по точному измерению времени и частоты. Главный конструктор первых в нашей стране атомных часов. Член комиссии Международного астрономического союза. Автор семидесяти научных работ. Лауреат Государственной премии СССР.

В нашей культурной памяти много зигзагов, изломов, взлетов, озарений, провалов, но неизменно яркой и спасительной остается негасимый свет Пушкинской звезды.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Белов М. И., Мангазея. Л.: Гидрометеиздат. 1969.
- Броневский В. Б., Обзорение южного берега Тавриды. В 1815 году. Тула: Типография губернского правления. 1822.
- Буцинский П. Н. Сочинения в двух томах: Т. 2. Мангазея. Сургут, Нарым и Кетск / Под ред. С. Г. Пархимовича. Сост. Ю. Л. Мандрика. – Тюмень: Издательство Ю. Мандрики, 1999.
- Владимиров Е., Пушкин и Сибирь. Журнал “Сибирские огни”. №1, 1937 г. С. 85.
- Документальное и генетическое происхождение рода Пушкиных. [http://www. Genealogyrus.ru](http://www.Genealogyrus.ru) >blog/tpost/4sjyf-funv1. (Дата обращения 10.03.24.)
- Сергеев Марк. Жизнь и злоключения Абрама Петрова, арапа Петра Великого. М.: Изограф, 1996.
- Кунгуров Г. Ф. Пушкин и старая Сибирь. Иркутское областное государственное издательство, 1949. С. 3–4.
- Мелочихина, Татьяна. Китайские мечты Пушкина. 03.08.2016. (Дата обращения 20. 04 24)

- Мурашова, Н. Пушкин и наш край. Литературно-краеведческий альманах «ЛИК». 1999, Ч.2. С.128-133.
- О назначении места для заведения на Лимане гавани и верфи, и о наименовании онаго Херсоном. Закон 14.764. // Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года. — Том XX. 1775-1780. — Санкт-Петербург: Типография II отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. — С. 722–723 .
- О составлении Екатеринославского наместничества из губерний Азовской и Новороссийской. Полное собрание законов Российской империи. [Собрание 1-е]. – Санкт-Петербург, 1830. Т. 21. № 15696.
- Пушкин А. С. Об «Истории Пугачевского бунта»: (Разбор статьи В. Б. Броневского, напечатанной в «Сыне отечества», в январе 1835 года. кн. I, отд. 3, стр. 177-186) // Полное собрание сочинений: В 10 т. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1977—1979.
- Пушкин А. С. Собрание сочинений: В 10 т. – М.: ГИХЛ, 1959–1962. Т. 6.
- «Сборник РИО», 1880, Подписанный Имп. Екатериною II указ кн. Г. А. Потемкину о построении города Херсона.
- Софронов, Вячеслав. Пушкины в Тобольске. Литературно-краеведческий альманах «Лик». 2013, №5. С.45-52.
- Сулимов В. С. Ершов и Пушкин. Психотипы личности. Тобольск. 2023. С.28–31.
- Суржок А. И. Пушкин и калмыки. Изд. 2-е, испр. и доп. Элиста. 1981.
- Тыркова-Вильямс А. В., Жизнь Пушкина. В 2 тт. Т.1. М.: Мол. гвардия, 1988.
- Черкашина, Л. Тайна пушкинской ладанки. <http://www.stoletie.ru>. 07.08.2019. Издание фонда исторической перспективы Натальи Нарочницкой. Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС 77-42440 от 21 октября 2010 г. (Дата обращения -14.03.24)
- Щербаченко В. И. Пушкины в Сибири. Спб.: Историческая иллюстрация, 1999.

Александр МЕЛИХОВ. «Дай нам руку в непогоду...»

Я не помню времени, когда бы я не знал Пушкина: он был всегда — как солнце, как ветер, как куры и собаки в увлекательнейшем пыльном переулке. Я всегда знал, что у Лукоморья дуб зеленый, а на неведомых дорожках следы невиданных зверей, — но мир леших и русалок казался ничуть не более странным, чем заросли картошки в огороде, где можно было провести целую вечность, следя за неведомыми дорожками жуков и лягушек. Пушкин — это было, прежде всего, ужасно интересно: поп — толоконный лоб, князь Гвидон, вылупившийся из бочки, исполинская голова, которая что было мочи навстречу князю стала дуть: «ду-уть» — «у-у» — зву-уки бу-ури — губы сами собой складываются для дутья. И я, разумеется, не обращал внимания на всякие пустяки, за которые Пушкина упрекали дельные современники: поступки персонажей как-то слабовато мотивированы. Ну и что — в жизни, которая меня окружала, я тоже не искал особой целесообразности. Главное — интересно. И страшно весело. Вернее, то страшно, то весело: ветер весело шумит, судно весело бежит...

Потом началось иступленное упоение его вольнолюбивой лирой: «Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица!» — стихия стихов подхватывала и уносила в пространство восторженного безумства, и некогда было вдумать в разные полупонятности — какая-то «Цитера», какой-то «благородный след того возвышенного галла», все эти мелочи уже остались позади, почти незамеченные, как прежде не замечались игривые намеки: «падут ревнивые одежды на цареградские ковры», и «зачем тебе девица?». В стихах главное не буквальные бухгалтерские уточнения, а вихрь, который тебя увлекает: «Лемносский бог тебя сковал для рук бессмертной Немезиды!»

Я даже и не припомню, когда Пушкин превратился в школьный «предмет», который все проходят и проходят, и никак не пройдут: такое впечатление, что его каждый год начинали «учить» заново. Хуже того, стихи вообще превратились для меня в принудительную принадлежность школьных вечеров художественности.

Сегодня я просто не представляю, как бы я выжил без Пушкина. Но в ту пору, в начале шестидесятых, к поэзии обратил меня не Пушкин, а самый громкий тогдашний поэт Евгений Евтушенко. Пушкин не отвечал на «запросы времени», а Евтушенко отвечал. В образе гидроэлектростанции из поэмы «Братская ГЭС» брезжила и победа над природой, и разумная, гуманная, научно обоснованная организация общества, — Пушкину вопросы такой глубины и злободневности, конечно же, и не снились! Это сегодня, после множества экологических и социальных катастроф XX века, уже усвоили — и то не все! — сколь опасна всякая «борьба с природой».

А в ту пору мало кто сомневался во всемогуществе не просто человеческого, а именно нашего тогдашнего разума.

Но однажды вдруг застываешь в немом изумлении перед невероятной красотой простейших, казалось бы, строчек:

Сквозь волнистые туманы
 Пробирается луна.
 На печальные поляны
 Льет печальный свет она.

Застываешь не только в изумлении, но и в растерянности: как же совместить пушкинскую гениальность — а это должно быть что-то более или менее вечное! — с его явной отдаленностью от невиданно сложных проблем нашего века? И оказывается, что у Белинского в классическом цикле статей «Сочинения Александра Пушкина» все уже и сказано: Пушкин обладал удивительной способностью делать поэтическими самые прозаические предметы. Действительно, что может быть прозаичней, чем мостить улицы? А у Пушкина вот оно как:

Но уж дробит камня молот
 И скоро звонкой мостовой
 Покроется спасенный город,
 Как будто кованой броней.

Лишь для Пушкина поэтическая броня и будничная мостовая стали рядом! И мостовая у него не простая, а «звонкая», а город — так даже «спасенный». Но зато от жизни он отстал уже тогда, сто пятьдесят лет назад, ибо «дух анализа, неукротимое стремление исследования, страстное, полное вражды и любви мышление сделалось теперь жизнью всякой истинной поэзии. Вот в чем время опередило поэзию Пушкина и большую часть его произведений лишило того животрепещущего интереса, который возможен только как удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего»¹

Это меня вполне устроило: что правда, то правда — прозу превращать в поэзию он умеет, а удовлетворительных ответов на запросы времени не дает. Принудительное школьное преклонение перед Пушкиным достигло и другой цели: писаревские издевки над легкомыслием и отсталостью Пушкина я читал уже с неким щекочущим удовольствием: «Поэзия Пушкина — уже не поэзия, а только археологический образчик того, что считалось поэзией в старые годы. Место Пушкина — не на письменном столе современного работника, а в пыльном кабинете антиквария, рядом с

заржавленными латами и с изломанными аркебузами»²

Впрочем, Белинский признавал за Пушкиным еще одно достоинство: «Поэзия Пушкина удивительно верна русской действительности, изображает ли она русскую природу или русские характеры»³. Более того: «Без «Онегина» и «Горя от ума» Гоголь не почувствовал бы себя готовым на изображение русской действительности, исполненное такой глубины и истины»⁴. Быть предтечей Гоголя — для Белинского это предельно щедрая оценка. Даже более щедрая, чем титул «энциклопедия русской жизни», дарованный Белинским тому же «Онегину».

Правда, Писарев резонно уличал эту энциклопедию в неполноте: что за энциклопедия без ужасов крепостного права, без государственной службы, устройства карьер и т.п. А что — разве не так? Пожалуй, с не меньшим основанием «Онегина» можно назвать «литературной энциклопедией», по выражению известного современного литературоведа Владимира Новикова⁵, — столько там игры различными литературными стилями, столько шуточных и серьезных переключек с Байроном и Гомером, с Баратынским и Вяземским, с Горацием и Петраркой, с Жуковским и Кюхельбекером, с Шекспиром и Руссо, с Ломоносовым и Державиным, с Данте и Апулеем... Суровый Добролюбов, во всем соглашаясь с Белинским, подчеркивал еще и пушкинское «чувство меры» в изображении страстей — любопытно, кого он имел в виду — Скупого Рыцаря, Сальери или Сильвио? Или у него был какой-то другой Пушкин, как у Хлестакова — еще один «Юрий Милославский»? Но главное достоинство оставалось прежним: «Пушкин долго возбуждал негодование своей смелостью находить поэзию не в воображаемом идеале предмета, а в самом предмете, как он есть»...⁶

Снова «верность», снова «предмет, как он есть»... Но я уже тогда додумался, что «находить» поэзию в предмете, как он есть, невозможно — потому что её там просто-напросто нет: она привносится в предметы влюбленным, ненавидящим, но так или иначе *взволнованным* взглядом наблюдателя. И дар поэта — это прежде всего дар переживать как потрясение то, что другим кажется будничным и пресным.

Можете назвать меня безнадежным романтиком, но я убежден, что всеми нашими чувствами, которые возвышают нас над буднями — чувством восхищения перед миром или даже чувством его трагической красоты, — мы обязаны каким-то поэтам, сумевшим впервые испытать их и передать другим!

У Пушкина даже простой, казалось бы, перечень предметов самых заурядных становится пленительным:

Возок несется чрез ухабы.
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Никакой «предмет, как он есть», не преображенный «магическим кристаллом» пушкинского гения, не прозвучавший в этих единственных в мире стихах, не вызовет лично у меня такой невольной улыбки счастья или умиления, с которыми читаешь у Пушкина о вещах, в действительности показавшихся бы весьма неприятными:

Служанок била осердясь —
Все это мужа не спросясь.

В пушкинском мире мы с детским удовольствием готовы побывать даже в гостях у старой тетки, «четвертый год больной в чахотке»...
А смерть Ленского? Вот падает наземь убитый юноша:

Так медленно по скату гор,
На солнце искрами сверкая,
Спадает глыба снеговая.
Вот везут домой оледенелый труп:
Почуя мертвого, храпят
И бьются кони, пеной белой
Стальные мочат удила,
И полетели, как стрела.

«Кровь и горе разливаются по сюжету «Онегина», а мы ничего не замечаем. Поруганные чувства, разбитые сердца, замужество без любви, безвременная смерть. Это — полноценная трагедия. Но ничего, кроме блаженной улыбки, не появляется при первых же звуках мажорной онегинской строфы»⁷, — нет ли доли истины даже и в таком парадоксальном мнении двух видных критиков современного русского зарубежья? Может быть, вы поймете и тех молодых русских критиков и поэтов, которые в нищем эмигрантском Париже двадцатых годов упрекали Пушкина в излишней «мажорности», в том, что его поэзия «не верна действительности», ибо в ней нет блеклых красок, надтреснутых звуков, желчного безнадежного брюзжания, которые

— как вы думаете? — тоже ведь имеют право быть отраженными в искусстве... Отраженными, а не преображенными. Или отражения без преображения просто не бывает?

И как же все-таки быть с «удовлетворительными ответами» на «тревожные, болезненные вопросы настоящего»? В частной переписке (это письмо от 6 апреля 1846 года Герцен включил в «Былое и думы»⁸

Белинский высказывался совсем резко: «У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, потому в своих творениях как поэты они страшно, огромно умны; а как люди — ограничены и чуть ли не глупы (Пушкин, Гоголь)». А ведь Белинский был поэтичнейшим человеком, пылко восхищавшимся пушкинским талантом! Но мучительные социальные вопросы времени так больно ранили его совесть, что пушкинский дар обращать в красоту серенькие будни представлялся ему чем-то второстепенным, «сегодня» не таким уж важным...

Страстный христианин Гоголь сетовал, что «все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву с ним не вышел». И это при том, что Гоголь боготворил Пушкина!

Но люди, овладевшие, как им кажется, каким-то высшим знанием, так часто поглядывают на художников свысока...

А.В. Луначарский, первый советский нарком просвещения и видный марксистский критик, с полным спокойствием допускал, что с высоты новой, социалистической культуры «дворянско-пушкинская вершина будет казаться лишь ступенью, лишь предгорьем. Но до тех пор мы будем смотреть на достигнутое Пушкиным словесное мастерство если не как на образец, потому что этот образец полностью уже не пригоден для более «взрослой» жизни, то как на нечто чрезвычайно высокое в смысле необыкновенных пропорций, необыкновенной соразмерности», — и т.д. и т.п. Снова «Пушкин будет превзойден», снова пресловутое «чувство меры», так бесившее Цветаеву:

Критик — ноя, нытик — вторя:
«Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры?» Чувство — моря
Позабыли — о гранит
Бьющегося? Тот, соленый
Пушкин — в роли лексикона?

Кажется, «серьезные люди», обладающие каждый раз новой, но всегда окончательной и бесспорной истиной, признавали мудрость Пушкина лишь тогда, когда требовалось его именем подкрепить

свои схемы. В эпоху укрепившегося тоталитаризма выправленный Пушкин занял почетное место среди предтеч большевизма, в которые большевики стремились записать всех, кого не смогли уничтожить. Вот Малая советская энциклопедия 1939 года, восьмой том, открывающийся «парторгом» и завершающийся «революционным трибуналом»: «В творчестве Пушкина воплотились наиболее передовые идеи его времени — идеи вольнолюбия, равенства» — и т.д., и т.п. Скажите, что хуже: снисходительно похлопывать гения по плечу или, страшно обеднив, исказив его, объявить безупречным?

«Народные заступники» прошлого века именно за равнодушие к «идеям вольнолюбия и равенства» десятилетиями корили Пушкина — зато на рубеже веков на сцену вышло новое литературное поколение, которое как раз за это же самое стало превозносить его. Поэт, прозаик и философ Дмитрий Мережковский в 1896 году восхищенно писал о Пушкине: «Современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противопоставляет он, как язычник, самовластную волю единого — творца или разрушителя, пророка или героя». А что, написал же Пушкин: зависеть от царя, зависеть от народа — не все ли нам равно? И в этом есть своя правда: мы уже убедились, как опасно безоглядно верить в то, что «большинство всегда право». Но совсем не обязательно прав и одиночка, который «для себя лишь» хочет воли...

Пушкин, по мнению Мережковского, «как враг черни, как рыцарь вечного духовного аристократизма, безупречнее и бесстрашнее Байрона. Подобно Гете, Пушкин и здесь, как во всем, тверд, ясен и верен природе своей до конца:

Молчи, бессмысленный народ,
 Поденщик, раб нужды, забот!
 Несносен мне твой ропот дерзкий,
 Ты червь земли, не сын небес;
 Тебе бы пользы всё — на вес
 Кумир ты ценишь Бельведерский.
 Ты пользы, пользы в нем не зришь.
 Но мрамор сей ведь — бог!.. так что же?
 Печной горшок тебе дороже:
 Ты пищу в нем себе варишь».²

Но, по-моему, Пушкин никогда не становится окончательно на сторону какой-то одной правды: он откликается «на всякий звук». Не так уж трудно отыскать у него мотивы самого трогательного сочувствия к «рабам нужды». Он лишь не хочет, чтобы их заботы отменили иные потребности человеческого духа.

Но как же досталось Пушкину от Писарева за этот пресловутый печной горшок! «Ну, а ты, возвышенный кретин, ты, сын небес, ты в чем варишь себе пищу, в горшке или в Бельведерском кумире?.. Или, может быть, ты скажешь, что совсем не твое дело рассуждать о пище, и отошлешь нас за справками к твоему повару?» — снова гневное указание на социальное неравенство, за счет которого живет святое искусство. И что можно было возразить против этого? Нужно быть ханжой, чтобы спорить с тем, что человеку необходимо быть сытым. Но кем нужно быть, чтобы считать, что ему этого достаточно? В богатых, «сытых» странах чаще всего бывает гораздо больше самоубийц, алкоголиков, наркоманов, чем в бедных и отсталых, — значит, человеческая душа просит и еще чего-то, кроме сытости! И все же права «печного горшка» были столь неоспоримы, что я в свое время пропустил мимо ушей замечание Герцена: «Радуюсь, что псковский оброк дал возможность воспитать Пушкина».

Вдобавок, Писарев, «шестидесятник» прошлого века, был бы своим человеком для «шестидесятников» века нынешнего: перевозил естественные науки, способные преобразовать мир, призывал трудиться для общечеловеческой солидарности, намекая на растущее социалистическое учение. Был и лично готов на жертвы: провел четыре года в Петропавловской крепости, откуда вышел с расстроенным здоровьем, и в 1868 году утонул во время купания, не дожив до тридцати лет. Прямо злой рок какой-то: радетели за обиженный народ, за права «печного горшка», были пламенными, почти исступленными пророками, часто подкреплявшими свою проповедь еще и мученической судьбой, а защитники, условно выражаясь, «чистой красоты» то и дело впадали в пошловатое благодушествование. И потом — их так легко было заподозрить в корыстной защите собственных («дворянских») привилегий...

Один из вождей тогдашней «эстетической критики» А.В. Дружинин, умный, образованный человек, в ту пору пользовавшийся уважением молодого Толстого, основатель «Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым», совершенно справедливо перевозносил Пушкина, все-таки противопоставлял его Гоголю: «Против того сатирического направления, к которому привело нас неумеренное подражание Гоголю, поэзия Пушкина может служить лучшим орудием... Перед нами тот же быт, те же люди, но как это все глядит тихо, спокойно и радостно! Там, где прежде по сторонам дороги видны были одни серенькие поля и всякая дрянь в том же роде, мы любуемся на деревенские картины русской старины, на сохнувшие и пестреющие долины, всей душой приветствуем первые дни весны или поэтическую ночь над рекою — ту ночь, в которую Татьяна посетила брошенный домик Евгения. Самая дорога, по которой едучи мы недавно мечтали только о толчках и напившемся

Селифане, принимает не тот вид, и путь наш кажется не прежним утомительным путем. Неведомые равнины имеют в себе что-то фантастическое; луна невидимкою освещает летучий мрак, малые искры и небывалые версты бросаются в глаза ямщику, и поэтический полет жалобно поющих дорожных бесов начинается совершаться перед глазами поэта. Зима наступила; зима — сезон отморозенных носов и бедствий Акакия Акакиевича, но для нашего певца и для его читателей зима несет с собой прежние светлые картины, мысль о которых заставляет биться сердце наше. Мужичок «с триумфом несется по новому пути на дровнях; на красных лапках гусь тяжелый осторожно ступает на светлый лед собираясь плавать, и падает к своему полному изумлению. Буря мглою небо кроет, плача, как дитя, завывая зверем и колыхая солому на старой лачужке, но и в диком вое зимней бури с метелью тaitся своя упоительная поэзия. Счастлив тот, кто может отыскать эту поэзию, кто славит своим стихом зиму с осенью и в морозный день позднего октября сидит у огня, воображением скликая вокруг себя милых друзей своего сердца, верных лицейских товарищей и воздавая за их дружбу сладкими песнями, не помня зла в жизни, прославляя одно благо!»¹⁰

Ничего не скажешь — все это действительно есть у Пушкина. Но уж очень благодущный, покладистый поэт рисуется Дружининым. Тот ли это Пушкин, который бросил жизни: «Дар напрасный, дар случайный» и который вопреки всему все-таки хотел жить, «чтоб мыслить и страдать»? Страдать! «Александр Сергеевич, — пишет Дружинин, — превосходя своих преемников поэзиею, превосходил их и силою души». Вот только не оттого ли он превосходил их силою души, что превосходил поэзией? Не в поэзии ли он черпал силу, с которой он соглашался смотреть жизни в лицо без содрогания «меж горестей, забот и треволненья»? Поэзия необходима угнетенным куда больше, чем угнетателям, — тем-то и без нее неплохо живется. Но когда мы «пьяны жизнью» (Л. Толстой), когда мы уверены в своем могуществе, в своем уме, которому твердо известно, где Добро, а где Зло, где Истина, а где Ложь, когда мы «точно знаем», каким путем следует идти человечеству, — когда, словом, нам известен «удовлетворительный ответ на тревожные, болезненные вопросы настоящего», тогда мы очень легко берем покровительственный тон по отношению к Пушкину.

Но когда схлынет ребяческая самонадеянность, когда поймешь, что никаких «единственно правильных» ответов не существует, что любой избранный путь несет как обретения, так и потери, что жизнь — это не борьба Добра со Злом, Истины с Ложью, а борьба противоречивых истин, каждая из которых по-своему справедлива и по-своему опасна, — тогда только с удивлением обнаружишь, что в любом из так называемых предрассудков Пушкина есть

своя мудрость. Даже столько раз осмеянные «аристократические предрассудки» («к мертвым прадедам любовь») оказываются опорой «самостоянья человека», залогом его величия. Даже такой совсем уж явный предрассудок — склонность решать конфликты на дуэли — в мире Пушкина, как показал Я.Гордин в «Праве на поединок» (Л., 1989), оказывается правом человека быть самому судьей и защитником собственной чести. Когда, подобно «индийской заразе», нас одолевают экономические мудрости вроде «человек все делает из выгоды», «рынок всегда прав», — Пушкин напоминает: «не продается вдохновенье», «ты сам свой высший суд». Когда начинаешь поддаваться лихорадочной страсти кинуться за счастьем в чужие края, — полезно иной раз услышать слова о любви к родному пепелищу и отеческим гробам, любви, составляющей не долг, а «пищу» для сердца:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Впрочем, чтобы давать такие советы, не обязательно быть Пушкиным. В пору зрелости ума и усталости сердца требуется гораздо больше сил не на то, чтобы понять жизнь, а на то, чтобы ее *принять*, увидеть в ней смысл — пускай трагический — и красоту вместо бессмыслицы и безобразия. И тут нам не помогут никакие «единственно правильные» ответы, которых, впрочем, и быть не может. Скажите на милость, каким «единственно правильным» образом можно отнестись к утрате любимой женщины? Стихотворение «Заклинание» — это отчаянный призыв:

Приди, как дальняя звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужасное виденье,
Мне все равно, сюда! сюда!...

«Для берегов отчизны дальней...» — надежда на встречу за гробом:

Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...

«Прощание» — мужественная сдержанность:

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.

«Под небом голубым страны своей родной...» — усталое безразличие:

Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть,
И равнодушно ей внимал я.

У кого повернется язык сказать, что одно из этих чувств «более правильное», чем остальные, что какой-то ответ здесь будет «самым удовлетворительным»? Однако в «полном арсенале орудий поэта» мы каждый раз находим то, что придает нашим переживаниям значительность и красоту, которых нам не даст ни пламенный фанатик Белинский, ни скучноватый догматик Луначарский.

«Сфинкс спросил его: как можно, глядя на жизнь, верить в правду и добро? Пушкин ответил ему: да, можно, и насмешливое и страшное чудовище ушло с дороги. И в этом мужестве перед жизнью — назначение поэта», — писал выдающийся мыслитель XX века Лев Шестов. Можно ли после этого сказать, что не вышел на битву поэт, который, глядя в лицо бессмыслице и уродствам жизни, сумел обратить их в осмысленную красоту? О какой еще битве вы говорите? О сладкой участи оспаривать налоги? Да чтобы заниматься этим всласть, необходимо прежде всего желание просто жить!

Вглядываясь в житейскую сторону пушкинской судьбы, видишь, сколько в ней бедности, тщетных трудов, унижений, обманов, обид, закончившихся мученической смертью, — и какой урок всем нам, какое доказательство всемогущества искусства, что Пушкин сумел превратить ее чуть ли не в сладостную легенду!

...Слово «Пушкин»

стихами обрастает, как плющом,
и муза повторяет имена,
вокруг него бряцающие: Дельвиг,
Данзас, Дантес, — и сладостно-звучна
вся жизнь его — от Делии лицейской
до выстрела в морозный день дуэли.

(Обратите внимание на аллитерации — на переключки звуков «д», «л», «н», «ц», «з»...)

Эти стихи изумительный прозаик Владимир Набоков, которого столько раз называли «холодным», написал и от нашего имени. Только мы не помним и не задумываемся, какой ценой оплачен этот плющ. Когда нам весело и светло, мы готовы в детской резвости сбрасывать Пушкина с корабля современности или упрягивать в музей на почетное прозябание. А кто-то стремится уничтожить его еще непоправимее, превратив в предмет принудительного обожания:

Уши лопнули от вопля:

«Перед Пушкиным во фронт».

(М. Цветаева)

Это перед Пушкиным, который не терпел напыщенности, который называл свои осенние вдохновения временем «случки с музою!» «Пушкин в роли монумента» способен вызвать даже неприязнь. Но когда нам становится холодно и страшно, мы, словно только что капризничавший ребенок — к маме, кидаемся к нему, понимая наконец Александра Блока: «Дай нам руку в непогоду, помоги в немой борьбе!» Не знаний, не «удовлетворительных ответов», которых нет и быть не может (что сегодня осталось от теорий Белинского и Луначарского!), а *помощи* мы просим у него, и он не держит обиды — он готов снова и снова наполнять нашу жизнь смыслом и красотой. А более «животрепещущего интереса» у нас нет и не будет.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. В.Г.Белинский. Собр. соч. в 3-х томах. Том 1. М., 1948, с. 410.
2. Д.И. Писарев. Собр. соч. в 4-х томах. Том 3. М., 1958, с. 378.
3. В.Г. Белинский. Цит. соч., с. 398.
4. В.Г. Белинский. Цит. соч., с. 506.
5. В.И. Новиков. Книга о пародии. М., 1989, с. 184—185.
6. Н.А. Добролюбов. Собр. соч. в 3-х томах. Том 3. М., 1950, с. 554.
7. П. Вайль, А. Генис. Вместо «Онегина». «Звезда», 1991, № 7, с. 202.
8. А.И. Герцен. Собр. соч. в 9 томах. Том 6. М., 1957, с. 523
9. Д.Мережковский. В тихом омуте. М., 1991, с 179—180.
10. А.В. Дружинин. Литературная критика. М., 1983, с. 61.

Марина КУДИМОВА. БЕГУЩАЯ СТРОКА. Персональная рубрика

Тютчев, Фет и читательское сердце

Соцсети – чуткий индикатор настроений общества. Никогда не задумывалась, «кто более матери истории ценен» – Тютчев или Фет, поскольку чаша весов в пользу Тютчева давно застыла в нижней точке неизбежного процесса взвешивания и измерения параметров. Но тут подоспело 5 декабря, а это день рождения и Фета (дата не круглая), и Тютчева (220 лет). И обнаружилось, что внимание в виде «лайков» после «датских» публикаций они поделили почти поровну.

Вопрос: существуют ли весы, измеряющие подлинный, как выражаются строители, килограммаж поэта, и насколько они точны, считаю праздным. Есть! Часто их называют временем, реже – историей, но взвешивание происходит регулярно, как в пионерском лагере.

При жизни на Фета написали больше всех пародий в русской литературе. Шельмовали за “чистое искусство” и безглагольную поэтику. По имени помещик Фет ездил на осле, которого звали Некрасов. Писал штаб-ротмистр Шеншин, взявший для стихов фамилию матери, не только о робком дыханье и заре-зарю. «Гражданских» – патриотических – стихов у него немало. Но именно он задал русской поэзии неиссякающую щемящую лирическую ноту. Ф. И. Тютчев в 1848 г. был назначен старшим цензором при особой канцелярии Министерства иностранных дел. А через 10 лет стал председателем Комитета иностранной цензуры. Эту синекуру он занимал до самой смерти и именно в этой должности не пропустил брошюру под названием «Манифест коммунистической партии» с комментарием: «Кому надо, по-немецки прочтут».

Тютчева Фет обожал, и это не фигура речи, а первая строка стихотворения: *«Мой обожаемый поэт»*. В рецензии на сборник 1854 г. Фет назвал обожаемого «магическим толкователем тончайших чувств». А в воспоминаниях – одним из «величайших лириков, существовавших на земле». Но разница меж ними неустраимая: там, где Фет видел жизнь и восторгался ею, Тютчев прозревал бытие. Если приземлить шкалу сравнений, Тютчев и Фет вписываются в оппозиционные пары наряду с «кошка – собака» и «чай – кофе».

Но вот наступил момент, когда «чистая лирика» вплотную догнала лирику философскую, бытийную. И если Вл. Соколов сопрягал в стихах Фета и Некрасова как носителей двух полярных поэтических начал («Со мной опять Некрасов/ И Афанасий Фет»), то сегодня неожиданно Афанасий встал плечо к плечу с Федором. Почему это происходит именно сегодня, неведомо. Просто пора настала.

Лев Толстой любил Фета, дружил с ним и 20 лет переписывался. В мае 1866-го писал, как с наступлением весны перечитывал стихи Фета «Опять незримые усилья...» и «Уж верба вся пушистая...»: «И «кругами обвело», и «верба пушистая», и «незримые усилья» – несколько раз прочлись мне, который не помнит стихов». Тютчева Толстой долго отказывался читать, а когда прочел, пришел к выводу, что «без него нельзя жить».

А жить человеку русской культуры, выходит, нельзя без обоих...

Незримых усилий в приближении к непостижимым тайнам поэзии вашему коллективному и непредсказуемому читательскому сердцу в новом году! Пусть двери «Гостиной» всегда будут открыты всем талантам и их почитателям!

Первый дедушка

Может, литераторы и вышли из чьей-нибудь «шинели». А народ наш вышел из дедушки Крылова, которому исполнилось 255 лет. Первого дедушки русской литературы, поскольку и дед Мазай, и дедушка Лодыжкин из повести «Белый пудель», а уж тем более дед Каширин, дравший внука Пешкова, как сидорову козу, – все обладатели почетного титула появились позже. Крылов при всех излишествах, которым был сильно привержен, прожил более чем солидный для своего времени срок – 75 лет, и дедушкой стал на полном основании.

Иван Андреевич был вплоть до советских времен самым благополучным из русских писателей. Увенчанным при жизни, обильно оплачиваемым, обласканным со всех сторон. Был невероятно умен и осторожен, никогда не говорил и не делал ничего лишнего. Изображал ленивца и сибарита, а сам то на скрипке выучится, то древнегреческий освоит, так что «переводчик слепого Гомера» Гнедич ахнет. И библиотекарем в «Публичке» служил отменно: созданный им принцип каталогизации используется и в цифровую эпоху. Малость промахнулся только с басней «Стрекоза и Муравей»: всякий нормальный человек сострадает, конечно, Стрекозе. Но ведь и тут напророчил: правда, теперь лето красное пропевшим должникам по микрозаймам уже и поплясать не предлагают.

Из басен Крылова вышла и частушка, и Маяковский, и Хармс, и русский рэп. Конечно, множество крыловских афоризмов из 236 написанных басен не вошло в обиход. Я, например, часто повторяю ювелирное: «Что сходит с рук вора, за то воришек бьют», кстати, подспудно оспаривающее принятое за образец «Но воруга мне милей, чем кровопийца». А «Осел был самых честных правил», спародированный первой строкой «Онегина»! А гениальное: «Но важный чин на плуте, как звонок:/Звук от него и громок, и далёк!»

Много, много чего осталось за бортом памяти народной. Да и по голове били столько, что удивительно, как вообще что-то осталось. Но и с ларчиком, который «просто открывался», и с Васькой, который «слушает да ест», и со спертым в зобу дыханием падкой до лесты Вороны, и с возом, что «и ныне там», и с десятками других не промотанных бриллиантов мы не пропадем, как бы ни старались те, кто считает нас виноватыми в том, что хочется нам кушать, те, у кого заведомо «бессильный виноват». Пусть и «услужливые дураки», которые «опаснее врага», не перевелись, и «в товарищах согласия нет» по-прежнему. И моська лает на Слона все громче. Сам Крылов более других любил и часто декламировал свою басню «Ручей»:

*Как много ручейков текут так смирно, гладко,
И так журчат для сердца сладко,
Лишь только оттого, что мало в них воды!*

Лето в деревне

Лайки под публикациями в соцсетях считают только школьницы. Однако любой блогер так или иначе интересуется своей аудиторией и ее реакциями. В определенном соответствии с этими реакциями выбираются темы публикаций. Иногда они попадают в «десятку» и вызывают бурю откликов. Иногда проходят почти незамеченными. Предугадывать здесь умеют только профессионалы блогинга – они специально этому учатся. Бывает и третий вариант: это когда пишешь и размещаешь пост по глубоко личным причинам. И вдруг аудитория буквально взрывается поощрениями и комментариями.

Так, к моему удивлению, произошло с постом, посвященным 90-летию выдающегося пушкиниста, несравненного популяризатора поэзии Пушкина – Валентина Семеновича Непомнящего (9 мая 1934, Ленинград — 15 сентября 2020, Москва). Пост побил все рекорды просмотров и отметок. Почему так произошло на фоне набивших оскомину разговоров об «устарелости» и вообще полной никому ненужности поэзии? Наверное, потому, что разговоры эти – «в пользу бедных». А русская поэзия и ее причастники – неиссякаемое и несравненное наше сокровище.

С Непомнящим и его семьей – точнее, рядом с ними – я провела едва ли не самое счастливое свое лето. Общение это выпало мне под тогда еще не возвратившим историческое имя Загорском (Сергиевым Посадом). Непомнящие купили домик в заглохшей деревне рядом с разрушенной и загаженной церковью во имя Алексия, на Руси прозываемого Божиим человеком. В десятилетия воинствующего атеизма храм использовался под скотный двор и был загажен толстым слоем козих этих самых... Молодой священник о. Василий

получил эти руины под приход и стал созывать людей на расчистку и помощь в восстановлении. Там мы и познакомились с Валентином Семеновичем очно – среди завалов мусора. Его книги и выступления я, разумеется, знала и высоко почитала с юности.

Он тоже знал мои стихи, но часто и честно повторял (это касалось не только меня, грешной), что после Пушкина ему ничьи стихи не интересны. Я страшно обижалась и усматривала в его словах как минимум несправедливость, а если брать выше – ученый снобизм. Лишь много лет спустя я поняла Непомнящего и разделила его максимализм. А в остальном он был – со своей неизменной трубой и в любимой рубахе с залатанным воротом – собеседником редкостным. Уникальным, я бы сказала. Ах, какое выдалось то далекое лето! – не грех и повторить... Дальнейшее московское телефонное общение – жалкая тень того, деревенского.

А самое интересное в сетях, конечно, не лайки, а комментарии. Среди восторгов и отдания дани один из них, не скрою, задел. Отвечу здесь. Человек пишет в ответ на мой тезис о том, что Непомнящий поставил Пушкина в центр русского мира: «...Пушкин и до него стоял в центре русского мира. Так говорить – пренебрегать заслугами предыдущих пушкинистов: Щеголева, Вересаева, Цявловского, Бонди...» Я много писала о Пушкине и всегда ссылалась на все возможные авторитеты пушкинистики. Тут меня на «пренебрежении» подловить сложно (если прочитать предварительно). Но, кроме не упомянутого автором Достоевского, все же самые уважаемые ученые ставили Пушкина в центр русской литературы. Не говорим уже о том, что Пушкин – безусловно столп поэзии европейской, и не его вина, что в Европе его знают много меньше, чем в России. Но русский мир куда шире и глубже любой литературы. И если Достоевский в знаменитой речи впервые обозначил этот аспект, то Непомнящий жизнь положил на то, чтобы это доказать! И порукой тому – весь свод его трудов. А голос Валентина Семеновича навсегда с теми, кто хоть раз слышал его чтение. Здесь ему вообще нет равных! И тем печальнее, что юбилей великого, без всякого преувеличения, подвижника прошел почти незаметно. Беглым промельком...

История семьи, история любви

Миновала годовщина со дня ухода в мир иной выдающегося режиссера и сценариста Глеба Панфилова. А в мае совершенно незаметно прошло его 90-летие. Первая картина Панфилова – «В огне брода нет» (1967) – произвела на меня, бунтарку подросткового периода, впечатление огушительное. Так гражданскую войну не снимал никто. До сих пор помню покaдрово. Разумеется, главным потрясением картины оказалась И. Чурикова – Таня Теткина. Ее

актерский гений я признала сразу и навсегда.

Огромную роль в моем историческом и душевном становлении сыграла и следующая картина Панфилова – «Начало», где Чурикова снялась «два в одном»: в роли Орлеанской Девы – Жанны Д'Арк – и Паши Строгановой, ткачихи из города Речинска, из фабричной самодеятельности угодившей на съемочную площадку после утверждения на роль... Жанны Д'Арк. Сам по себе такой сценарный прием и его режиссерское решение были для меня абсолютно новаторскими: «фильмы в фильмах» Феллини я тогда еще не видела.

В картине «В огне брода нет» комендант поезда Фокич (М. Глузский) показывает комиссару Евстюкову (А. Солоницын) газету со словами: «А Царя шлепнули!». Комиссар реагирует странно: «Любишь ты кровичу». Жанна, как известно из нескольких источников, безошибочно узнала дофина Карла, посадившего на трон одного из придворных и смешавшегося с толпой.

Примечательно, что ни в одном некрологе после ухода Панфилова не упомянута его картина «Венценосная семья» (2000 г.) со слоганом «История семьи... История любви... История России». Я бы не торопилась признать эту работу семьи Панфилова неудачей. «Важнейшее из искусств» именно после, возможно, и не самой яркой работы режиссера сменило контекст изображения семьи Романовых. Художественная правда может быть выше и ниже исторической. Все дело в соразмерности масштабов. Пересечения судеб создателей версий с судьбами их героя зачастую значительно больше итога работы.

Г. Панфилов, выросший у бабушки в Свердловске рядом с площадью Народной мести, куда восточным фасадом выходил дом инженера Ипатьева, приехав в Прагу для съемок «Венценосной семьи», получил в гостинице номера 1917-й и 1918-й. Во время съемок рокового дома режиссер заказал панихиду по отцу в Храме Успения Божьей Матери на Ольшанах. В храмовой крипте ему бросилось в глаза надгробье Николая Николаевича Ипатьева. Того самого!

Рита БАЛЬМИНА. Не пишите с меня икону

* * *

Я просто иду домой
По улице неродной,
По городу неродному
К такому чужому дому,
К родному чужому мужу,
Который небрит, простужен,
И ждет из другой страны
Письма от своей жены.
Я просто иду с работы,
Минуя большие лужи,
Уже прохутились боты,
И нужно готовить ужин
Больному чужому мужу,
Который устал от кашля,
Которому стало хуже,
Которому тоже страшно.

* * *

Все, кто не видел знаменитой Федры,
идите и смотрите, как старуха
среди грязной сцены коммунальной кухни
в соседский чайник подсыпает соль,
большим бельмом кося под примадонну
и героиню довоенной драмы –
пока венецианскую бауту
на пыльных антресолях травит моль...
А Ипполит расстрелян на рассвете
колючего, как проволока, утра:
он списка кораблей до половины
не дочитал... не помнит... не слышал...
И он не видел знаменитой Федры,
и он не знал, как Федра знаменита
за толщей закулисного дознанья,
где ослепляет ламповый накал.
В тот год воронья шуба поседела
в удушливом, как память, коридоре,
где очередь длинней, чем жизнь Сивиллы,
не предсказавшей прошлое назад.
К ней прежде тоже гости приходили
на светлый праздник, полночь, под утро,
без стука, без звонка, – и вышибали

резных дверей классический фасад
подкованной кирзой... А на паркете
бледнели лица редких фотографий
из переписки легендарных дам.
Все умерли: и Анна, и Марина,
и друг их жизни Ося Мандельштам –
все умерли. Апофеоз Расина.
Финальный хор. Не пенье – отпеванье
из панихид по стареньким знакомым,
которые в урочищах Сибири валили кедр...
Вдвоем и допоем
под вечный вой служебных волкодавов
про вычурный чубук в зубах у вохры...
В чужбинном многоярусном вокзале
Расин усоп на празднестве своем.
Он не увидел знаменитой Федру, –
зато она его в гробу видала
в его парадном маршальском мундире
с наградами, покрывшими живот.
Всем, кто не видел знаменитой Федры,
прослушать лекцию на том вокзале,
где Федра только тем и знаменита,
что всех и все всегда переживет...

* * *

по наклонной вниз я жила в нью-йорке
как в одесском детстве скользила с горки
и при этом над всеми и вся глумилась
я впадала в панику и в немилость
выходила в тираж не за тех из комы
навсегда забыла всю жизнь искомым
я плохая мама и дочь плохая
и пою пустотами громоухая
нахлебавшись грязи с богемной кодлой
поступала пошло грешно и подло
все мои лирические чертовки
просто грубый фейк или фокус ловкий
на ходу меняя задач условия
под ответ подгоняла строки злословие
виртуальных оваций срывала лаву
и теперь пожинаю дурную славу
я словесный мусор сметаю в строки
и от критиков слышу одни упреки
я на ветер пускаю свои зарплаты

и оставлю сыну одни заплаты
я давно растеряла родных и близких
вместо них лишь даты на обелисках
впереди распад по его закону
я прошу не пишите с меня икону

* * *

Под многотомный диккенсовский ливень,
Под перезвон Святого Бенджамина
Укрой мне плечи пледом у камина
И прозой захлестни, как та волна,
Которая, сшибая с ног, уносит
Водоворотом грога и вина
Из подворотен площадного дна,
Где осень – нищенка не меди листьев просит,
А чтобы наступил минувший век...
Сквозь ветки ветхие, сквозь веки вех
Струится дождь на улицу, фонарь,
Аптеку, где от насморка микстуры.
От ревматизма охромел звонарь –
Из храма хлюпает по хляби хмуро.
В окне напротив – злой карикатурой –
Простуженная пожилая мисс
Колышет нотный стан клавиатуры.
Что нам до бледной кашляющей дуры?
Ей не дожидаться “браво” или “бис”,
Поскольку мы еще не родились
В потоке мировой литературы.

* * *

Когда на тракте каторжной строки
Под острием острожного пера
Неосторожным росчерком руки
В кавычки заключается игра,
Когда кретинка-критика корпит
В углу над уголовными делами,
Когда гремят скандалы кандалами
В передовицах сдавленных обид,
Когда, как глист, извилист журналист,
Свои извилины излив на лист,
На сверстанные полосы этапа,
Когда в подвал газетного гестапо
Густым курсивом загоняют слово
По курсу подлицованной фарцы, –

То мудрецы скорбят, как мертвецы,
При погребении еще живого.

* * *

Мегаполис, продрогший до мозга костей
И промокший до синевы.
Я попала сюда, как в хмельную постель
К чужаку с которым на “вы”.
Мегаполис туннелей и эстакад,
Над Гудзоном дающих крен,
По мостам и трассам сползает в ад
Под воинственный вой сирен.
Мегаполис: Эмпайр попирает твердь,
Припаркованный к облакам,
На Бродвее рекламная круговерть –
Мельтешат мультяшки “дот кам”,
Но армады высотных жилых стволов
Неустанно целятся в высь.
Пожирай журнальных акул улов
Да избытком быта давьсь.
Провались в андерграунд густых пустот,
В андерграунд с приставкой “арт”
Грызуном над горами нечистот
Под змеиным клубленьем карт.
Поздний брак по расчету с тобой – постыл,
Но вопящую душу заклеил скотч,
И на сотни миль твой враждебный тыл...
В мегаполис по-лисьи крадется ночь.

* * *

Я лежу на земле (да поможет ей страх),
А моя голова от меня в двадцати или больше шагах.
Я руками оторванными от тела
Эту землю до боли чужую обнять захотела.
Я лежу и лечу над безбожным контуженым глобусом
Вперемежку с обломками взорванных вклячья автобусов.
Я кровавая пыль... пусть не ждут меня дома...
Как любезны улыбки политиков на приемах!

* * *

Мы не сидели в одном окопе
И не лежали в одной постели,
Просто на дьявольском автостопе
Божьими искрами пролетели

Мы пролетели над Тель-Авивом,
Над средиземной соленой лужей,
Над геометрией неуклюжей
Улочек в гомоне хлопотливом.
Над многоточьем торговых точек,
По траектории “жизнь кривая”
Мы пролетели, не выбривая
Крыш плоскодонных с рядами бочек
Мы пролетели, и стало ясно,
Что не ходили с эпохой в ногу,
А исходили строкой напрасной...
Нас не заметили, слава Богу.

* * *

На самом деле было хорошо
Спать у костра в обнимку с чужаком,
И в ледяную воду – нагишом,
И по безлюдным скалам – босиком.
И падая в косматую траву,
На варварском наречье этих мест
Шептать ему, что грежу наяву,
Что здесь мне никогда не надоест.
Но твердо знать, что это эпизод:
Через неделю, если повезет,
За мной сюда вернется вертолет
И на Большую **Землю заберет.**

* * *

глянешь в зеркало вновь
там седая горилла
жизнь свернулась как кровь
а когда-то бурлила
жизнь свернулась в клубок
под холодной колодой
и её колобок
вероломно обглодан
жизнь свернула в кювет
и ржавея под снегом
шлёт бесцельный привет
уцелевшим коллегам

* * *

Для нас разбитые скрижали –
Лишь буквы, точки, запятые.
Нас в рабстве матери рожали
И немые к нам слова святые.
Ведь их просеивает сито
Не местной широты кармана, –
И мы уже как волки сыты
Небесной манною обмана.
Но все еще как овцы целы,
За пастухом косноязычным
Туда идем, не зная цели,
Где слово станет неприличным.
Мрем от словесного поноса.
В пустыне нам, сорокалетним,
Не заключить пари с безносой,
Раз молимся последним сплетням.
Телец словарного запаса
Отлит из крови человечьей.
Парируй пасы свинопаса,
Пока твой почерк бисер мечет.
Твой беглый почерк, рабский с виду,
Окаменеет в манускрипте,
Чтобы воздвигнуть пирамиду
Воспоминаний о Египте.

ВДОХНОВЕНИЕ

Оно берется ниоткуда
И отбирает у меня
Мои привычные причуды
Первопричиной бытия.
И, пробираясь в подсознание,
Старается прибрать к рукам
В уборах знаков препинанья
Кривого почерка канкан.
Но собираясь восвояси,
Вобрав в себя словесный сор,
Свои иные ипостаси
Перебирает с давних пор.

* * *

Был день унижен и скукожен,
И задрожал листом осенним,
Когда с меня снимали кожу
Тем перелетным воскресеньем.
Когда с простым демисезонным
Пальто с меня срывали кожу
В привычном рвении казенном
По адовым кругам тамо жен.
Но отпустили в Палестину,
Где от хамсина сатанею
И на ветру январском стыну,
Все чувствуя сто крат большее.

* * *

Иерусалимские граффити
Улики боли, смерти отпечатки
Не выводимы с каменной брусчатки.
Они, как встарь, на старых тротуарах,
Непроходимых от амбиций старых.
Не торт под кремом юбилейно-сладкий,
Но складки гладкой кремниевой кладки
Увязли в грязной вязи мапюгов
Двоюродных семитских языков.
Корявый синтез рук и краскопульты –
Они пророчества какого культа?
Корявым почерком скривилась гадко
Со стенки Валтасарова загадка.
Не стал стальным небесный пьедестал,
Библейский город от себя устал,
Как от Вселенной старец Иегова,
Но мы уже не выстроим другого,
Идя в обнимочку подстать туристам
По неказистым улочкам бугристым
Вдоль стенограммы стен, гремящих злобой
К стене заплаканной и твердолобой.

Слава БАШИРОВ. На том и этом берегу

* * *

обычный день, привычно-бестолковый
перелистнулся, вот и жизнь прошла
уснул и видел сны о жизни новой
той, что когда-то новою была
где медленные танцевали тени
ленивый ветерок листву трепал
и голова от запаха сирени
кружилась, время замерло, он спал
на той веранде дачной с майским садом
с такою тишиной глухонемой
где были дети маленькие рядом
с прекрасною и юною женой
во что-то детское они играли
смеялись, испугался, что вот-вот
проснётся, и тогда стакан у края
стола, качнувшись, упадёт

* * *

природа не боится повторений
оттачивая грани мастерства
не бережёт живых своих творений
рвёт облака, ломает деревья
а бедная душа другой природы
неповторимостью утрачена
глядит она в неведомые воды
в которых, снится ей, отражена

* * *

как мальчик под мелким осенним дождём
рассеянным, скучным, за ворот натёкшим
как водится, в ступе водицу толочшим
о чём-то пустом, бестолковом своём
как мальчик продрогший, бог знает, куда
бредущий, как маленький дождь, втихомолку
по тёмным, кривым переулкам, без толку
как попусту в ступе толчётся вода
как мальчик заплаканный, как этот вот
несчастный, растерянный дождик, бегущий
всё пуще и пуще по лужам, толкущий
пустое, бормочущий: это пройдёт

* * *

такое море в декабре
нет в мире цвета серого
как будто он погряз в добре
от юга и до севера
как будто нет войны кругом
ни деймоса, ни фобоса
ни в нашем мире, ни в другом
краю другого глобуса

* * *

так лежишь у воды, пока ещё
от беды бежишь, от обиды
вслед за облаком убегающим
не теряя его из вида
над седою равниной моря
как поведал бы горький автор
ветер тучи, а впрочем, вскоре
прояснится, скорее завтра
чем сегодня, через неделю
или позже, всё будет ясно
повторяя, мели емеля
где приснится, что всё прекрасно
вслед за тучкою кочевою
в страны, где никаких ненастий
чо ты воешь, ничо не вою
просто нету привычки к счастью

* * *

там в недосмотренном кино
одна меня давным-давно
в темным-темно любила
метель мутила ясный день
сносила крышу набекрень
меня с ума сводила
там раздеваясь догола
зима плела свои дела
белым-белы как сажа
четыре месяца в снегу
метель несла свою пургу
мелым-мела покражу
там всё осталось как тогда
дурное счастье и беда
любовь и грусть и жалость

в одной потерянной стране
где мене-текел на окне
морозное писалось

* * *

в лесу осенней средней полосы
в прозрачно-сумеречные часы
на вянущей траве и мёртвых листьях
поблескивают капли, редкий дождь
прошёл недавно, ты за ним идёшь
пути не разбирая, в чащах мглистых
глухая тишина собой полна
в ней, кажется, издалека слышна
аукающих криков перекличка
давно уже ушедших грибников
там замирает звук твоих шагов
и глохнет в перестуках электричка
и чудится, проснёшься, вот сейчас
почувствуешь, не открывая глаз
что вслед тебе и падающим листьям
ползёт туман, и невидимка-страх
таится за спиной, стоит в кустах
в туманном этом сумраке слоистом
и ты на всё глядишь со стороны
тебе двенадцать, страхи не страшны
себя, пинающего листья, видишь
ведь это только тени и кусты
из леса очарованного ты
беги быстрее, никуда не выйдешь

Юлия БЕЛОХВОСТОВА. Уместить в себе...

Снег идёт и идёт, будто тысячи белых конвертов
адресата нашли и теперь облепили окно,
и никто не ответит, что с адреса выбыл посмертно
дорогой человек, и письмо не прочтёт ни одно.
Все, что не было сказано, важное или пустое,
остаётся со мной, потому что другим ни к чему.
В опустевшем доме не хозяйкой живу – на постое,
как уехать отсюда теперь навсегда – не пойму.
Снег идёт и идёт, заметая дорогу до детства,
было долгое лето (вагон и тележка тех лет),
а теперь на земле наступила зима наконец-то,
и осталось ее, как заснеженный путь, одолеть.

* * *

Так медальончик сердца моего
качается на панцирной цепочке
над этой канителью снеговой,
пока не достигая крайней точки.
А я его нет-нет да подтолкну
нетерпеливым жестом или словом.
Под крышкой локон отливает в хну
и кажется к бессмертию готовым.
Допустим, это будет не сейчас,
кому нужна в таких вопросах точность?
Нежнее медальон в руках качай,
еще цепочку проверяй на прочность.

* * *

На Рождество я встретила волхвов –
свернули к дому нашему случайно.
Я вынесла вина им в чашке чайной
и на лепёшку выложила плов.
– Хотите есть? Я вижу, что хотят.
– А что, звезда взошла уже, а ну-ка?
Но как же есть, пока Мария в муках
рожает светоносное дитя?
– Вы голодом хотите ей помочь?
Что с нею будет – дева молодая,
она своё, конечно, отстрадает,
но не сегодня. Вам идти всю ночь
и после на верблюдах и ослах
вам каждый год опять по белу свету

нести дары и весть благую эту:
родился Царь, он мирно спит в яслях.
– Ну, ложечку – кормила, как детей –
за маму, за младенца Иисуса,
подкладывала плова и кус-куса
в тарелки неожиданных гостей.
Какой звездой ведома из Москвы,
я на восток пришла с востока тоже,
и я на этих путников похожа,
но «в Рождество немного все волхвы»...

* * *

Когда уже ни ёлки, ни саней,
и день растёт, повернутый к весне,
распугивая птиц капельной дробью,
опомнившийся, выпадает снег,
стоит рябина в белой простыне
и щурится на солнце исподлобья.
Светлым-светло становится тогда,
стоит река под капюшоном льда,
накапливая силы для разбега,
и невозможной кажется беда,
но до чего же черная вода
таится подо льдом и талым снегом.

* * *

Знаешь меня? Не знаешь меня?
Будем знакомы.
Каждое утро седлаю коня,
еду из дома.
Лес огибаю широкой дугой,
узкой тропинкой,
мост прохожу над ручьём, и другой –
над Таратынкой.
Видишь меня? А, не видишь меня?
Лес-то в зелёнке –
темп не снижает, бушует весна
на удалёнке.
Почки взрывают берёза и вяз,
будто гранаты.
Если проскочим беду в этот раз –
не виноваты.
Помнишь меня? Нет, не помнишь меня,
ясное дело –

день пролетел будто не было дня,
жизнь пролетела,
будто и нет ничего, кроме двух
яблонь у дома.
Встречу у церкви нарядных старух –
будем знакомы.

* * *

Мы будем жить, пока не надоест,
у моря – одного, потом другого,
одолевая каждый переезд
как перевал, и строя жизнь ab ovo*:
от чашки, от цветочного горшка,
от мелочи – мы мелочны, как боги, –
передвигая тумбочку и шкаф,
друг к другу ближе двигаясь в итоге.
Мы будем жить, пока нам хватит сил
на чемоданы сверх багажной нормы,
на взгляды тех, кто нас не выносил,
и кто любил, невыносимо вздорных.
Мы будем жить, пока что не умрем,
– мы смертные, а стало быть, не боги, –
желательно, по-прежнему вдвоём,
у моря, у какого-то из многих.

*ab ovo (лат.) – от яйца, то есть с самого начала

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

В полудреме утренней, в тумане,
принакрывшем беспокойство вод,
“Лев Толстой” идет к своей поляне,
человек, писатель, теплоход.
Перегружен судьбами людскими,
суммой незначительных забот.
Что их на плаву удержит? Имя,
зацепившись буквами за борт.
Что им в этом имени сегодня?
Миром ли закончилась война?
Хорошо, что Волга полноводна –
не достать до илистого дна.
Только тем до сей поры и живы,
вопреки течению и судьбе,

что старик трехпалубный двужильный
наши души тянет на себе.

Тянет эту ношу человечью,
словно записавшись в бурлаки,
и “Антону Чехову” навстречу
подает гудок взамен руки.

* * *

Прогуливаясь друг у друга в памяти,
вытаскиваем разные слова,
как фокусник – цветы из рукава,
и учимся какой-то новой грамоте.
Потребность в общих темах – вот зависимость
сильнее, чем желание курить.
На брошенное «А поговорить?»
меняется легко любая письменность.
Полцарства за коня и собеседника,
за голос, не натянутый струной,
за то, что «Вы больны, увы, не мной»,
а кем-нибудь из города соседнего.

* * *

Живи со мной в спасительной глуши,
в недостижимом далеке от мира,
люби меня спокойно, не грехи,
не создавай из женщины кумира.
Рассматривай в подзорную трубу
на мертвенной луне живые пятна,
живи со мной, как будто нет табу
на яблоневый сад и путь обратно.
Как-будто нет важнее ничего
ночной рыбалки, удочки и снасти.
Накапливает воздух вещество,
пригодное для переплавки в счастье,
Венера заслоняется Луной –
успей их снять, пока на небе рядом.
Живи, надёжно заслоняясь мной
от зоркого земного злого взгляда.

* * *

Поживём ещё, потому что солнце,
потому что ноги сухие в кедах,
и последний холод ночной придётся
– если верить гуглу – на эту среду.

Поживем, загадывая помногу,
не скрывая образности желаний,
ничего не зная – и слава Богу –
друг о друге в личном необщем плане.
Разбирая старые фотоснимки,
где стоят в обнимку чужие люди,
и не важно, где мы бывали с ними,
и не страшно то, что уже не будем.
Но для тех, кого узнавать не сложно,
закипает белая пена вишни,
и возможно, мамин рецепт пирожный
к сентябрю придётся совсем не лишним.
Доживём до спелости или дольше,
потому что лето не за горами,
а за лесом, ландышами заросшим,
за ветвистой ивой в оконной раме.

* * *

По большому счету, по самому крупному счету,
для меня никто, кроме этих двоих, не важен,
у меня лимит на сочувствие, боль, заботу,
у меня не хватает сил улыбаться даже.
У меня не хватает сердца – усохло, что ли,
но какое-то стало маленькое и злое,
защищается всеми клапанами от боли,
и не видно в нём никого, только эти двое.
Как тут мир уместить в себе, а войну недавно,
если в левом предсердии сын, и в правом – тоже?
Я устала, я не умею о самом главном,
я умею только о том, что всего дороже.

Ян БРУШТЕЙН. Седьмая вода

НИТЬ

Какие были наши времена!
Мою страну корёжило и мяло,
И те, кому по жизни было мало,
Старались отовариться сполна.
И мы вздыхали: только б не война!
Всё остальное жгло, но не сломало.
А этот век своё готовил жало,
И поднималась мутная волна.
Куда ведёт ослепшая судьба?
А мы всё давим из себя раба,
Который крепко держит нас за душу.
Что может на закате защитить?
Жестокий ветер наши лица сушит
И жадно гложет этой жизни нить.

ПОЕЗД

Сенокос високосного года —
Что-то души летят косяком.
И сержант голосит: «По вагонам!»
А кому-то по шпалам пешком.
Это лето с тобой схоронили
И на пробку налили сургуч.
Ветер, пахнувший яблочной гнилью,
Забавляется ключьями туч.
А сержант всё кричит обречённо
И зовёт в этот меркнувший дым...
Всё же вслед за дыханием чёрным
Мы с тобой уходить погодим.
И всплакнём, и с перрона помашем
Тем, кого с этой осени нет.
Время едет на поезде нашем,
И уже приготовлен билет.

НЕСПЯЩИЕ В КОКТЕБЕЛЕ

Хвала неспящим в Коктебеле,
Поющим, пьющим и горящим
В кусте терновом, в лёгком теле,

Давным-давно сыгравшим в ящик.
Хвала плывущим в лунном свете,
На берег прущим кистепёро,
Встречающим последний ветер
Улыбкой бога и актёра.
Не видя этой жизни странной,
Где я застрял, смешной и старый,
Вы достаете из тумана
Свои беспечные гитары.
И, если вы уже запели,
Я вас услышу в это лето...
Хвала неспящим в Коктебеле
И догорающим к рассвету.

КЛЕЗМЕРНОЕ ЛЕТО

Я там, где иглы минаретов
Звездами небо помечали,
Стремился в клезмерное лето
Навстречу счастью и печали.
Где величавые хасиды
На языке почти забытом
Субботу пели с древней силой,
Как будто шторм гудел за бортом.
И эта музыка на идиш
Среди победного иврита –
Казалось, дверь толкнёшь, и выйдешь
В то время, что давно закрыто.
И дед, в губах зажавший дратву,
И бабушка с кошерной рыбой...
Я на горячий Север, к брату,
Где всё припомнить мы могли бы.
Под небом выжженным и тусклым
Одна судьба на многих лицах.
А я писал стихи на русском,
На самом близком во языцех.

ИЗ ЦИКЛА «СЕВЕРА»

1. Шаман

Говорил мне шаман Мандаров Алдан,
Стрельнув папиросу, глядя в упор:

– Ты пришёл к нам, солдатик, плати же дань:
Бутылку спирта и «Беломор».
Он священный огонь кормил с руки,
Он камлал, и на всё доставало сил,
Ел с ножа оленину, пил из реки,
И рычал, и чайкою голосил.
А за что сидел он, зачем увезли...
Просто так, без дела, не упекут!
Да ещё загнали на край земли,
В беспредельный город, чужой Усть-Кут.
На щеках Алдана – зарубки лет,
Но бесшумен бег и тугой кулак,
И такого второго шамана нет
На великом озере Укулях.
Здесь железная рыба подземных рек,
Белый конь, и навеки седой орёл,
Здесь не выживет разве что человек...
– Да зачем он нужен! – Алдан орёт.
И кричит шаман, словно птичий хор,
У него для этого свой резон...
И срывается с места наш вездеход,
И как будто падает за горизонт.

2. Григорий

Бывший вор Григорий (знаю, бывших воров не бывает),
Жил в забытом балке на границе тундры и леса.
По наколкам на сморщенной коже читалась судьба кривая,
А якутская малица как от парши облезла.
Сколько лет ему было – двадцать пять, пятьдесят или
триста...
Он ушёл от людей, прислонился к зверью и деревьям.
Не боялся морозов, полярных ночей и риска,
И казалось – он вырос здесь, словно коряга, древний.
Бывший вор Григорий свалил по снежку оленя,
Под балком вырыл погреб, набил его льдом и рыбой.
Только чая и хлеба, да махорки для зимней лени
Не хватало ему... «Солдатики, вы помогли бы!»
Я его приручал, как шального полярного волка,
Пил чифирь, слушал байки, и он становился добрее.
Угощал пацанов на морошке настоящей водкой
И всё шуточки шутил про морозоустойчивого еврея.
Уезжали, когда эта тундра от края до края

Синим, красным цвела, словно вынырнула из мрака...
Бывший вор Григорий (да, бывших воров не бывает)
На пороге стоял, желваками играл, не плакал.

3. Кирпичный завод

Когда колёса долбят: «Ухта, Инта, Воркута...»,
Кому охота ехать в гиблые эти места?
Но саднит моя память, до боли свербит, дерёт:
Стучат, кричат колёса про старый кирпичный завод.
В тридцати километрах от этой твоей Воркуты,
Где горят мосты, где снега чисты, а дома пусты,
Где речка Юньяха до дна застыла в пространстве густом,
Лежит мой родич, еврей – под простым православным
крестом.
Их в тридцать восьмом уравнил трибунал, побратал
расстрел –
Пятьсот мужиков, пятьсот затоптанных в землю тел.
Не выдалось согнуть моей родне на большой войне,
Потом за всех мой отец отвоевал вдвойне.
Как стоял я, вчерашний солдатик, и плакал о том...
Как хватал этот горький воздух обветренным ртом...
И северный ветер выл, и каменный воздух стыл –
И горели мосты, но снега оставались чисты.

НА НЕРЛИ

Плоскодонка режет стругом зеркало воды,
Вот такая расписная местная весна!
Я опять смотрю с испугом на свои следы,
Там, где воду распинают шрамы от весла.
Я вдыхаю воздух древний посреди Нерли,
Небо как мишень пробито птицами, и вот
Мимо нежилой деревни, брошенной земли
Плоскодонное корыто медленно плывёт.
А внизу вздыхают рыбы, просятся в котёл,
Но на ловлю мы забили в этот странный час...
Всё равно, кто убыл-прибыл и чего хотел –
Мы проплыли, и забыли эти воды нас.

СЕДЬМАЯ ВОДА

От первой воды – ни беды, ни отгадки,

И были бы взятки привычны и гладки
У тихой рабочей пчелы.
Вторая вода – забодай меня птица:
Такая страница под утро приснится,
Почище двуручной пилы.
Где травы напитаны кровью и солью,
Там бешеный волк породнился с лисою,
И эта вода не для вас.
Вы третью просите – из ветки кленовой,
Не новой, но всё же по масти бубновой,
Готовой гореть напоказ.
В четвёртой и пятой – судак и плотица,
Могли бы ловиться, коль не суетиться...
Шестую не пьёт и зверьё.
Шестая – она для тоски и позора,
В ней вымыты руки и ката, и вора,
И ворон не помнит её.
Но если поднимутся страсти земные
По сердце, по душу, по самую выю,
И ты покоришься судьбе,
Седьмая вода – из-под корня и камня –
Захватит, завертит, застынет и канет,
И память сотрёт о тебе.

ПТИЦЫ

А птицы забыли взять пеленг на юг,
Хрипели, хотели любви и признания,
Над ними всходили снега мироздания,
Казалось, что в глотках ледышки поют.
Под ними – деревья, деревни, и тут,
В тоске, в глубине, где не верится в бредни,
Где тонущий след по тропинке последней,
Неспящие дети за песней бегут.
И взглядом пытаются выследить птиц,
Так счастливо стынувших в небе предзимнем:
«Куда мы летим, для кого же мы гибнем...»
И только мазки запрокинутых лиц.
Завьюжит. И мир, возмутительно чист,
Не будет запятнан ни шагом, ни криком,
И слабо мелькнет над простором великим
Шальное перо или гаснувший лист.

МИНУТА ТИШИНЫ

Живу от скорой и до скорой:
Кусает время старика...
А надо мной весенней сворой
Спешат живые облака –
Туда, где лезет из-под дряни
Побегов новых дружный ряд.
И где смешливые земляне
О чём-то тайном говорят.
Им предстоит круги и петли
Пройти, не потеряв земли,
От жизни зимней к жизни летней,
И снова – в обморок зимы.
Они не люди, и не ждите –
Мир насекомый тих и прост.
И муравей, упорный житель,
Уже поднялся в полный рост.
Гудит пчела, кузнечик плачет,
Шмель тянет первый сок весны.
И свет вокруг... а это значит –
Всего минута тишины.

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Там, где треплется слово
«душа»...

МЫ

1

шевеленье на полáтях,
в люльках и во всех углах,
подрастём и в тихих подлостях –
эх, родименькие, ах! –
расползёмся кто в буфетчики,
а кто в булочники, а
кто в официанты, с печечки
от родного очага
в город прыг да скок да прыг, а там
навещу в селе родню,
из селёдочной головки, ам,
в рот похлёбку наклоню,
ах ты господи ты господи,
эх, родименькие, ах,
поутру из бычьих глаз, поди,
кушанье, и кряк, и страх,
пьёт сосед, а после стонет, жуть,
или в горести орёт,
душно в доме, смрадno, кто-нибудь
кашлем давится и мрёт,
а зачем на камне, сам реши,
светлое дитя стоит
и на церковь смотрит замерши,
не шевелится, как спит.

2

есть «счетовод» и есть «подрядчик»
или «сыскное»,
«извозчик» есть и есть «раздатчик»,
есть «в розницу» и «развесное»,
иди сюда, возьми фонарик
и посвети-ка
туда, где валит с дымных фабрик
народ безлико,
есть паспорт и печать – синюшный оттиск, –
есть, если полистать, прописка,
а то возъмёшь в июле отпуск
и едешь далеко, где море близко,

ещё попутчик пьющий: «бога нет, а?» –
бормочет, и в лице бескровность,
и мало света,
и жизнь продолжить блёклая готовность.

3

со стеариновыми в поле
выйдем свечами
и сядем, что ли,
на землю, и пожмём плечами.
как в раннее по жизни время
сошёл я с круга,
так замер всеми
своими чувствами с испуга
и обомлел: вдали ходили
страшные люди –
посвистывали или
вдруг требовали правосудья.
они, казалось мне, излишни,
грубы и праздно,
нет, не всевышни,
нечисты на руку, развязны.
мой друг, почти неразличимы,
душой восплачем,
а там в ночи мы,
огни задув, себя попрячем.

* * *

там, где треплется слово «душа»,
теряя след,
шёл, но опоздал, спеша
сквозь жизни свет,
и под землёй буду землю рыть
туда, к тому,
с кем, моя радость, хочу говорить
сквозь смерти тьму.

* * *

сегодня так легко, что вязь ветвей
чем выше и прозрачней, тем видней,
так искренне, что я предположил,
что не живу и никогда не жил,
что день апрельский непоколебим

и я, несуществующий, любим.

* * *

до головокружения высокое,
великолепно небо синеекое
над монастырской кладкой тесной,
над гулким холодом, над камнем с плесенью,
где белые в два профиля гробницы,
и шепчется сама собой песнь песней,
где нет между усопшими границы,
где до конца времён лежать двоим,
явившись в неслиянности пред Ним,
где жизнь, жестокости веков обучена,
к секунде приурочена, счастливую,
как апельсин, вбирая, обуючена,
и просится в ладонь теплолюбивую,
где сквозь готическую розу – неба лужица,
и голова у голубя не кружится.
проход по авансцене
домой, домой! – к кому я обращаюсь? –
(ты слышишь? нет?) – ещё я на виду,
но скоро ночь, поэтому прощаюсь,
пока иду, мне спать пора, иду –
в насущных тряпках нищий копошится,
и так тоскливо (ты со мной? аллэ!),
как будто кто-то вывесил сушиться –
верёвка из окна в окно – бельё –
подумать только, слово есть: «разуться» –
в нём корня нет (ты здесь?), на склоне дня
(аллэ!) я весь усну, чтоб не проснуться,
став зрением и жизнью без меня –

Надя ДЕЛАЛАНД. Удивлённое зеркало

ПАМЯТНИК

прозрачный вкус воды и воздуха и тьмы
шершавый на губах матерчатый листочек
так босиком идти по памяти в источник
наощупь ноги мыть
на пармонах лечь на спину в темноте
и что-то бормотать Тебе в пустое небо
замерзнуть и простыть разгадывая ребус
и шелкать и свистеть
мне снова десять лет и я опять бесстрашна
и люди у костра мне предлагают есть
и я сажусь к костру и как благою весть
беру с улыбкой брашно
и в этот тонкий миг все сходится и вдруг
я вижу над огнем Твой лик иконописный
но Ты уже стоишь внутри над каждым смыслом
и вся я не умру

* * *

веснег под небом октября
так тихо тихо ти
хоть ты-то знаешь что не зря
дано тебе идти
идти сквозь зелень в аккурат
вписавшись между ней
летательно как аппарат
летально или нет
так удивительно что ты
так странно что опять
дома машины и кусты
сияют и слепят
мне снова выпал этот дар
небесный и земной
как хорошо прийти сюда
и оказаться мной

* * *

Время течет сквозь меня меняя
Тело располагая в произвольном порядке
Смыслы весь их цветной шебутной гербарий
Я старюсь я становлюсь старушкой

В удивленном зеркале мегацентра
Господи это я посмотри на это
У меня лицо как у мамы
Отражение подходит ко мне поближе
Щурится близозорко что-то беззвучно шепчет
Вроде бы Господи это я
Посмотри на это
Господь рассмеялся влюбленным смехом
И поцеловал меня в сердце

* * *

Я приняла решение стареть
достойно, как родители старели.
Седеть, сгибаться и морщиневеть,
лежать в постели, ползать еле-еле,
носить платочек, прикупить рейтуз,
еще такую сумку на колесах,
солить капусту и мочить арбуз,
и говорить кокоту «мой холесый».
пить корвалол и скоро умереть,
не чистить камень, не менять коронку,
я приняла решение стареть.
И сделала себе гиалуронку.

* * *

ты в моем воображении и ты в реальности – это два разных
тебя
в моем воображении ты нежен покладист смущен
ты смотришь с мольбой и задыхаешься от прикосновенья
мизинцем
в реальности ты рассеян и занят
делами и мыслями
в переписке не слишком приветлив
при встрече радушен и коротко добр
не понимаю как реальность могла
так чудовищно
недоработать?

Виктор ЕСИПОВ. Две фигурки на дороге...

* * *

Резной листок кленовый,
похожий на ладонь —
тот чуточку лиловый,
тот красный, как огонь.
По осени летящий,
поймал, держу в руке —
шершавый, настоящий.
Живи в моей строке...

* * *

Листвой усеяло траву,
Холм, словно в пестрой львиной гриве,
Открыл осеннюю главу
в её октябрьской перспективе.
Трамваи где-то и метро,
а здесь взбираются все выше,
как на пейзаже Писсарро —
сквозь дымку рдеющие крыши.

* * *

Покровки двory, переулки
на карте сплетаются в сеть —
любил на вечерней прогулке
на старые зданья глазеть.
Фасады эпохи модерна,
ампира дворянского стиль —
в бывшее глядел суеверно,
какая красивая быль!
И это, поверьте, не фраза,
а просто счастливый момент,
там доктора в память Гааза
в Казённом стоит монумент.
И столько в берёзах подпалин...
А стоит назад повернуть —
поручик какой-то был Лялин,
пора и его помянуть.
И сам — в переулках покровских,
с балладой, струящейся с уст,
Василий Андреич Жуковский —
под окнами гипсовый бюст.
А осень меняет наряды

и листья пускает в пике...
На всё это мысленным взглядом
гляжу от Москвы вдалеке.

* * *

Когда уж вышел сам в тираж
и если кофе, то морковный,
порою помяну пейзаж,
не городской, а подмосковный.
С пригорка дач видны вдали
разнокалиберные крыши,
там были окна и мои,
теперь мне до Берлина ближе.
Немного портят сельский вид
для электронной связи вышки,
а рядом трактор тарыхтит,
верней, не трактор, тракторишка.
И полукружим леса,
где ёлки сумрачны и строги,
в полях дороги полоса
и две фигурки на дороге.

* * *

Серый день – как название повести,
на которой унынья печать,
так нужны позитивные новости,
только где же сегодня их взять?
Пешеходы снуют прототипами,
полдень длится, спусть рукава,
замечаешь, как в парке под липами,
словно выжжена зноем трава.
Липы – цвета чешуйки отбросили,
а листва зеленеет пока.
Серый день, репетиция осени,
облака. облака, облака...

* * *

Чем я живу, кто я такой,
какой мотивчик напеваю,
когда с Палацкого домой
вновь на седьмом спешу трамвае?
Вопрос, упавший в пустоту,
я скрыть ответ имею право...
Вот проезжаю по мосту,

под ним светящаяся Влтава.
Потом опять фасадов ряд —
за рестораном дом подруги,
как разыгрался листопад,
прах рассыпая по округе.
Один квартал иду пешком —
очки поправил, сняв перчатку,
и так шуршат под каблуком
сухие листья о брусчатку...

* * *

Опять над крыши черепицею
бескрайняя голубизна
и солнце воздаст сторицею,
растекшись по стеклу окна.
Очки сидят на переносице,
а воздух в радужных кругах,
рука к клавиатуре просится,
чтоб зафиксировать в словах,
Что в небе облака оборками —
весна, весне, весны, весной,
и снова разговоры громкие
доносит ветер из пивной...

Жанна ЖАРОВА. Зим гравюрой чёрно-белой...

Зима гравюрой черно-белой
В прямоугольнике окна
Возникла за ночь. Там несмело
Шел первый снег, и то и дело
Сбивался с шага. И со дна
Пустынных улиц поднимались
Ему на помощь фонари.
Шел первый снег. Какая жалость –
Ему всего-то оставалось
Дожить до утренней зари.

МЕЖДУ СЕГОДНЯ, ЗАВТРА И ВЧЕРА

Продлись, мой день! Я медленно живу,
Неспешною рукой часы листая.
А годы, как встревоженная стая
Вспорхнувших птиц, летящих в синеву
Сквозь поредевший строй осенней чащи,
Мелькают в окнах памяти неспящей...
Календари сменяются всё чаще,
И поезд жизни ускоряет бег,
И, повинувшись времени законам,
«тик-так» – стучат колёса под вагоном,
И фонари мгновений вдоль перрона
Навстречу мне плывут и бьют поклоны,
И тает на стекле вчерашний снег...
Но прорастают завтрашние сны
В пространстве тьмы, в полёте безвременья.
Сюжеты их загадками полны...
Я длю дремоту утреннею ленью,
Подсказки ночи силясь разгадать.
Там дочь и муж, друзья, отец и мать,
Те, что вдали, и те, что стали тенью.
Фигуры зыбки, лица неясны –
Хотя порою даже слишком чётки...
И вновь судьба перебирает чётки:
Слова я слышу, но невнятна речь –
Язык чужой. Но место мне знакомо:
Вот комната, вот кафельная печь,
Которой нет давно... Я снова дома!
Вот улица моя. Здесь был проход
Куда-то к морю. Вот и поворот,

Потом другой... Тупик! Я заблудилась!
Прохожий, помоги мне, сделай милость!!!
Но никого вокруг. В тревожных снах
Я вновь ищу дорогу впопыхах,
Не находя...
Меня спасает утро –
Домашнего тепла уютный плед.
Заботы дня, обыденности пудра
Припорошат ночных кошмаров бред –
И сон забыт. О, суета сует!
В который раз меня ты выручаешь,
Горячей утреннею чашкой чая
Смягчая и смывая горечь бед...
Продлись, дневного солнца ясный свет!
... Но в сумерках видений слабый след
На дне сознания опять крепчает,
И вечер ничего не обещает.
И снова я блуждаю до утра
Между сегодня, завтра и вчера.

МЕДУЗА

И ласка шёлковой волны,
И неба выцветшая блуза,
Стекло сиреневой медузы,
Всплывающей из глубины.
Прозрачен купола опал,
Овалы глаз мерцают грустно...
Светильник вод, живая люстра,
Чей лунный лик легендой стал!
Как мог тебя убить Персей,
Не утонув в очах бездонных?
Они пленили Посейдона
Отважной дерзостью своей...
В твоей крови рождён Пегас –
Поэты помнят ли об этом?
Отрадно слушать жарким летом
Волны лепечущей рассказ.
Там льётся золото волос
И вьются кудри чудо-девы...
Но мифа вольные напевы
Владыка-ветер вдаль унёс.
Иные ритмы на слуху.
Лишь в памяти осталась вежа.

И отзвенела дальним эхом
Мелодия на берегу,
Где, музам и богам назло,
Сентиментальной нотой блюза
В октаву августа стекло
Волны прощальное тепло
И неба выцветшая блуза,
И фиолетовой медузы
Венецианское стекло.

БРОДСКАЯ СИНАГОГА

Камень шершав и сед.
Памяти пыльный след,
Времени никотин
В складках его морщин.
Скрыт штукатурки слой
Копотью и золой.
Спит за немой стеной
Жизненный путь земной
Тех, кто когда-то жил,
Тех, кто сегодня жив.
Там, где раввин служил,
Нынче хранит архив
Лица и голоса,
Даты и адреса
Тех, кто на небесах,
Тех, кто в сырой земле,
Тех, кто живёт в тепле.
Судьбы и имена,
Письма и письмена,
Вымысел или факт,
Справка и артефакт...
Книги или кино,
Ныне или давно,
Список побед и бед –
Повесть минувших лет.
Символ случайный есть
В том, что хранится здесь
Странная эта взвесь –
Рода людского весть.
Грустный, слепой союз...
Времени тяжек груз.
И устоит ли дом

Или пойдёт на слом?
Но, прислонясь к стене,
Слышу – иль мнится мне? –
Эхо с горы Синай:
«Барух Ата, Адонай!» **

* – Бродская синагога в Одессе названа так, потому что она построена была на средства общины евреев – выходцев из города Броды, переселившихся в Одессу.

** – “Благословен ты, Господь” – начало молитвы (иврит).

* * *

Весь мир сошёл с ума. Слетел с колёс,
Как поезд, что несётся под откос,
Забыв про рельсы и круша вагоны.
Вокзалов переполненных перроны,
И дроны в небе вместо птиц...
А я
Среди осколков хрупких бытия
Брожу, осколки быта собирая.
Пытаюсь мирный пазл из них сложить
И протянуть связующую нить
Меж «завтра» и «вчера».
Задача непростая,
И вряд ли я смогу её решить...
Распалось время на две половины –
На «до» и «после». Где я? – В середине
(увы, не золотой) ...
Как долги вечера!
И длится ночь.
«Я верю во Вчера» *,
Живу сегодня, опасаясь Завтра.
Поток сознания уносит (вспомним Сартра)
К тем берегам, где «быть или не быть».
И всё же мы плывём...
«Куда ж нам плыть?» **

* – Yesterday – песня Битлз

** – А.С. Пушкин, «Осень» (неоконченное), последняя строка

* * *

Сплетает утро солнечную сеть
На водной глади.

Русалке впору на ветвях сидеть
В таком наряде!
Ах, Лукоморье... Те же чудеса
(Впадаю в детство?)
И кот учёный бродит «сам-с-усам»
Здесь по соседству.
Не по цепи, а по балконам – шашть!
Разбудит ночью...
И чёрный, как смола! – что за напасть?
Беду пророчит?..
Но я – не в этой сказке. Наяву
Я – в Средиземье.
Почти по Толкиену я живу...
Но вместе с тем я
В реальности – не волею своей:
Судьбой ведома,
Оставила мой город и друзей,
Лишилась дома...
Не я одна – поразбросало нас,
Как листья ветром.
Увидеться случится ли хоть раз
На свете этом?
...Смеркается. Плавающий закат
С балкона вижу,
И слышу волн размеренный накат –
Так море дышит.
Я – в Средиморье. Скажут – повезло? –
И – в Средимирье.
И знаю – победить не сможет зло!
И верю в мир я.

* * *

И одинокая звезда
В высоком небе,
И моря тёмная вода –
Мои плацебо...
И найденный «куриный бог»
На диком пляже,
И раковины завиток,
И пальм плюмажи.
И плющ на каменной стене –
Надежды зодчий...
...Но с памятью наедине,
Чернильной ночью

Наш бесконечный разговор
Всё длится, длится:
Я вижу улицу и двор,
Родные лица...
Беда пришла на мой порог,
Стучится в двери.
Но знаю – войнам выйдет срок!
Я жду и верю.
Дожить бы только... Но – живу!
(Плацебо лечит?)
И не во сне, а наяву –
Расправлю плечи
И объявлю войне – табу!
А эту землю
И новую свою судьбу,
Как дар, приемлю.

* * *

Перепутье. Тропы не проторены.
Сами шли? Судьба ли нас вела
К берегам, где море на две стороны
Распростёрло пенные крыла?
К Средиземному – от моря Чёрного
Пролегла дорога, как стрела.
И по красному лучу по створному*
По пятам война за нами шла.
Догнала. Аукнулась сиренами.
Всё двоится, словно в страшном сне:
Жертвы, и заложники, и пленные,
Бой, пролом в разрушенной стене...
Перекличка. Как вы? Где вы? Живы ли?
Свет? Вода? Не надо ли помочь?
Чемодан тревожный уложили ли?
Первая, вторая, третья ночь...
Хроника войны? Нет, не веду её.
Мильхама** – не тема для стиха.
Просто жду. Живу. Надеюсь. Думаю
Об одном – была бы ночь тиха!
Город замер. Пляжи опустевшие.
Полон горьких новостей эфир.
Лишь волна, от боли поседевшая,
Неустанно шепчет: «миру – мир»...

* створный маяк – вспомогательный маяк, устанавливаемый на суше. Их обычно два. Они устанавливаются на суше, в отличие от основного маяка, устанавливаемого в море. Луч створного маяка – красный.

** мильхама – война (иврит).

Елена ЛИТИНСКАЯ. Ретро. Стихи разных лет

От редакции.

Журнал «Гостиняя поздравляет дорогую Елену Литинскую – бессменного заместителя главного редактора и заведующего отделом прозы – с юбилеем и предлагает читателю подборку стихов, написанных в разное время.

НА КАНАЛЕ

На закате на канале
Светит неба рыжина.
Бросив якорь, яхты встали
На покой ночного сна.
Рыболовы на канале
Посылают рыбу на...
Эх, не ловится каналья,
Хоть отчетливо видна.
Вечерами на канале –
Эмигрантская волна
В туфлях, в сникерсах, в сандалях,
Ярко рас-фу-фы-ре-на.
Поздно ночью на канале –
В ресторане у окна.
Мой бокал печалью налит.
Я решительно одна.
Я уже в полуфинале,
И рукой достать до дна.
А когда-то на канале
Я – угодна и годна.
На канале, на канале
Лето, осень и весна.
Век наш короток, брутален,
И прекрасен, и фатален.
И живет надежда на...

27 сентября 2004 г.

ПАМЯТИ Д.И.

Листаю ломкие анналы.
Вчера? Давно. Остаток лета –
вечерней свежестью. Канала
вдоль – мы. И песнь еще не спета.
Завороженные закатом,

рука в руке касаньем нежным.
А ночь коварная за кадром
меж тем ткала свой мрак крошечный.
Когда бы знала я, что Ангел
тебя хранить не в силах боле,
что решено все Выше Рангом,
я бы ладонь твою до боли
к своей ладони пригвоздила –
Христом к кресту. И на Голгофу –
вдвоем... Ночь поздний час пробила.
Одеждой складываю строфы.
А в памяти – пивко под воблу.
Смеется грусть в очках-квадратах.
И коньяком облитый облик.
Дары добра – в дыру. Истратов.
В окне свет утра. Звезды меркнут.
А ты упрямо осязаем.
Я долблю тебя посмертно.
Благословенно наказание!
Я не спасла тебя. Караю
Себя стихом. Вчера? Когда-то.
Уходит прошлого корабль
За горизонт. И нет возврата...

Январь 2005 г.

* * *

Твое небытие вошло в мой быт
Без моего на то соизволения.
Любви фантомной горькое томление –
Прерогативую. Ты не забыт.
Снимает у меня теперь жильё
И каждый месяц “rent” исправно платит,
Халат свой средь моих развесив платьев,
Извечное отсутствие твое.
Вот записную книжку я нашла,
Где буквы четкие полупечатны.
Твой почерк. Близорукостью печальной
Глядят твои глаза из-под стекла.
Тобой забит был в стену этот гвоздь –
Подвешенной картины предпосылка.
Ты мастерил – и я храню опилки,
Зажав в руке воспоминаний горсть.
Ты здесь курил. Летели мне в лицо
Колечки дыма. Злилась я в запале.
О как бы мне сейчас надеть на палец

То дымно невесомое кольцо!
Безмолвствует, дыханье затаив,
Твоя гитара в стареньком футляре.
И руки прикоснуться к той гитаре
Не смеют – неумелые мои.
Я выучусь играть. Мой дух упрям.
Спою романс перед твоим портретом.
И тихий голос отзовется где-то
В ином миру, что параллелен нам.

31 марта 2005 г.

* * *

Февраль. Достать чернил и плакать.
Борис Пастернак

Февраль. Достать чернил. Не плакать
О злой судьбе.
И голову не класть на плаху –
Сама себе.
Видать, февраль свое отвыюжил.
Такая тишь.
Я – память в узелок потуже.
Меня простишь?
Прости, что больше я не в силах
В слезах стареть.
Пришлю цветы тебе с посылным.
Так проще ведь.
Там над земным последним кровом
Тебя хранит
Невозмутимый и суровый,
Как страж, гранит.
А я храню твою улыбку,
И смех, и грех.
Как ты умел играть на скрипке
Моих утех...
Умел сбежать, запутав тропы,
Так... не со зла.
А я – примерной Пенелопой –
Ждала, ждала...
Ждать больше нечего. Ты сгинул.
Как кожуру,
Пытаюсь траур вдовой скинуть.
Не отдеру.
Служа судьбы своей капризам,
Твержу одно:

«Люблю тебя... или твой призрак.
Не все ль равно?»

Февраль 2006 г.

* * *

Твоё лицо в простой оправе...

Александр Блок

Твое лицо в простой оправе.
Иду... Похрустывает гравий.
Умел ты жизнь прожить без правил
И умереть без правил смог.
На кладбище так много света.
Стираю с камня пыль салфеткой.
«Там человек сгорел...» — из Фета.
А дальше я не помню строк.
Ты жил по собственным скрижалям,
На одного соображая.
Мы осужденье выражали.
Уж так у нас заведено.
О как неправильно ты умер —
Анахоретом, Аввакумом.
Один — матрос, забытый в трюме,
Когда корабль пошел на дно.
Спешили мысли, страсти, строчки.
Жизнь — суета из точки в точку.
И вот — костюм на оторочку
Суровой траурной каймой.
Отславословили, отпели.
Пролили слезы — в самом деле.
А мне все эти менестрели —
Лишь звук пустой, лишь звук пустой...
Друзья тебя давно забыли.
Дыру фанерою забили.
И кто, скажи на милость, в силе
Нести печали тяжкий груз!
Моя печаль, увы, бессрочна,
Назойлива и кровоточна.
Она съедает червоточиной.
И не разрывен наш союз.
Твое лицо в простой оправе.
На кладбище так много света.
И я б хотела жить без правил,
Да не ко времени все это...

4 июня 2006 г.

*Я научилась просто, мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу...*

Анна Ахматова

Когда спешишь, все падает из рук.
Спешила жить – и жизнь из рук упала.
Любить спешила – и тебя, мой друг,
в метели заплутав, я потеряла.
Остановить свой вечный бег пора.
Хранитель-ангел, наступи на пятки.
И, может быть, тогда из-под пера
любви и жизни выглянут остатки.
Не поздно научиться мудро жить,
смотреть на небо и молиться Богу.
И листьями сухими дорожить,
что пригнаны к домашнему порогу.
Привычке старой отдавая дань –
на подоконнике подобье сада
разбить. Алоэ, кактус и герань.
Кому пустая блажь, кому отрада.
Настало время камни собирать.
В подсвечнике, начищенном до блеска,
горит свеча. Захлопнута тетрадь –
бесповоротно, радостно и резко.

11 декабря 2006 г.

ПОЕЗДКА В ЛАС-ВЕГАС

В избытке музыки и света
Под равномерный стук монет,
Отбросив ветхие заветы,
Не оглянуться им во след.
Кто без греха, пусть бросит камень.
А желтый дьявол так манит.
Азарт пульсирует висками.
Лукавый сказку говорит.
А мы по квотеру играли.
Боялись риска, как сумы.
Мы не горели, не сгорали.
Давным-давно сгорели мы.
На кич взирая детским оком,
Послушно мы гуськом брели,
Чтоб наши тени ненароком
Соприкоснуться не могли.

31 мая 2008 г.

В ПУБЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕ...

Пораньше встать аж через силу до,
Свою судьбину злую проклина.
В кондиции почти полубредо
Не опоздать ни в коем разе на.
Обслуживать клиентов, улыба,
Без раздраженья и без предрассуд,
Без промедленья и не ошибка,
Чтоб сервис получился very good.
О, Интернет, всесильный и безбреж,
Запуталась в твоей я карте.
Со всех сторон галдеж и ад кромеш
В публичной Sheepshead Bay би-бли-о-те.
Народ голодный жаждет информа.
И очередь уж выстроилась за.
Кто по-английски мало понима,
На пальцах мне чего-то показа.
А я, хоть и стараюсь, не вруба.
Ведь я еще пока не яснови.
Security кого-то вышиба.
И целый день такая «се ля ви».
До ланча далеко, тем паче до
Закрытия. Читатель-супоста
В кондиции почти полубредо
С компьютером расправиться мечта...
24 января 2009 г.

ПРОЩАЛЬНАЯ ГРОЗА

Осенняя прощальная гроза
Ветрами, как волками, завывает.
И ветками опавшими стучит
По беззащитной хрупкости окон.
А я, любимый мой, твои глаза
И руки постепенно забываю.
Крещением в сентябрьской ночи
Омытая, распалась связь времен.
Осенняя прощальная гроза
Дарует долгожданную прохладу.
Крылатою судьбою залетит
В гостиную сквозь битое стекло.
И буреломной ярости, что за
Окном, я, проливая слезы, рада.
Прости меня и просто отпусти

Из ночи в день. Светает... Рассвело.

23 сентября 2010 г.

НОЧНАЯ МЕТЕЛЬ

Снег упрямо валит и валит
с необъятного черного неба.
Все прошло. Ни морщины гнева.
Я – спокойствие каменных плит.
Я устала искать черепки
на раскопках нашего детства.
Снег идет. И некуда деться
от щемящей снежной тоски.
Стихи, вьюга, замри, приглуши
свой невидимый адский оркестр.
И печаль мою болью не пестуй,
и светилам мерцать разреши.

27 декабря 2010 г.

ПЕРВОЦВЕТ

Первоцвет апрельских дней,
легкокрылый и ранимый.
Облетел, оставив снимок
зыбкий в памяти моей.
Розовые лепестки –
как подкрашенные губы.
Целовал их ветер грубый –
от любви иль от тоски.
Лепестки прильнет дождем,
скроет пылью придорожной.
По дороге невозможной
робко в прошлое войдем.
Там, над бездной у перил,
первоцвет светил в апреле.
И обиженно горели
в полнакала фонари...

19 апреля 2013 г.

* * *

Люблю я запах скошенной травы.
Он голову мою блаженно кружит.
И ностальгия легкая недужит,
распарывая памятные швы.
Люблю вечерние прогулки на

тончайшей нити меж весной и летом,
когда природа наглухо одета
в зеленый плащ без желтого пятна.
Еще день-два – и приползет жара,
вопьется в тело щупальцами липко.
Смычок отчаянно ласкает скрипку
на стыке между «завтра» и «вчера».

27 мая 2013 г.

* * *

Стало рано темнеть. Вечеров и ночей беспросветность.
Заблудился фонарь – одноглазый старик-поводырь.
Под ногами хрустят омертвелые, ломкие ветки.
Я кружу и кружу, протирая кроссовки до дыр.
Моцион перед сном – лучший лекарь от вредных эмоций.
Ветер листья швыряет – ноябрьские конфетти.
Ошалев от гостей, виртуальных заходов и соци-
альных встреч, наконец, выбираюсь из цепкой сети.
Звезды прячут сиянье под черным вселенским покровом.
И Луна не желает светить: у нее выходной.
Я бреду в темноте, натываясь на ритмику слова.
Престарелый анапест пристал и шагает за мной.
Вот напасть! Убирайся. Я друга найду помоложе.
Белый стих – кавалер средних лет, демократ, либерал.
Ну, а ты – динозавр, артефакт. Ты так тесно трехсложен.
Уходи на покой. Ты свой век золотой отыграл.
Двести лет молодцу. Кандалами – твои мне каноны.
Мне б в свободных одеждах верлибра потешиться властью...
Но упрямец на вальс пригласил. И твержу обреченно:
«Раз-два-три, раз-два-три»! О метрической магии власть!

15 ноября 2015 г.

* * *

Корабль. Тесная каюта.
Глухое, круглое окно.
Былое кажется уютным,
каким бы ни было оно.
Мы ссорились. Ох, эти битвы
с вершины ретро – пустяки.
Победы, поддавки, гамбиты...
Они не стоят и строки.
Мы плыли к острову Буяну
или к Бермудским островам.
И Небо льнуло к Океану,
аж горизонт трещал по швам.

Касанье тел на узком ложе.
Не люкс! Скажу я вам всерьёз.
Воспоминанья память гложут,
как гложет кость голодный пёс.
Атлантика явила милость:
упрятав нрав суровый вглубь.
Лаская штительно, посадила
нас на любовную иглу.
И, любопытствуя, глядела,
свеченьем разрезая гладь,
Луна, как будто бы хотела
Земные страсти разгадать...

17 сентября 2015 г.

* * *

В стихах, что я не сочинила,
не будет горечи и боли.
Не расплывутся в них чернила
от слёз, не выплаканных боле.
Не покачнутся пьяно строчки
в веселье дерзко-бесшабашном.
И не погонит муза прочь их
на поэтическую пашню.
Не будет там цветов засушенных
на память о сплетенье буден,
когда одна лишь мысль о суженом.
Напрасно не ищи. Не будет.
Раскаянья, о том, что было
и перед кем теперь в долгу я,
не жди. Вот пегая кобыла.
А где Пегас? Нашёл другую?

* * *

Не сочинила, не погонит,
не расплывутся, не качнутся...
И ямбами не захлебнуться
между блаженством и агонией.

14 марта 2016 г.

ПАМЯТИ Д.И.

Восемнадцать лет, как тебя не стало.
Жизнь моя разделилась на «после» и «до».
Свобода – клеткой. Я устала.
Господи, выпусти, хоть по УДО!

Вернуться б в страну Невозврата проклятую
твоих запоев, загулов, блажи.
Словно пушинки, долги и клятвы
ты стряхивал с рубашки наглаженной.
Вернуться б в страну Невозврата далёкую
туда, где послушные струны гитары
глушили голодных чаек клёкот
и пустозвоны твоей стеклотары.
Вернуться б в страну Невозврата обманную,
где за поворотом мерещился рай.
И сыпался снег небесною манной.
Глаза распахни и ладонь подставляй.
Вернуться б в страну Невозврата желанную!
Спустись с облаков хоть на час ко мне.
Не-до-говорили мы о главном,
Недо-болело, недо-, не...

26 декабря 2016 г.

* * *

Я забываю, забываю
дрожь от касаний твоих рук.
И в память гвозди забываю
ударами бессильных строк.
Я забываю, забываю
тех лет зыбучие пески.
Верёвкой горе завиваю,
вяжу на память узелки.
Я забываю, забываю.
Тонка воспоминаний нить.
Женою Лота застываю.
И не могу забыть.

2 марта 2020 г.

ПЕСЕНКА О КОРОНАВИРУСЕ

Март уже к концу подходит. Ветер, дождь, коронавирус.
Вот такая накатила непогожая пора.
Разворачиваю нервно я компьютера папирус
и прочитываю, хмурясь, сводки с самого утра.
Как сказал один мудрец: «Всё пройдёт. Ничто не вечно!»
И от этих древних истин на душе полегче мне.
Сотворю с утра молитву. Разожгу под вечер свечи.
Знать, такое наше время: на войне, как на войне.
Вспоминаю годы детства. Корь, ветрянка, скарлатина,

свинка, коклюш... Без прививок знай плоды антитела.
Папа с мамой на работе. Под покровом карантина
я Боккаччо проглотила и горда собой была.
Вот и ныне пребываю в карантинном заточенье.
Долго ли оно продлится – перспектива не ясна.
Словно сдавленная дамбой, перекрыто слов течение.
То не Болдинская осень. То нью-йоркская весна.
(Последний катрен-припев)
Я уже съита по горло карантинным заточеньем.
Посидеть бы в ресторане, заказать бокал вина.
Скоро, скоро рухнет дамба и прорвётся слов течение.
То не Болдинская осень! То нью-йоркская весна!
25 марта 2020 г.

* * *

В нынешнем году январь суров.
И перо моё дрожит в ознобе.
В батарею не подкинешь дров.
Терпим холод – городские снобы,
делая прививки от хворобы.
А когда-то, много лет назад,
печь «буржуйка» весело трещала.
Козырной король лупил туза.
На сковороде шипело сало.
Вот и радость. Для неё так мало
нужно было в ту эпоху мне.
Спать ложились рано с петухами.
И герои мифов в детском сне
говорили древними стихами
о богах, героях и войне.
Нет возврата в сладкий детский сон,
в теплоту вечерних посиделок.
И вещает колокольный звон,
что убит Парис и поседела
от тоски прекрасная Елена.
Занавеса ждёт немая сцена...
27 января 2022 г.

ПАМЯТИ ДРУГА

Теперь сквозь февраль и снега
мне не вернуть тот дух и пыл,
которые в весенней неге
ты, расточая, мне дарил.

Я, гордая, крутила носом,
когда ты приносил сирень.
«Ах, залетят к нам в окна осы!
К тому ж от запаха – мигрень».
Как данность я воспринимала
твою любовь, цветы, апрель.
Смеялась и не замечала,
что наш корабль шёл на мель.
Ценить я миги не умела.
Глаза прикрыл фантазий флёр.
Я на доске писала мелом:
«Люблю!» А кто-то взял и стёр.
Ты у порога виновато
стоял, букеты теребя,
не ведая, что жизнь – la strada
страданий завтра ждёт тебя.

19 ноября 2023 г.

ПЛАЧ ПО ФИКУСУ

Фигус мой листву роняет.
В чём причина, не пойму.
Поливаю, удобряю.
Может, холодно ему?
Или жар от батареи?
Или тусклый свет в окне?
Может, он, как я, стареет
и засохнет по весне?
Двадцать лет он дни и ночи
был свидетелем моих
многолюдных одиночеств –
зелен и уютно тих.
Я не дам ему увянуть,
каждый листик сберегу,
исцелю у кроны раны –
я у фикуса в долгу!

* * *

Скуден скарб моих лингвистик!
Не поможет ничего!
Привяжу последний листик,
как писатель Генри О.

11 марта 2024 года

Д.И.

Прошла весна. Июнь. Число второе.
Вчера был дождь. Сегодня жаркий день.
Судьба неслышно мне могилу роет,
порядку жизни отдавая дань.
А я свои привычки сохраняю.
Пером надломленным стихи пишу.
Обманно тени светом заменяю.
Воспоминаний склад не ворошу.
Надёжно под замком те дни былие.
Не сожалею, не молю вернуть.
Покоятся на кладбищах России
мои мечты, и к ним запутан путь.
Вчера был дождь. А нынче солнце в небе,
И тёплый ветер шелестит листвою.
Я б «оглянулась на тебя во гневе»,
Но беззащитно кроток облик твой.

2 июня 2024 года

* * *

Конец июля. Скоро лето
направит к осени шаги.
Я проморгала вспышки света.
Успею ли отдать долги
волнам, что некогда качали
меня. Кружилась голова,
и камнем падали печали
на дно. И неба синева
в заливе нежно отражалась,
рождая ласковый обман,
что добрый лекарь-океан,
способный на любовь и жалость,
благое дело сотворит
и от печалей исцелит.
Надежда, вера или блажь?
Ямб ломаю – и на пляж!

25 июля 2024 г.

Юлия МЕЛЬНИК. Светлей свечи

* * *

Где детство с карамелькой за щекой,
Глядит в окно и ловит миг неспешный,
Туда войду со взрослою тоской,
Со взрослою тоской, пустой и грешной.
С пластинки поцарапанной стряхну
Седую пыль, услышу дух сосновый...
А захочу, и вовсе не вернусь
В наш мир расшатанный и бестолковый.
Спроси ту девочку, о чем она,
Сознание распахнув, наивно грезит...
Нет ничего безжалостней окна,
В которое война и пошлость лезет.
А в том окне – ещё клубится снег,
Ещё снегирь краснеет опереньем...
Ты не буди меня, вдруг в том окне
Я почерпну доверье и смиренность.

* * *

Так близко подойти к оконному стеклу,
Что кажется – пройдешь насквозь и птицей станешь,
Чтоб небо бороздить, доверившись теплу,
И пусть царит закат, как полог златотканый.
Так близко подойти к древесному стволу,
Что пить захочется душе, как пыльным веткам,
И будет осень звать своих гостей к столу,
И резвый дождь гулять – по крышам и беседкам.
Так близко подойти к скользящему лучу,
Что кажется: ты – он, ты – невесом и вечен.
Несёт тебя Господь, как тонкую свечу,
И суть твоя ясней – в холодный, темный вечер.

* * *

Наш мир – лишь яблоко, скатившееся с ветки,
Наш мир – лишь яблоко. Попробуй – удержи...
Течет упрямый сок, мерцает в каждой клетке
То горько-горькая, то сладостная жизнь.
Наш мир – лишь яблоко, законам притяженья,
Как мы, подвластное. Медовые бока...
Распробуй, тронь рукою, сделай одолженье.
О, терпкость нежная, и кожа тонка.
Вот-вот расторгнется молекул притяженье,

Вот-вот окончится горячий летний день,
Но крови мерное, незримое скольжение
Не верит сумрачной, таинственной беде.
Жизнь не кончается... Я семена бросаю
В ладонь земли, молитву тихую творю.
Наш мир – лишь яблоко... И я его спасаю
От зла неистового и Тебе дарю.

* * *

Сидеть, как Будда, в золотой пыли
И видеть море синее вдали,
Сомкнув уста, но сколько неотложных
И важных дел... Вот сердце. Вот река.
Вот за порог ведущая тоска.
Вот ветер, в спину дующий тревожно.
Сидеть бы, право, да не усидеть...
Сквозь пыль дорог все очи проглядеть
Возможно. И вскочить. И спохватиться.
Покуда в мире буйствуют ветра,
Не спит печальный Будда до утра.
И я не сплю. И мне, мой друг, не спится.
Давай в ночи все царства обойдем.
Давай траву целебную найдем.
Давай приложим к ранам подорожник.
А после – скрестим ноги, замолчим,
И станем тише и светлей свечи.
Давай спасём друг друга, если сможем.

* * *

Одиноким Гауди ещё не попал под трамвай...
Он идёт между пальм и платанов, и мысль его вьется
Кружевными узорами, мысль его дерзко смеётся
Над трехмерным и плоским, в нем дико растут, как трава,
Марсианская готика, пена волны налетевшей,
Это камни его, он других не желает камней...
Как ребенок, он их подбирает с пустых площадей,
Чтобы строить свой мир – пучеглазый, святой, сумасшедший...
Видит Гауди – рельсы прямые, прямые углы,
Знает Гауди – линий прямых не бывает в природе...
Он срезает их взглядом, глазами от сердца отводит,
Так углы эти все тяжелы, бесполезны и злы.
Он же так не умеет, он лёгким стрижом в никуда
Улетает кружиться, трёхмерность и плоскость отбросив...

Улетающий Гауди и барселонская осень
Тихо лепят в друг друге из камня улыбку Христа.

СОКРАТ

Не покидай Афин, старик Сократ,
Умрет, тебя приговоривший к смерти,
А ты, слов не бросающий на ветер,
Лишь драгоценней станешь во сто крат.
Что чаша с ядом? Глупость, пустяки...
Ты, как ребенок, сладко спишь в темнице
И смерти ждешь... Тебя убьют тупицы,
Предатели, лгуны и дураки.
Кто без тебя Афины уведет
От пошлости, от лени, от проказы?
Старик молчит, и не вздохнув ни разу,
Глядит на нас и чашу с ядом пьет.

* * *

А где-то только просятся снега
Водою стать, и хрупкие кристаллы,
Теряя форму, начинают таять,
И снятся веткам стужа и пурга.
Везде, в какой мирок не забреди,
По-своему земная жизнь вершится,
По-своему для каждого кружится
Наш шар земной, по-своему летит
Хмельная чайка, рыжая пчела,
И к каждому в свой час неявный, грешный,
Заглядывает ангел белоснежный
И спрашивает тихо: “Как дела?”
Для каждого, от сна на волосок,
Штрихом простым он тихо обозначит
Лишь главное, его глаза прозрачны,
И на запястье тонком нет часов.

* * *

Бог – в тихом ветре, не желай грозы
И пламени – разящих, беспокойных...
Бог – тихий ветер, светлый ветер в поле
Бескрайнем, полном неги и росы.
Бог – тихий ветер, что пройдет насквозь
И сдует пыль, и одолеет страхи,
Он в облаке, как в голубой рубахе,
Несёт по небу винограда гроздь.

Привыкший плакать, каяться, дрожать,
Себе понятен ты – наполовину...
А Он же – ветер, тот, что дует в спину,
Когда тебя не может удержать.

* * *

Я – фонарь, который Ты зажжёг,
Дунул раз – и вспыхнул свет янтарный...
Может быть, вне чисел календарных
Этот ясный, тихий огонек.
Я – фонарь, горящий вопреки
Тьме ночной, я поджидаю счастье...
Дышит мир стремительно и часто,
А Твои касания легки.
Я – фонарь, и сердце фонаря –
Это свет и ничего иного...
Если станет сказанное слово
Светом, значит, я живу не зря.

* * *

Синий лёд колокольного звона,
Быстро тающий в пламени дня...
Этот миг – непоседа ворона,
Что притихла в руках у меня.
Чернокрыло нахохлясь, заснула,
Жёстким клювом души не дробя,
И тогда я ладонь протянула,
И чуть слышно коснулась Тебя.
А ворона во сне закричала,
А ворона открыла глаза...
А вороне приснилась сначала
Боль Земли, а потом – небеса.

Сергей ПАГЫН. У окна

Насыплю синичкам корма.
Поставлю на плитку чайник.
Сегодня всё так весомо,
значительно, неслучайно.
И кажется – смотрит кто-то,
и ширится это зреньё.
И словно я жду чего-то –
прощания ли,
прощенья.

МОЕМУ СОСЕДУ

«Приходи, посмотрим в моё окно,
там ночами такое идёт кино –
Бог стоит меж мёрзлых тыквин и кабачков,
ангелы тихо ходят или лежат ничком –
только крылья красным огнём горят,
и они о чём-то радостном говорят,
хоть их речь – лишь пенье одно в конце,
но поют о детстве, матери и отце...».
Я однажды ночью к тебе приду,
и налью вина, разложу еду.
А потом мы выключим в доме свет,
чтоб увидеть то, чего в мире нет.
И быть может, ангелы нам споют
про ушедший праздник, былой уют,
нарисуют пламенем мне отца –
снеговых ветров или снов жильца.
Я приду,
включу в темноте окно,
и всю ночь мы будем смотреть кино,
фильм про то, чего в мире нет...
В огороде Бог зажигает свет.

* * *

Если долго сидеть у окна,
можно с ним потихоньку сродниться,
стать прозрачным...
И будет зима
сквозь тебя всё смотреть, и дивиться
раскалённой печурке в углу,
молоку и домашнему хлебу,

прислонившись к живому стеклу,
словно лбом, примороженным небом.

* * *

Л. Б.

Сколько солнца нынче, сколько света!
Господи, за что даётся это –
щедрое последнее тепло,
яблоко без признаков изъяна
и синица в зарослях бурьяна?
Словно время наше протекло
сквозь осенний истончённый ситец,
и в остатке только свет да птицы,
да ветров окрестных круговерть.
Вот и сад распахнут и расхристан.
И мы дышим воздухом пречистым,
забывая, избывая смерть.

* * *

Мама не спит ночами,
видно, не спится ей.
Ищет халат с ключами
от голубых дверей
дома, что стал уж прахом.
Ходит, тревожит тьму.
Ищет отца рубаху,
чтоб отнести ему.
Я говорю ей:
– Мама,
мама, ложись в кровать.
Ночь на дворе, и рано,
рано ещё вставать.
Завтра пойдём с тобою –
будет сентябрьский день
с небом, скворцом, листовою,
лёгкий, как будто тень...
Можно во тьме без страха
слёзы стереть с лица...
– Только возьмём рубаху
тёплую для отца.

* * *

Август высветлил нас до прожилок,
прояснил, как живём мы и жили,
на невидимых взвесил весах,
и нашёл, что легки и мгновенны.
И не будет уже перемены,
даже если метели в глазах
лепестковые ли, золотые,
даже если ветра снеговые
продувают замедленный взгляд,..
Мы легки как тончайшие нити,
словно пламя чудесных наитий
или в зеркальце детском закат.

АПРЕЛЬСКОЕ

Полным полно и воздуха, и пчёл...
И часть межги плывёт как будто чёлн,
поднявший нежный розоватый парус –
чуть выгнутый под ветром абрикос,
среди двух миров ...
И свет высокоросл
и так широк,
что смерти не осталось.

В АВТОБУСЕ

Я в небо смотрел – на закатную реку,
и жадный мой взгляд был подобен побегу
от этих пустынных холмов,
лениво за грязным стеклом проходящих,
от этих бесснежных полей полуспящих,
от этих печальных домов.
Я долго смотрел...
А река разливалась,
она молодела, она улыбалась,
горя под закатом иным...
Звезду разжигал человек молчаливый
у тучи, похожей на старую иву.
Я рядом безмолвствовал с ним
в предчувствии детском нетронутых далей...
И лодку на привязи волны качали...
Но вспыхнул в салоне тут свет!
– Смотри, не прохлопай свою остановку, –

качаясь в проходе с промасленным свёртком,
сказал мне дорожный сосед.
Я вышел,
и был всеобъемлющий ветер,
и было темно и беззвёздно на свете.
И шёл в полуяви домой,
родную дорогу едва узнавая,
как будто ещё не покинул я края
с горящей рекой молодой.

* * *

Снег летит, улетает куда-то,
где он – ласка и где он – отрада,
где легки и приветливы зимы,
где мы любим и где мы любимы.
Снег летит...
Ну, а нам остаётся
недопитая радость на донце,
в небе лодочкой музыка эта,
зачерпнувшая горького света.

Эдуард УЧАРОВ. Запретный язык

* * *

Не скрипнет засыпающий засов –
лишь маятник потрёпанных часов,
вися на волоске, качнувшись в полночь
от шестерёнок звёзд и сна пружин,
назойливо комариком кружит,
колёсиком звенит тебе на помощь.
Ну что за жизнь в бессмертии таком?
Под мерный стук ты возишься с замком,
проклятых стрелок приближая залежь.
Убив кукушку, смерть не обмануть –
макнёшь перо в сиреневую муть
и облако над домом продырявишь...

* * *

...и у нас в России рождался бог –
то ли был с Толстым, то ли с Достоевским,
но всегда в такие подтексты влёт,
что нам в эти бездны и падать не с кем.
Он такую трудную правду нёс
и такие истины словом плавил,
что распял себя, и себя вознёс,
и был принят нами как новый Авель.
Вот невинной крови забрезжит свет,
полоснёт по сердцу строкою рваной,
и вот эта кровь, что на всё ответ –
навсегда излечит людские раны.
Вновь придёт творец, и его свеча
озарит поэтовых домочадцев.
Ах, какое счастье: молчать, молчать –
и до бога нового домолчаться.

* * *

Сон бумажный смят и брошен
в неразбитое окно,
он давно уже раскрошен
на кино и не кино.
Отмотай немного плёнку:
скоро кофе закипит.
По столу ползёт клеёнка,
зайчик солнечный летит.
Перья в бок, строка на лыко,

я ещё не этим шит.
Мышью буквы не накликал,
горе в горле не першит.
Вот и здравствуй, постоянство.
Не вино, так всё равно.
И унылое пространство
рубят шашки домино.

* * *

Перейдя на запретный язык,
потрясая основы,
плавильшь горлом немые азы
в клеткот странный и новый.
И когда инородную вещь
больше выплакать нечем –
голос твой вдруг становится вещ,
буквы разве что мельче.

* * *

Кессонной ночью, влажной и млечной,
всплывая к высотам рыб,
в крови закипают стихи,
конечно,
когда ты уже охрип.
И воздух хватая рукой бумажной,
цепляясь за звёздный грунт,
стихи разрывают висок,
и каждый
вздымает мёртвую грудь.
И бьётся плавник о поверхность стали,
и вывернут странно рот
у тех, кто поверх перископной дали
проходит по небу вброд.

* * *

В клещах делового дензнака,
в тисках неусыпной тоски –
и зычный косяк Пастернака,
и водочный хвостик трески,
и пни ослепительных буден,
что с тёмной аллеи видны,
и всем расплатившийся Бунин
за все окаянные дни,
и чёрное небо запоя,

и солнца счастливый глоток,
и первой строки громобоя
по сердцу пропущенный ток,
и всё, что случилось, и точно
уже не наступит весной –
всего лишь последние точки
над буквой поющей седьмой...

* * *

Окно – милосердное эхо
погасших квадратных небес,
для беглой свободы прореха
во мрачной квартире словес,
колючая прорубь в иное,
что острою рябью стекла
моё любопытство льняное
вспороть до затылка могла.
Окно – путеводная нитка,
ведущая в пропасть ушка –
как первая к смерти попытка
последнего в жизни прыжка,
и млечная оторопь света,
и ночь задушевной брехни,
в губительный мир без ответа
раскрытые настежь стихи.

Елена ДАНЧЕНКО. Мой младший брат Петричек. Рассказ

Когда я была маленькой, мы с мамой почти каждое воскресенье ездили в гости к тете. Семья тети жила на старой мощеной бульжником кишиневской улице Киевской, на которой до сих пор стоят изящные дома еще румынской постройки. Наш с мамой путь лежал мимо дома с полуподвальным жилым этажом, который называется французским словом сутерен. Окна такого этажа поднимаются над асфальтом только наполовину, и когда я однажды заглянула в те окна, то обомлела – там жила сказка. За стеклом я увидела большую вольеру для птиц, полную самых разных пташек. Разноцветные, они выглядели драгоценными камнями в полутьме, только камни неживые, а птицы щебетали, кричали, пели, свистели, хлопали крыльями... Волшебная комната была уставлена кадками с фикусами, по стенам ее вились лианы, а с потолка свисали цветные кольца.

С тех пор мой детский восторг перед попугаями остался на всю жизнь. Став постарше, учась уже в средних классах школы я твёрдо решила, что хочу завести попугаев. Квартира наша была небольшой, и я попросила папу (маму просить было бесполезно) подарить мне на день рождения двух или хотя бы одного – ну хоть самого малюсенького! – попугайчика. Папа заговорщически подмигнул и в назначенный день на подоконнике моей комнаты стояла клетка с двумя волнистыми попугаями, тайно от мамы купленными на птичьем рынке. Я радовалась безмерно, а они – зеленый и голубой комочки – сидели нахохлившееся, невеселые, топорща перышки на грудках. Я насыпала птицам корм, налила воды в поилку, но они даже не притронулись к еде, только чуть попили. Через два дня птицы погибли.

Позже я узнала, отчего умерли мои птички. Они были простужены. Папа и я тогда не знали, как выбирать попугаев при покупке, как отличить здоровых от больных. У здоровых попугайчиков перья прилегают плотно к телу, глаза живые и блестящие, крылья не висят и прижаты к туловищу, на восковице клюва нет никаких наростов.

А может быть на моих птиц плохо повлияла клетка? Я хорошо ее запомнила – нарядная, из медных прутьев. Знать бы тогда, что медная клетка смертельно опасна для птиц!

Еще одна версия: птицы могли простудиться. Дело было не самой теплой весной, дул холодный ветер, а папа вез попугаев через весь город, даже не обернув клетку одеялом или полотенцем... Что сейчас об этом вспоминать?..

Пять лет назад, в погожее майское утро, когда наша семья садилась за стол завтракать, в форточку влетел... нет, даже не влетел, а будто съехал с горки на санках и остановился прямо посередине обеденного стола маленький гость. Это был волнистый попугайчик

с желтой грудкой и синим хвостиком. Сверкнув крошечным глазом-бусинкой, он представился:

– Петричек. И тут же добавил:

– Хочу кушать!

Вот это да! Мы застыли в изумлении: мало того, что пернатый гость назвал свое на чистом русском языке, он еще и есть попросил. И как вовремя появился – как раз к завтраку!

Мама подала Петричку молочную кашу на блюде, потом поставили тарелки пред отцом и мной. Попугай поклевал кашу, затем вспорхнул и принялся исследовать наше жилье: походил у стола, потоптался у плиты, перебрался в прихожую, и – полетел по квартире. Мне было уже не до завтрака. Я закрыла все форточки в доме, попросила их пока не открывать и, стрельнув у папы денег, помчалась в зоомагазин. Там, посоветовавшись с продавцом, купила никелированную клетку с выдвигаемым поддоном и кормушкой. Еще я купила зерновую смесь и минеральную подкормку (толченый мел и промытый речной песок). Поехала домой, оставила там покупки и помчалась в библиотеку, в которой оказалась очень своевременная книга А.И. Рахманова «Попугаи».

Засев в читальном зале, принялась черпать знания. Узнала, что если попугайчиков кормить неправильно, они болеют. Основа их питания зерно, прежде всего просо, затем овес, зерна которого надо частично парить. Годятся зерна пшеницы и ячмень. И совсем немного надо давать орехи, семечки подсолнуха. И каша, которой мы накормили Петричку утром должна появляться перед его клювиком не каждый день, а, скажем, раз в два-три дня. Не чаще можно давать птице желток крутого яйца, творог, белый хлеб, сухари. Я узнала, что волнистые попугайчики очень любят фрукты, зелень, овощи – все это можно предлагать им в неограниченном количестве. И минеральные корма должны быть в клетке.

Попугайчик, оказывается, малоежка – съедает только полторы чайной ложки корма в день. А вот класть корма (основной, минеральный, добавочный и овощной) надо отдельно и всегда в одно и то же время.

Вода в поилке всегда должна быть чистая и комнатной температуры, менять ее надо ежедневно и следить, чтобы в поилке не скапливалась слизь.

Вот сколько знаний я почерпнула за один присест! Не так и просто содержать попугайчика, целая наука. Но самым удивительным было сообщение о том, что волнистые крохи мало обучаемы и, в лучшем случае, они могут произносить два-три слова. Ну, тогда к нам залетел гениальный птах! Он умел готовить многие фразы и всегда кстати. Кога мы ели, он просил: «Хочу кушать!» или: «Дайте мне кашки!»

Когда папа читал газету, Петричек садился к нему на плечо и

спрашивал: «Ну что там еще?». Попугайчик здоровался, прощался. Позже мы научили его фразе: «Ну что же ты?» На редкость говорливой птичкой он оказался!

Отношение Петричека к членам нашей семьи у него разное. Папу он уважает, но больше всех любит маму. А уж мама... Эх, да что там говорить: с тех пор, как птиц поселился у нас, я потеряла статус единственного ребенка в семье. Любимым и «единственным» стал Петричек. Я не знаю, кто он больше – баловень или баловник. Будто младший братишка у меня появился, заколдованный в птичку. И ко мне, кстати, он относится как к старшей сестре: и слушается не очень (скорее, делает вид), и пошалить норовит – то на книжку сядет, когда я ее читаю, то перед зеркалом начнет летать именно тогда, когда я в него смотрюсь. Ни маме, ни папе он такого не устраивает, безобразник Петричек!

Есть у нашего малыша свои игрушки. Среди них пустая молочная посуда и трехлитровая банка, стоящие на подоконнике. Он перешагивает с бутылки на бутылку, а в банку ныряет, потом, чуточку побарахтавшись, вылезает из нее, нахохлившись.

Волнистые попугайчики очень любят купаться и наш не исключение. Каждое утро я прикрепляю купалочку с чистой водой к специальному отверстию в клетке. Вода, конечно, комнатной температуры. Еще наш птах любит, когда его купает под краном мама. Он садится к ней на руку, передвигается на ладонь, и когда струя воды льётся на пальцы, а брызги рикошетом летят на Петричека, он прямо нежится в них, поворачиваясь то одним, то другим боком. После такой водной процедуры, отяжелев от бисерных капель, сидит в ванной на полотенце и сохнет.

Сейчас, когда я пишу эти строки, Петричек летает рядом и норовит сесть на бумагу.

– Только этого еще не хватало! Уйди отсюда, не мешай!

Попугай всматривается в бумаги и вдруг говорит:

– Петричек – хороший мальчик!

Я смеюсь и соглашаюсь с ним.

Лев Альтмарк. Чёрные пески. Рассказ

В последнее время Якову всё чаще снились эти чёрные пески. Ничего особенного связано у него с этими песками не было, просто, наверное, подошёл возраст, когда больше вспоминается то, что было когда-то давно, в детстве, например, или в юности, а вчерашнее или сегодняшнее благополучно куда-то исчезает.

Сюда его родители впервые привезли ещё в шестидесятые годы пятилетним мальчишкой, и необычность этих загадочных чёрных, тянущихся от горизонта до горизонта пляжных песков врезалась ему в память, поэтому он спустя почти сорок лет сам захотел приехать

сюда. Уже в другую страну и совсем другим человеком. Для чего ему нужна была эта сельская грузинская глубинка со смешным названием Уреки, он не ответил бы, ведь было же вокруг, в пределах досягаемости, столько роскошных курортов с высочайшим уровнем обслуживания, современными отелями и кучей развлечений, каковых тут и представить не могли, а здесь... Здесь был только прежний берег с чёрными песками, посёлок, состоящий из довольно потрепанных домов и немногочисленных санаторных корпусов, один магазинчик у дороги, работающий неизвестно когда, и... всё, пожалуй.

Яков всегда снимал одну и ту же небольшую двухкомнатную квартиру у знакомой хозяйки, обязательно с окном, выходящим на море, и чтобы непременно рядом покачивали своими мохнатыми лапами высокие тёмные сосны, а в распахнутое окно доносился ровный шум волн и запах моря.

Кроме запаха моря, здесь всегда пахло каким-то пряным варевом, которое постоянно готовила хозяйка по имени Маргарита, и жила она в угловой квартирке в том же доме. Мужа её Яков никогда не видел, потому что тот работал где-то в Турции и приезжал домой лишь зимой, когда сезонная работа там заканчивалась, а отдыхающих в их домике не было.

Якову и не нужна была компания, ни с кем знакомиться он не собирался. Он видел, как другие приезжали с семьями, друзьями, и постоянно у них дымились на берегу мангалы, звенели стаканы с добрым грузинским вином, раздавалась музыка и смех. Ему же ничего этого не хотелось – у него всего этого было в избытке и дома. В его большой гостеприимный дом в кибуце на границе с враждебной Азой, где он жил уже добрые полсотни лет, почти на каждые выходные приезжал кто-то из детей с семьёй, с утра до ночи повсюду стоял гам и детские крики, и хоть он никуда от этого не бежал, но хотя бы раз в году ему хотелось абсолютно полной тишины и покоя. Поэтому он и собирался в конце купального сезона, когда поток туристов спадал, и улетал на пару недель в Грузию, где в опустевших Уреках его уже ждала Маргарита, приготовившая квартиру для постоянного клиента, от которого заранее получала весточку.

Жена один раз съездила с ним, но ей быстро наскучило однообразие и тишина малолюдного посёлка. Тем более, на пляж иногда забредали коровы местных жителей погреться на магнитном песочке и оставляли после себя плохо различимые лепёшки. Угодив пару раз в них ногой, жена наотрез отказалась приезжать сюда следующий раз. Её вполне устраивали средиземноморские пляжи с белым просеянным песочком, без «подарков» под ногами.

...Вот и сейчас он вспомнил свои чёрные пески, и ему отчаянно захотелось каким-то волшебным образом снова оказаться на них, неспеша походить босиком по мягкой упругой подушке, просеивая

пальцами босых ног крупные тёплые песчинки, закатать штанины и усесться, зарыв колени в песок, а потом и вовсе упасть навзничь, чтобы сквозь полу зажмуренные веки следить за редкими птицами, пролетающими над ним. Но пока об этом можно только мечтать.

Яков пошевелился на своём продавленном грязном матраце, и сразу же тупая ноющая боль прокатилась по растрёпанным окровавленным бинтам, стягивающим ноги от колена до ступней. В темноте маленькой, заваленной какими-то пыльными досками и пустыми вёдрами каморки, где он сейчас находился, было душно и сыро.

Сколько дней он уже здесь находится? Яков даже со счёта сбился. Наверное, неделю, не меньше. А может, и больше, потому что ему было трудно следить за временем. В этой дурацкой кладовке было одно-единственное окно, наглухо заколоченное досками снаружи, и если приглядеться, то можно было заметить сквозь щели скупые отсветы. Но утро это было или вечер, понять было невозможно. Да и следить за этим он уже давно перестал.

Ни часов, ни телефона у него с собой не было – да и о чём тут говорить, когда его поначалу избили настолько жестоко и бессмысленно, что он потерял сознание не столько от боли, сколько от обиды и бессильного гнева, и сколько пролежал в беспомощности, не знал. Били-то его поначалу в собственном доме, а куда перетащили потом, понятия не имел. Очнулся уже на этом грязном, вонючем матраце и долгое время не мог опомниться, всё ещё не представляя, что произошло на улице, какое он к этому имеет отношение, и, вообще, что это за безумие – поднимать руку на совершенно незнакомого человека?!

Очень сильно болели ноги, по которым били железным прутом и, кажется, их даже переломали. Незнакомый парень в палестинской куфие с замотанным лицом, который бил его, объяснил на ломаном иврите:

– Чтобы ты, старик, не убежал! Не беспокойся, тебе ноги уже не понадобятся!

Единственное, что в тот момент понял Яков: произошло что-то страшное и невообразимое, и эти люди, одним из которых был этот парень, раньше находились за разделительным забором, но в тот день каким-то чудом вырвались наружу и схватили его. Одного лишь его схватили или ещё кого-то, он не знал, потому что даже понятия не имел, что происходило на улице. Поначалу, когда он ещё был в своём доме, донеслись многочисленные выстрелы и крики людей на улице, но продолжалось это недолго, потому что он потерял сознание от удара прикладом автомата по лицу, когда эти люди ворвались в его дом. Что происходило дальше, и где сейчас его жена, он понятия не имел, потому что очнулся уже здесь, в этой душной крохотной

комнатке. Тут было тихо, до безумия тихо. Немного саднила разбитая прикладом скула, но не это страшило. Самым страшным оказалась неизвестность.

Время тянулось бесконечно, и он даже представить себе не мог, как это тяжело – лежать в полной темноте и общаться только с собственной болью и бесконечным одиночеством, к которому, оказывается, так и не привык. Единственное, что его спасало, это воспоминания о чёрных песках – как забытье или уход в иную реальность. По молодости он объездил почти всю Европу, но вспоминать о тамошних достопримечательностях почему-то совсем не хотелось, а хотелось только отмеривать неторопливые шаги, зарываясь по щиколотку в чёрный тёплый песок, бездумно расхаживать по нему и не отводить от него взгляда...

Первый раз, когда Яков приехал в Грузию, уже став израильтянином, он отправился с туристической группой в эти места и неожиданно прикипел к ним душой. Через несколько дней отказался от экскурсии на водопады и поехал на чёрные пески уже самостоятельно. Водитель по имени Джамал оказался довольно симпатичным и разговорчивым мужичком, который всю дорогу рассказывал со смешным грузинским акцентом обо всём, мимо чего они проезжали, но по-настоящему Яков разговорился с ним лишь после того, как они растянулись на пляже на полотенце, принесённом запасливым Джамалом из машины, и тот принялся ему рассказывать о здешних местах более обстоятельно.

– Видишь горный перевал, – указывал он пальцем на темнеющие за спиной горы, – за ним граница с Абхазией. Раньше там была тоже наша земля – Сакартвело, то есть Грузия, но во время последней войны до неё со стороны Абхазии дошли российские танки и остановились. Они очень сильно обстреливали нас оттуда, и многие дома были разрушены, а люди погибли, но за перевал танки почему-то не пошли. Видно, их начальники так решили. А ведь могли захватить всё вплоть до Батуми, потому что у нас уже всё было на исходе – и оружие, и боеприпасы, и много военных погибло, а мирные люди ушли из своих деревень... Будешь гулять по поселению, обрати внимание на стены, особенно со стороны перевала. Там до сих пор выбоины от снарядов остались...

Яков молча слушал, не решаясь перебить Джамала, хотя ему очень хотелось спросить, чем же абхазы за перевалом отличаются от аджарцев и остальных грузин, если потребовалось такую славную и гостеприимную страну разрубать по-живому искусственными границами? Кому от этого стало лучше? И сразу же понимал, насколько такой вопрос наивен и даже глуп, ведь совсем другие страны, более сильные и могущественные, кроют карты и продвигают какие-то свои интересы. Да и только ли в одной Грузии творилось такое? Если бы у нас, на Ближнем Востоке и в Израиле, происходило

по-другому, а то ведь почти так...

После этого каждый раз, когда Яков приезжал сюда, он невольно время от времени поглядывал на горный хребет, за которым лежала Абхазия, и ему каждый раз казалось, что оттуда, с границы, всё ещё доносится еле слышно шум не умолкающих до сегодняшнего дня российских танков. Но всё было, к счастью, спокойно – привычно шумело море, тяжело перекатывая в волнах прибоя чёрный песок, пели в листве деревьев птицы, смеялись дети, звенели бокалы, и необычное спокойствие, ради которого он ехал сюда, привольно расстилалось повсюду. Лишь сердечко иногда подрагивало тревожно, словно не до конца доверяло здешнему покою и тишине.

Он рано ложился спать и долго наблюдал из окна, как уже утонувшее в море солнце прячет свои последние отсветы в темнеющих и постепенно сливающихся с чёрным песком волнах. Лишь мелкая серебристая рябь самой последней гасла на воде, чтобы такая же чёрная, как песок, беспросветная громада ночи наваливалась тяжёлой тушей до утра на берег...

Изредка к нему в каморку заходил отец парня в куфие, который избивал Якова железным прутом. Сам парень здесь больше не появлялся. Старик молча приносил Якову чёрствую питу с каким-то сухим домашним сыром и бутылку с водой. Никакой другой еды он больше не получал.

Как-то Яков не выдержал и, не очень надеясь на то, что старик, кроме арабского, знает ещё и иврит, спросил:

– Объясни, зачем меня здесь держат? И вообще, что вокруг происходит? Я же ничего не знаю! Кто вы такие?

Старик молча пошарил по стене у двери и щёлкнул выключателем. Под потолком вспыхнула маленькая пыльная лампочка, висящая на проводе без плафона. Каморка осветилась неярким желтоватым светом. Глаза Якова давно отвыкли от света, поэтому он сперва зажмурился.

– Кто мы? – переспросил старик, неожиданно заговоривший на неплохом иврите. – Разве не догадываешься? А находишься ты сейчас в Бейт-Лакие. Знаешь такой город в Азе? Ты сейчас у нас, – старик невесело хмыкнул, – гостишь...

Яков молча кивнул и снова попробовал что-то спросить, но старик отрицательно покачал головой:

– Лучше тебе помалкивать, чтобы не услышал сын, а ведь он хочет вступить в Хамас, и тогда снова придёт, чтобы тебя бить. Он вообще хотел тебя убить и не тащить сюда, но ему объяснили, что лучше заложника всё-таки приберечь и потом получить от израильтян выкуп. А может, ему и в Хамасе за тебя денег дадут.

Яков попробовал пошевелиться, но резкая боль в ногах заставила его поморщиться. Старик заметил это:

– Я тебе перевязал ноги, как мог, когда ты был без сознания. Они наверняка переломаны. Сыну сказали так сделать для того, чтобы ты не сбежал...

– Сколько времени я уже у вас? – насупился Яков.

– Четвёртый день. Только не спрашивай, сколько времени тебе ещё придётся провести здесь...

Уходя, старик виновато пожал плечами и пробормотал:

– Прости, не могу тебе свет оставить. Сын узнает – скандал будет. Лучше полежи в темноте. Я, может быть, найду тебе какие-нибудь лекарства, но не обещаю...

Некоторое время он сидел молча, потом, когда за стеной хлопнула дверь и раздалось чьи-то голоса, забеспокоился:

– Сын вернулся. Пойду я, а то он ругаться будет, что к тебе хожу.

– Как тебя хоть зовут? Как к тебе обращаться?

– Зачем тебе это? – оглянулся старик, но всё же сказал. – Фархадом меня зовут...

У Якова поднялась температура, и он это чувствовал по горящим щекам и по тому, что голова теперь кружилась даже когда он лежал неподвижно и не шевелился. Иногда ему казалось, что находится он уже не здесь, в этой убогой тёмной каморке среди пыльных досок и пустых вёдер, а глубоко зарылся в тяжёлый чёрный песок, который не даёт ему пошевелиться.

Он перебирает пальцами крупные песчинки, прилипающие магнитиками к металлическим предметам, и те приятно согревают ладони. В двух шагах от него – тяжелые, почти фиолетовые лапы сосен, и когда их колышет ветром, то солнечные лучики словно пробегают по нему, и от этого становится спокойно, и никуда уходить не хочется.

Говорят, что эти чёрные пески излечивают от кучи болезней, и если на них погреться, то проходит радикулит и суставы перестают болеть. Наверное, это так, но Якову всё никак не удавалось это проверить. Просто он никогда не мог усидеть на месте, и вечно его куда-то тянуло. Таким он был непоседой всю свою жизнь. Ему казалось, что когда сидишь неподвижно и ничем не занимаешься, то бесцельно тратишь отпущенные годы. Ну, уж если не годы, то хотя бы часы или минуты, которых может не хватить на что-то нужное и необходимое.

Каждый день, находясь в Уреках, он бродил по пескам от дальних камней, которыми заканчивался пляж, до санаторной ограды, отделяющей общественный пляж от санаторного. Это было довольно большое расстояние, к тому же по горячему песку идти босиком было тяжеловато. Приятная усталость не тяготила его, а, наоборот, радовала, тем более, трудностей он, старый испытанный кибуцник, никогда не боялся. Приходилось ему в молодости трудиться и в поле под палящим

солнцем, а потом, когда он пересел на трактор, тоже приходилось попотеть изрядно. Даже когда он закончил бухгалтерские курсы и большую часть дня проводил в офисе, легче ему не стало. Но всё это он воспринимал, как должное. Значит, такая ему отпущена судьба. Он даже иногда представлял свой последний час и очень хотел, чтобы смерть настигла его не в кровати замученным болезнями и врачами, а по дороге куда-нибудь, в полном здравии и рассудке... Вот только помирать в каком-то грязном сарае всеми брошенным и забытым он не собирался. Впрочем... кого интересует, что он собирался?

Казалось, время для Якова теперь остановилось. Его уже не интересовало, пробиваются ли солнечные лучи в щели сквозь доски на окне или нет. Он даже есть почти не хотел, и всё чаще пита с комком сыра, принесённые Фархадом, оставались нетронутыми, а воды из бутылки он отпивал всего несколько глотков. Когда был жар, то пить хотелось больше, а сейчас, когда жар почти спал, уже и неизвестно, что с ним происходило. Только смачивал губы, пока были силы дотянуться до бутылки.

Ног он больше не чувствовал, и это было хорошо, потому что боль успокоилась окончательно, и ему казалось, что ноги превратились в какие-то неподвижные бесчувственные брёвна. Как-то Фархад заглянул к нему и невольно поморщился:

– Фу, как от тебя несёт какой-то гнилью! – он включил свет и посмотрел на ноги Якова, потом покачал головой и отвернулся. – Я хотел их ещё раз перевязать, вон, даже чистые бинты принёс, но, чувствую, это не поможет. В больницу бы тебя отправить к настоящим врачам, пока ты до конца не сгнил, только сын не даст. Он говорит, что отдай тебя в чужие руки, то потом не вернут, и денег мы не заработаем. А деньги нам нужны – у меня кроме сына ещё три дочери... А у тебя сколько детей?

Но Яков ослаб настолько, что говорить уже не мог, да и не хотелось ему рассказывать о своей семье. Он лишь прошептал что-то невнятное и закрыл глаза. Даже с единственным своим собеседником Фархадом разговаривать ему не хотелось, а больше всего хотелось хотя бы во сне вернуться на чёрные пески, которые беспрерывно стояли в его глазах – то ли снились, то ли каким-то чудом каждый раз по желанию появлялись наяву. Несмотря ни на что, Яков всю жизнь наивно верил, что если очень захотеть, то желаемое наверняка станет реальностью...

– Ну, как хочешь – обиделся Фархад – хотел с тобой немного посидеть, пока сына нет дома, но теперь пойду к себе. Оставайся один...

Некоторое время он постоял в дверях, прикидывая, наверное, что ни один нормальный человек не станет отказываться от возможности с кем-то пообщаться, только бы снова не погружаться в надоевшую

кромешную темноту и тишину, но ответа от пленника так и не услышал.

Спустя несколько дней – или это были не дни, а часы или даже минуты? – откуда-то издали послышались взрывы. Яков слегка очнулся от своего всегдашнего полузабытья и прислушался. Сперва взрывов было немного, а потом они усилились и стали громче.

– Наши бомбят, – лениво подумал он, – наверняка авиация в воздухе и артиллерия. Ну, вот и дождался – скоро придут и вытащат меня отсюда...

Чего он дождался, объяснить было трудно, потому что прекрасно понимал – если авиабомба или снаряд угодят в дом, где его прячут, то никому не поздоровится. Оставалась надежда, что если армия вступила в этот городок Бейт-Лакия, то десант начнёт прочёсывать дом за домом, пока на него не наткнутся. Надежда на это, конечно, слабая, потому что не для того его прятали столько времени, чтобы без боя вернуть своим, но больше надеяться было не на что.

И хоть Яков был человеком нерелигиозным и даже представить себе не мог, что однажды вспомнит о Вс-вышнем, но тут он, неожиданно для себя, принялся горячо молиться и даже попробовал привстать со своего матраца, но у него ничего не получилось. Он что-то шептал сбивчиво и еле слышно, а ему казалось, что он кричит в полный голос полузабытые слова молитв, которые слышал в далёком детстве от деда. О чём он просил? Нет, не о своём спасении – уж он-то только сейчас окончательно понял, что жизнь его на исходе, и большой беды не случится, если он покинет этот свет. Он молил Вс-вышнего покарать самой суровой карой тех, кто поднимает руку на ближнего и покушается на чужую жизнь. Вот в чём высшая справедливость по-настоящему – не в каких-то заслуженных или незаслуженных благах, а в воздаянии за свершённое и в неотвратимой каре за грехи.

Яков даже ещё не знал, что происходило снаружи всего несколько дней назад, но каким-то шестым чувством догадывался об этом по настороженному состоянию Фархада и его смертельной боязни собственного сына. Он неплохо знал арабов, но то, что происходило с ними сегодня, было необъяснимо. Наверняка случилось что-то невообразимое и страшное, чего раньше никогда не случалось.

После молитвы Яков обессиленно закрыл глаза и с трудом поднёс к ним руку. Оказывается, он плакал. Настоящую причину своих слёз он не объяснил бы, но ему было бесконечно горько за то, что он бессильно распластан сейчас на этом вонючем матраце и рядом с ним нет никого, кого он любил и лелеял, а кроме того втайне надеялся, что и они отплатят ему за свою любовь ответной любовью и привязанностью... Ничего этого не было, а была лишь душная темнота, которая никак не хотела рассеиваться или, на худой конец, окончательно слиться с чёрными песками, которые пока никуда не

уходили, а были рядом – только сделай шаг, чтобы погрузиться в них, отсечь от себя грязь и мерзость окружающего, но как этот шаг сделать, как?!

Взрывы за стеной дома то стихали, то нарастали, но ничего не менялось, и это тянулось бесконечно. Яков старался заснуть, чтобы ничего не слышать. Тысячу раз он уже представлял, как это случится, но ему не было страшно, если бомба или снаряд попадут в этот дом. Может, так оно будет и лучше – мгновение, вспышка, и всё исчезнет, больше ничего не будет – ни боли, ни этой гнетущей темноты, ни надоевшего старика с его нытьём. Но бомба пока не прилетала.

Как ни странно, но, слушая далёкие и близкие взрывы, Яков немного ожил, принялся прикидывать, что творится сейчас на улице. Нужно всё-таки понастойчивей расспросить старика. Пускай расскажет обо всём, что знает, ведь Якова опасаться ему нечего. Что может сделать пленник с переломанными ногами?

Спустя пару дней в каморке неожиданно вспыхнул свет, и в дверях, наконец, появился Фархад. Он не присел в двух шагах, как обычно, на корточки перед лежащим Яковом, и в руках у него не было пластиковой тарелки с пищей и сыром, а подмышкой – пластиковой бутылки с водой. Старик молча и неуверенно прислонился к стене и, царапаясь спиной о шершавую поверхность, медленно сполз на пол и низко опустил голову. Яков с интересом принялся рассматривать его, а потом спросил чуть слышно:

– Что случилось? Какие-то неприятности?

Пожалуй, впервые за последнее время у него на сердце стало сперва тревожно, но не страшно, а потом даже немного радостно. Если у твоих врагов – а разве этот араб со своим сыном ему друзья? – случились какие-то неприятности, то это же хорошо. Учитывая взрывы за стеной, можно представить, что это за неприятности. Тут и не надо быть семи пядей во лбу.

– Сын... Сын погиб, – плаксиво протянул Фархад и даже закашлялся от душасей его слюны. – Я ходил его по улицам искать, потому что он уже несколько дней не появлялся дома, и мне его друзья обо всём рассказали. Говорят, что его в одном из зданий при прямом попадании этой чёртовой израильской авиабомбы завалило. Проклятые сионисты... Кто мне вернёт моего мальчика?

– Может, когда станут разбирать завалы, его вытащат? – Яков даже почувствовал некоторые силы, и, с трудом сдерживая довольную улыбку, поднял голову, чтобы получше разглядеть плачущего старика.

– Куда там... Кто эти горы мусора станет сегодня разбирать? – и прибавил на всякий случай: – И в туннели с Хамасом он не ушёл, я это точно знаю.

– Почему?.. Расскажи всё-таки, что произошло? Почему вас бомбят так сильно? И как вам удалось меня похитить?

– Думаешь, я знаю больше, чем ты? Я же простой человек, без образования, всю жизнь трудился повсюду, где удавалось заработать копейчку. Одна надежда была на то, что сын выучится и станет большим человеком, врачом или адвокатом, а дочек замуж выдам. И вот, не успел... Ничего не успел!

Он закрыл лицо ладонями и глухо, уже не скрывая, зарыдал.

– А где сейчас твоя жена и дочери?

– Не знаю. Остались где-то у развалин, всё не могут успокоиться – пытаются сына найти. Какая мне теперь разница, где они, если сына больше нет?!

«Ну, и нравы у них однако!» – присвистнул про себя Яков, но вслух сказал:

– Что теперь собираешься делать?

На самом деле ему было совершенно безразлично, что ждёт Фархада впереди, и спросил это он, скорее, по привычке. Ни слова не говоря, старик подхватился и выскочил наружу, даже не прикрыв за собой дверь.

Некоторое время Яков безразлично глядел на светлую полоску, протянувшуюся от двери до его матраца, и даже пытался погладить её указательным пальцем, но не дотянулся. Потом глубоко вздохнул, отвернулся и закрыл глаза. Впервые за последнее время – а время, что он находился здесь, оказывается, было невероятно долгим, почти бесконечным! – ему стало легко и спокойно, как бывает после завершения какой-то тяжёлой и необходимой физической работы. Словно с души какая-то тяжесть спала.

Он лежал и прислушивался к непрерывным звукам разрывов, которые доносились в открытую дверь теперь более ясно, и чем громче они грохотали, тем ему становилось спокойней и отчего-то веселей. Каким-то шестым чувством он догадывался, что Фархад к нему больше не вернётся, а ему нужно лишь немного передохнуть, набраться сил, и он сумеет привстать на свои переломанные опухшие ноги и шаг за шагом выкарабкаться наружу к своим. Он даже знает, куда идти – туда, навстречу к взрывам, уже совсем не страшным, а более похожим на праздничный салют...

Вот только он немного полежит на своих любимых чёрных песках, наберётся от них энергии – и пойдёт. Яков закрыл глаза и сразу увидел себя распластным на горячем чёрном песке. Откуда-то издалека его зовёт квартирная хозяйка Маргарита, чтобы он шёл домой, а уж она угостит его чем-нибудь вкусеньким, чего он ещё не пробовал. К тому же откуда-то потянуло упоительно душистым ароматом жареных шашлыков вперемешку с солонатым морским ветерком, по которому он так соскучился.

– Сейчас, одну минуту, – шептал он и чувствовал на губах откуда-то снова взявшиеся слёзы, – я иду к вам, иду, дождитесь меня...

Но он только зарывался всё глубже и глубже в чёрный сыпучий песок, который набивался в ноздри и не давал дышать. Последнее, что ему удалось увидеть, это расстилающееся от горизонта к горизонту бескрайнее море чёрных песков. Ничего другого ему уже не было нужно...

Александр ШИРОБОКОВ. Ателье. Рассказ

Когда на тебе хороший пиджак, все остальное приложится.
Джорджио Армани

В конце 50-х годов прошлого века мужская мода нас, школьников, интересовала мало. Вернее, совсем не интересовала. Ходили в том, в чём мама велела. Я, например, донашивал старый комплект шерстяной школьной формы. В ней я появлялся и на катке, и на лыжных прогулках, утепляясь, конечно, при этом. Школьные брюки на зимних вылазках заправлялись в полосатые гетры до колен и больше мне ничего было и не надо. Я одевался неприметно и совершенно не выделялся среди сверстников. Короче – я был, как все! Быть сереньким и незаметным полагалось каждому советскому человеку, и взрослому, и малолетке. Однако, моя мама, несмотря на то, что она с отличием закончила без отрыва от производства курсы марксизма-ленинизма, так не считала.

– Сынок, ты одет настолько убого, что без слёз нельзя смотреть! У тебя же родители инженеры, а выглядишь, как лаццарони (оборванец, итальянский яз.) Мамочка! Я не хочу выделяться, не хочу быть стилигой!

Стиляги в то время были объектом критики всех средств массовой информации. Эти молодые граждане носили коки на голове, яркие и пёстрые одежды, узкие брюки, а ботинки у них были на толстой белой каучуковой подошве, которая при длительной носке стаптывалась и приобретала форму валика по краям ботинка. Ходили стилиги странной, чуть прыгающей, походкой, напевая под нос мотив где-то услышанной заграничной мелодии буги-вуги. Простые советские труженики, экономя буквы и время на произношение, говорили просто: буги-буги, вкладывая в это словосочетание всё своё презрение к образу жизни за бугром. ...Несмотря на мои протесты, мама приняла решение купить мне, по-знакомству, новые полуботинки.

– Вот эти примерь! – сказала она в магазине. О ужас! Это оказались коричневые полуботинки на ... белой подошве.

– Я такие носить не буду! Белая подошва

– Ничего, будешь носить, как миленький, – успокоила меня непреклонная мама.

По утрам или вечерам все приличные люди чистят с любовью свою обувь. Я же с утра перед школой старательно замазывал коричневой ваксой боковые поверхности подошвы, а накануне вечером намачивал свои вьющиеся жёсткие волосы и тщательно их приглаживал, надевая мужскую сетку для волос, – чтобы никакого даже подобия кока не было. Я не хотел походить на стилигу! Утром я с отвращением снова обнаруживал на себе ту же высохшую пышную копну волос, которые и не подумали распрямиться. Это ещё не всё: по

дороге в школу, благодаря лужам на Среднем проспекте, замазанные ваксой боковины моих ботинок снова приобрели омерзительно белый цвет. В школу я приходил глубоко несчастным... Постепенно я стал привыкать к своему изменившемуся внешнему виду, тем более что одноклассники оставили мой облик без комментариев. Но у моей мамы было другое мнение

– Ты в своей школьной форме и даже в новых ботинках смотришься неподобающе, с тобой стыдно идти в гости – буду шить тебе выходной костюм

– Сама, что ли? – удручённо спросил я, предвидя покушение на своё свободное время для бесконечных примерок и закалывания портновских иголок на неподвижно стоящем теле. Моя мама, кстати, прекрасно шила, следуя быстромодеющей женской моде. Но мужской костюм?..

– Нет, поедем в ателье на Суворовском проспекте. Это почти рядом с Московским вокзалом. На автобусе быстро домчимся. А материал на костюм я уже купила! Спорить было бесполезно, тем более, что накануне в школе я получил замечание за поведение и ещё тройку по истории, а дневник мама ещё не успела посмотреть. Никуда теперь не денешься! – А какого цвета будет костюм, мамочка

– Благородного серого. Отличный импортный материал на днях в Гостином Дворе отхватила. Очередь большая была... Поехали, шею вымой и причешись.

В начале Староневского проспекта, – это как бы продолжение Невского, налево уходил Суворовский проспект. Метров через сто мы подошли к солидному зданию с широкими окнами на первом этаже и с красочной вывеской «Ателье» над входом. К этой двери на высоту полутора метров вели каменные ступеньки, а по бокам лестницы располагались вычурные металлические перила чёрного цвета, что подчёркивало несомненную солидность учреждения индпошива. Войдя в просторное помещение, я обнаружил стоящие посередине в некотором беспорядке столы с лежащими на их плоских поверхностях потрёпанные журналы мод, которые лениво перелистывали сидящие с безучастными лицами женщины. Справа виднелись занавешенные входы в тесные примерочные комнатки, куда некоторые дамы стремительно исчезали, бросив журналы.

– Подожди меня здесь, – сказала мама, усадив меня за на стол, а сама отправилась в дальний от входа зал, отгороженный дверью с таинственной табличкой «закройщики».

От нечего делать я пролистал пару журналов с рисунками каких-то тощих улыбающихся тёток, их уже подросших детей и благообразных мужей. Все они были одеты подчёркнуто элегантно. Ничего интересного. «Видать, здесь им и шили», – подумал я.

– А вот и мой сыночек Сашенька! – услышал я, оторвавшись

от журнала. Ко мне подходила мама рядом с довольно высоким и упитанным мужчиной. Саша, познакомься. Перед тобой знаменитый закройщик, самый лучший в Ленинграде, Владимир Иванович Алексеев!

«Откуда она его знает? – мелькнула мысль, – Ведь всё себе мама шьёт сама. Хотя зимнее и осеннее пальто...»

– Вы мне льстите, Ольга Петровна, я заурядный закройщик, по-простому, обычный портной, – правда, немного известный в театральных кругах, – чуть смутившись, добавил закройщик. Это был довольно высокий статный мужчина с холёным властным лицом. На щеках его я отметил неестественный лёгкий румянец, а когда он приблизился ко мне в примерочной, опутывая портновским метром, я ощутил слабый, чуть сладковатый запах коньяка. Так паховало от некоторых наших домашних гостей после застолья... – Теперь ещё одна примерка и костюм будет готов, – успокоил меня закройщик, – На примерку можешь приехать один. Мама нам здесь не будет нужна.

Понятно, что на эту примерку мама поехала со мной. Назначенный портным день примерки, оказался для меня очень удобным. Это была среда, когда занятий в школе рабочей молодёжи не было, а моя рабочая смена токаря заканчивалась, как у малолетки, в середине дня. Владимир Иванович при встрече учтиво пригнул голову, приветствуя маму, и снисходительно пожал мне руку. Потом он сообщил, что будет, к сожалению, занят минут сорок и попросил подождать. Мы разместились на свободных стульях около одного из столов. Журналы мод меня уже не привлекали, окружающие люди тоже были малоинтересны. Неожиданно мама вздрогнула и слегка толкнула меня локтем – Смотри, кто пришёл. Это же сам Игорь Петрович Владимиров! Действительно, от входной двери к комнате закройщиков стремительно шёл высокий мужчина с узнаваемым волевым лицом. На лбу его пролегли глубокие морщины. От закройщиков он вышел не один – его под руку вежливо поддерживал Владимир Иванович. В другой руке портной держал какой-то сверток. Весело переговариваясь, оба скрылись в примерочной.

Провожая восхищенным взглядом уходившую знаменитость, мама выдохнула: – Видишь, какие люди здесь шьют костюмы!

Как бы в подтверждение этих слов, от входной двери, появился темноволосый человек с усиками. Его радостно встретил проводивший Владимирова наш закройщик Алексеев. Мужчину я узнал сразу. Это был хорошо известный по фильмам Ефим Копелян. Гордости за заведение у мамы уже не было предела. Какие люди, какие люди! И все сюда! Потом подошла и моя очередь:

– Примерочные иголки, тонкий мелок по ткани, похлопывание по спине: – Не горбись!

Через неделю костюм был готов. Надеть его сразу мне его не дали

– этот костюм у тебя будет выходной!

С появлением обновы я перестал стесняться своего нового внешнего вида, стал раскрепощённым. Ко многим общепринятым взглядам и мнениям я стал относиться более критически. А что, недавно Хрущёв разгромил на съезде культ личности Сталина и вот тебе, пожалуйста, нашумевший фильм «Наш Никита Сергеевич» на всех афишах города. Задумаешься... А ещё, мама одарила меня сшитыми узкими жёлтыми брюками из толстой мягкой ткани и коричневой клетчатой курткой. В этом наряде даже без шапки я лихо гонял на катках в ЦПКиО. Причём не на обычных хоккейных коньках, как остальные, а на престижных беговых! Приятно было чувствовать себя королём!

Тут незаметно подошло и лето. В школе начались каникулы, а на моём заводе была сформирована шефская бригада для работы в совхозе. Конечно, направили и меня, бесполезного малолетку. После всех своих сельскохозяйственных приключений я поехал к бабушке на Волгу в Куйбышев. В чемодан заботливой мамой был аккуратно сложен новый серый костюм. Страшная новость, что сын благополучных родителей бросил школу и работает простым токарем на заводе облетела всех моих волжских родственников. Меня хотели увидеть все: и тётка – врач рентгенолог, и муж её – полковник медицинской службы, и дядя – доктор наук, профессор. О бабушке и двоюродных сёстрах с братом я уже не говорю... То, что я экономя год, обучаясь в вечерней десятилетней школе, вместо одиннадцатилетней дневной и зарабатываю себе двухлетний рабочий стаж для поступления в ВУЗ, ускользало от их внимания.

На меня хотели посмотреть, как на какое-то чудо. И вот, это «чудо» в сером костюме появилось из вагона поезда. Оказалось, ничего особенного, обычный племянник. Была тёплая встреча с последующим выездом на дачу и купанием в Волге. Спокойствие нарушил телефонный звонок из Сызрани от маминой сестры с просьбой немедленно доставить племянника. Костюм был надет, и я дядей профессором был привезён на машине в город Сызрань. Сызрань начала 60-х годов произвела на меня удручающее впечатление. Район, в котором проживали мои родственники, представлял собой унылое однообразие серых пятиэтажных строений с одиноко стоящими, давно не крашенными скамейками, у входов в парадные. Правда, это однообразие нарушал большой парк с раскидистыми кронами больших деревьев, примыкающий к микрорайону.

После традиционных объятий, вопросов и поцелуев, взволнованные дядя и тётя оставили меня в покое, а сестра Нина или, как её мы все называли, Нинуся, оглядев меня придиричивым взором, сказала

– Какой на тебе костюм! Наверно, заграничный! Давай, вечером

пойдём в парк. Только не говори, что ты мой брат. Я тебя под руку возьму.

«Никогда я с ней под руку не ходил! – подумал я, – Но ладно...»

В парке играл духовой оркестр, а меня, высокого молодого человека в сером костюме под руку вела торжествующая Нинуська. Аллеи под шелестящими кронами были слабо освещены.

– Знакомьтесь, это мой Саша из Ленинграда, – говорила она всем встречным знакомым.

Когда она представляла меня девчонкам, то слегка прижималась ко мне, давая понять, что я её кавалер Много ли надо для провинциального города. девчонки смотрели на Нинусю с нескрываемой завистью, а на меня, как на небожителя, спустившего с небес, то есть из САМОГО Ленинграда! Прошло достаточное, скажем так, количество лет и, соответственно, зим. За это время по дороге на работу сильно поистрепалось красивое зимнее пальто, сшитое мне тем же Алексеевым несколько лет назад. Толкучка и теснота в транспорте сделала своё дело... Мама опять принялась за меня:

– Сынок, ты уже старший научный сотрудник, у тебя диссертация подготовлена к защите, а выглядишь, как гопник! Собирайся, поедем в ателье к Владимиру Ивановичу. Фасон нового зимнего пальто я уже выбрала. Я не стал вдаваться в детали и, взятый мамой под руку, отправился по известному адресу. Перед Алексеевым был развёрнут лист бумаги с рисунком. Мама, кстати, прекрасно рисовала. Ей бы художником быть или архитектором, а не химиком технологом!

Рисунок изображал некое подобие члена ЦК, только значительно моложе. На манекене было длинное, ниже колен, зимнее двухбортное пальто с воротником из каракуля и ещё – о горе! – шапка пирожок из такого же меха.

– Это же стариковский фасон! – задохнулся от возмущения я.

– Что вы, что вы, смотрится очень солидно, последняя мода, – подыграл маме закройщик, – Останетесь довольны! Будете выигрышно выделяться на фоне серой и безликой толпы.

...Прошла ещё череда лет. Я понял, что, наверное, в новом зимнем одеянии было бы очень удобно сидеть на заднем сидении лимузина, но на водительском месте появившейся у меня машины такая громоздкая одежда доставляла немало хлопот. Пришлось приобрести тяжёлую кожаную куртку, заурядную меховую кепку и внешне походить на шофера дальнобойщика, челночника, или водителя такси. Я снова оказался похожим на всех! Удивительно, но вместе с этим незаметно во мне стал просыпаться лёгкий интерес к базарным ток шоу с известными ведущими, я начал слепо доверять навязчивой телевизионной рекламе и громким публичным обещаниям авторитетных людей. Более того, у меня появилась робкая попытка улыбнуться, услышав пошлые и, зачастую, скабрёзные шутки унылой

плеяды юмористов на ТВ. Только глубоко спрятанный внутренний голос, а может, это был мамин голос из дальнего далека

– А не пора ли тебе снова в ателье, сынок?..

Елена ЛИТИНСКАЯ. Польские каникулы. Рассказ

Почти каждое лето мы с мамой уезжали в Польшу навестить дедушку и бабушку и заодно отдохнуть от московской суеты. В поезде Москва-Варшава ехать было удобно и приятно. Мама обычно заказывала билеты в двухместное купе. (Не первый класс, но все равно – классно.) Посторонних не было, никто нам не мешал. В дороге мама, как правило, читала книгу или журнал, а я любила смотреть в окно, как бегут навстречу леса, поля, деревеньки и городки. «Тук-тук, тук-тук» – весело стучали колеса поезда. «Тук-тук, тук-тук» – стучало радостно в ответ мое сердце, переполненное ожиданием новых летних впечатлений и, может быть, приключений. Мне было шестнадцать лет. Я считала себя уже взрослой и достаточно самостоятельной, чтобы не отдыхать с мамой, а поехать, например, с друзьями в Прибалтику. Но мама была другого мнения и настояла на том, чтобы мы поехали вместе, ну, хоть этим летом. А на следующий год посмотрим: надо будет готовиться поступать в университет – не до летнего отдыха. Вот тогда и проявляй свою самостоятельность. Подумав, я наконец согласилась. А когда сели в поезд и раздалось знакомо-радостное тук-тук, тук-тук, я забыла о своей гордой взрослости, обняла маму, поцеловала и воскликнула:

– Как же я люблю ехать в поезде – все равно куда!

В Варшаве на вокзале нас встречали улыбающиеся дедушка с бабушкой. Как никак, единственная дочка и внучка, которые были для стариков, кроме театра, конечно, центром Вселенной и смыслом существования.

Дедушка с бабушкой жили в прекрасной трехкомнатной квартире на улице имени Мордехая Анелевича, возглавившего восстание в Варшавском гетто. Недалеко от нашего дома на улице Заменгофа находился мемориал героям Варшавского гетто. Война давно закончилась, о жертвах холокоста в польско-еврейской прессе вспоминали, естественно, не каждый день. (В Советском Союзе слово «холокост» в то время вообще не употребляли ни в прессе, ни в обиходе. Оно отсутствовало.) Но мемориал, мощный, величественный, был здесь, неподалеку. В центре памятника – бронзовая фигура двадцатичетырехлетнего Анелевича с гранатой в руке. Рядом с ним другие бронзовые фигуры героев восстания. Изможденные, гордые, прекрасные лица готовых к борьбе на смерть. Мимо памятника нельзя было пройти спокойно, думая о повседневном. Он призывал всех: остановись, призадумайся, поклонись, помни, возложи цветы! У подножья мемориала всегда было море цветов. Так приезды в Польшу раскрывали передо мной, невежественной советской пионеркой и комсомолкой, истинную историю Второй мировой войны. Я духовно обогащалась и взрослела.

План отдыха был такой: побыть неделю в Варшаве, что включало поход в Государственный еврейский театр, где играли дедушка с бабушкой, пробежаться по Маршалковской, главной улице города, ну и, конечно, с заходом в кино на какой-нибудь популярный польский или заграничный фильм, куда юное поколение до шестнадцати или даже, в некоторых случаях, до восемнадцати лет, не допускалось. Мы с мамой обожали кино и всегда, приезжая в Варшаву, как говорится, отрывались там по полной программе. Ведь в Союзе в то время массовому зрителю не показывали фильмы типа «Сладкая жизнь» Феллини с Марчелло Мастоияни и Анитой Экберг. Кроме того, в послевоенные годы был настоящий расцвет польского кино. Взять, хотя бы, такие мировые кино-шедевры, как «Пепел и алмаз» Анджея Вайды, «Крестоносцы», «Нож в воде» Романа Поланского и другие фильмы.

В юности я выглядела на пару лет старше своего возраста, и проблем с планкой допускаемости в кино у меня не возникало. Паспорт у входа никто не спрашивал, да и мама была настроена весьма либерально-демократически, понимая, что фильмы с запретным предлогом «до» не окажут катастрофически плохого влияния на воспитание почти взрослой дочери. Проблем с польским языком у мамы не было, так как она родилась в Польше. А я, приезжая почти каждое лето в Варшаву, как губка, впитывала польскую разговорную речь и уже к концу самого первого приезда лихо болтала по-польски. С помощью мамы я научилась также читать по-польски и с обожанием проглатывала журналы «Фильм» и «Экран», по-детски вырезала портреты любимых актеров и бережно складывала их в специальный альбом.

Как приятно было прошвырнуться по Маршалковской, с ее магазинами и частными лавочками, в которых продавали заграничные (не польские) тряпки! Дедушка всегда от щедрот душевных финансировал эти наши с мамой «прогулки», так что мы возвращались домой с горой коробок и пакетов, в которых помещалось полное «обмундирование» для молодой женщины и девушки – от нейлонового белья до модных тогда туфель на гвоздиках или на платформе. Наши с мамой походы по городу обычно завершались заходом в кавярню (кафе), где мы, выпивали по чашечке кофе со сливками, заедая обалденными польскими пирожными. Моя память до сих пор хранит вкус их нежного крема.

После недели беготни по жаркой столице мы поехали в еврейский дом отдыха (частично субсидируемый организацией TSKZ (Товарищеское общество еврейской культуры), который находился в недалеко от Варшавы в местечке с лесным названием Щрудбуров. Дом отдыха был старый, но чистый и ухоженный. Наверное, бывшая усадьба каких-нибудь шляхтичей. Вокруг раскинулся парк

с тенистыми аллеями вековых деревьев, скамейками и уютной беседкой. Прогулки по аллеям располагали к покою и романтическим мечтам.

В нашем номере было четыре кровати. На всякий случай, если придут дедушка с бабушкой. Но они не смогли приехать в дом отдыха, так как съездили на гастроли в Лодзь, Вроцлав и Краков, а потом начали репетировать новую пьесу. Мама часто уезжала в Варшаву, так что все четыре кровати в огромной комнате были предоставлены мне. Увидев такое обилие спальных мест, я вспомнила одно из еврейских проклятий: «Чтобы у тебя было сто домов, в каждом доме по сто комнат, в каждой комнате по сто кроватей и чтобы холера тебя кидала с одной кровати на другую!» Конечно же, никакая холера меня не перебрасывала с одной кровати на другую. Я просто облюбовала себе местечко у окна и в какой-то мере наслаждалась одиночеством, хотя и скучала по маме.

Отдыхающих было немного, где-то десятка два – три. Возраст и социальное положение самое разное: от юного поколения, с родителями и без, до пенсионеров; от актеров и писателей до работников торговли. Все встречались три раза в день в столовой и, если хотели, ограничивались цивильными приветствиями: «доброе утро», «добрый день» или «добрый вечер!». Вокруг звучала как польская речь, так и идиш. На идиш говорили, в основном, пожилые евреи: поэт, который зарабатывал на хлеб сапожным делом, несколько еврейских актеров и корреспондент еврейской газеты. Я понемногу осваивала идиш, так как в школе выучила азы немецкого.

В столовой кормили вкусно и наубой, чередуя польские национальные блюда с еврейскими. С печальной обреченностью я предполагала, что к концу лета прибавлю пару килограммов в нижней части тела, которая у меня и без того отличалась «приятной округлостью».

За нашим столиком сидела разношерстная компания: рыжеволосоконопатый, суетливый юноша Натан, бледная, словно восковая, Ружена с заботливо-печальной мамой, высокий и очень худой юноша Изя (с мамой, напоминавшей кудахтующую наседку) и я (иногда тоже с мамой). За соседним столиком сидела ярко накрашенная, стильная девушка Илона и молодая то ли парочка, то ли нет: очень симпатичный Анджей (лет двадцати) и хорошенькая женщина Анеля, которой на вид было лет двадцать пять. Суть отношений Анджея и Анели вызывала нездоровое любопытство отдыхающих, но до истины никто так и не докопался.

Как и полагается на отдыхе, болтали обо всем и ни о чем. За завтраком говорили о том, какая сегодня ожидается погода и стоит ли пойти в бассейн или остаться на территории дома отдыха, поиграть в карты или в настольный теннис. Ну, может, просто расслабиться,

загорая в приятной полудреме на поляне. За обедом обсуждали планы на вечер. Выбор времяпрепровождения был не очень широк. Тем не менее, возможные варианты горячо обсуждались: смотаться ли на электричке в ближайший городок на дансинг или в кино, ну и, наконец, остаться в общей гостиной, чтобы смотреть любимый всеми фестиваль песни из Цопота. С утра я чаще всего направлялась в бассейн, сопровождаемая Натаном и Изей. Я хорошо плавала и даже ныряла с вышки, охотно хвастаясь перед мальчиками своими спортивными достижениями.

Ружена страдала белокровием. Врачи запретили ей находиться на солнце. Большую часть времени она проводила в беседке. Тихая, неразговорчивая, смирившаяся со своей судьбой, она целыми днями читала романы, пытаясь чужими, более удачными судьбами отвлечься от печальной своей. Иногда я оставалась с Руженой. Мы говорили о книгах и кино.

– Когда ты себя будешь лучше чувствовать, мы поедем на электричке в кинотеатр, – фантазировала я.

– Спасибо тебе, Хеленка! Но мне уже никогда не станет лучше. Я смирилась. Ведь человек когда-нибудь должен умереть. Я вот умру молодой, без морщин и вставных зубов... и это даже хорошо, – она улыбалась какой-то полуулыбкой и даже пыталась острить. Я не знала, что ответить, восхищаясь ее спокойствием и мужеством.

В субботу к Анджею приехала мама, и я страшно удивилась, когда услышала, что они между собой говорили по-русски. Никакого польского акцента. Обычная русская, московская речь. У меня, как говорится, аж челюсть отвисла.

Вечером, дождавшись, когда Анджей остался один (без мамы и Анели), я заговорила с ним по-русски:

– Ты знаешь русский? Я слышала, как ты хорошо говоришь, совсем без акцента. Ты из Союза?

– Да, я родился в Москве. Мои родители – репатрианты. Мы уже пять лет, как живем в Польше. Я здесь окончил гимназию, сейчас учусь в университете.

– Не понимаю. Как ты мог уехать навсегда из Москвы? Не скучаешь?

– Сначала скучал, потом привык. А теперь я даже не представляю, как я мог там жить и учиться. Все это промывание мозгов и дребедень с пионерами и комсомолом... Здесь, конечно, тоже много коммунистической брехни, но все же не в такой степени. К тому же я скоро... – тут Анджей осекся и сменил тему разговора. – Хочешь, пойдем погуляем?

– А как же Анеля? Ревновать не будет?

– А что Анеля? Пусть немного поревнует. И... я же не в постель тебя тащу, а на прогулку.

Мне было шестнадцать лет, я была девственна и наивна, и меня не только никто еще не пытался затащить в постель, но даже разговоров на эту тему в моей жизни пока не было. Хотя увлечения мальчишками были, но дальше поцелуев дело не доходило.

Анджей взял меня под руку, и мы побрели по аллее к выходу из парка. Юноша был красив лицом и хорошо сложен. Наверное, занимался спортом. Я гордо почувствовала себя избранницей, хоть и на час.

– Ну, расскажи мне о Москве. Как там Красная Площадь? Ленина еще из Мавзолея не вынесли? – смеялся Анджей.

– Нет! Вождь мирового пролетариата пока еще там, – подыгрывала я ему. – И Красная Площадь на месте. Знаешь, я безумно люблю Москву и не представляю себе жизни без этого города. Я бы ни за что не уехала в Польшу, хотя мне нравится проводить здесь летние каникулы. Но в конце лета я всегда ужасно хочу домой.

– Милая Хеленка! В жизни иногда случаются такие пертурбации, что диву даешься. Человек ко всему привыкает и везде выживает, если, конечно, хочет выжить и быть счастливым.

– Как ты интересно рассуждаешь! Стало быть, ты привык жить в Польше и счастлив...

– Стало быть...

Мы весь вечер гуляли с Анджеем по аллеям парка, дошли до леса и вернулись в дом отдыха. Анджей был, что называется, свой парень, москвич, хоть и бывший. С ним было легко и просто. Мы говорили на одном языке о том, что волновало только нас двоих. Ни Анелю, ни Илону и ни Натана с Изей. У нас было общим его, Анджея, прошлое, над которым он подтрунивал, и мое настоящее, в которое я тогда еще верила и без которого не мыслила своей жизни.

В эту ночь я долго не могла уснуть. Все думала о том, какой Анджей симпатичный и умный и что, я уже почти в него влюбилась, хотя эта новая любовь была абсолютно безнадежной и безответной. Ну разве я могла соперничать с хорошенькой, взрослой, опытной в любви Анелей!

На следующий день мы встретились с Анджеем за завтраком, как ни в чем не бывало, как будто не было вчерашнего волшебного вечера, который так неожиданно нас сблизил. Я, было, начала при всех говорить с Анджеем по-русски, но он поднес указательный палец к губам, давая мне понять, что русский язык – это наша маленькая тайна. Мол, не здесь и не сейчас. Анджей не хотел выделяться из польско-еврейской среды. Он хотел быть таким, как они.

Вечером мы всей молодежной компанией отправились в кафе на дансинг. Анджей, Изя, Натан, Илона и я. Анеля уехала в Варшаву по каким-то своим делам. В кафе было много народа. Играли и танцевали модный тогда твист. Мы заказали по чашечке кофе с пирожными.

Мальчики добавили пива. Все закурили, я тоже, хоть и в первый раз. Я должна была показать им всем и, прежде всего, Анджею, что я – такая же, как они, современная, раскованная, без советско-комсомольских «предрассудков и заморочек». Натан пригласил танцевать Илону. Изя покуривал и поглядывал по сторонам.

– Потанцум, Хеленка? – спросил Анджей по-польски.

– Да, конечно! – с готовностью ответила я, хотя сей модный танец еще не освоила. Просто до сих пор не представился случай.

Способности к танцам и хорошее чувство ритма были у меня с детства. Я быстро схватила нужные движения: как будто ты топчешься на месте и никак не можешь погасить каждой ногой по сигарете, и уже через минуту лихо твистовала напротив Анджея.

– А ты очень пластична, хорошо танцуешь, – похвалил меня Анджей и улыбнулся радостно-одобрительной улыбкой.

После танца он подвел меня к нашему столику и очень по-польски поцеловал мне руку. Я понимала, что это всего лишь ритуал, но все же зарделась. Мне хотелось большего. Ну почему бы ему не поцеловать меня, хотя бы в щеку? Потом мы поменялись парами. Я танцевала с Натаном, а Анджей – с Илоной. Изя пригласил на танец девушку с другого столика. Так мы менялись партнерами несколько раз. Вечер подходил к концу. Шел двенадцатый час, пора было возвращаться в дом отдыха. В кафе было так сильно накурено, что силуэты танцующих с трудом различались сквозь сизый дым. Наш последний танец с Анджеем был медленно лиричным. Мы топтались на месте, невидимые, окутанные дымной оболочкой. Анджей взял меня за подбородок и легко и нежно поцеловал в губы. Потом прошептал по-русски:

– Ты славная девочка, Хеленка! Как жаль, что я завтра должен уехать.

– Как уехать? Почему завтра, ведь каникулы еще не кончились?

– Мои каникулы уже кончились. Мама сказала, что все документы уже оформлены. Очень скоро мы уезжаем в Израиль. Навсегда!

– Господи! – опешила я. – Ну зачем же в Израиль? Тебе мало Польши? Ты же сказал, что привык к жизни в Варшаве и вполне счастлив. И как же Анеля?

– А что Анеля? Она полька... Да, я привык. Но я еврей, и мое место не здесь. Каждый раз, когда я прохожу мимо памятника героям Варшавского гетто, я чувствую какую-то непреодолимую связь с этими парнями и девушками. Как будто они призывают меня отомстить. Вот поеду в Израиль, поступлю в армию, возьму в руки винтовку и...

– Ты сумасшедший! Кому ты там будешь мстить? Арабы не причастны к холокосту. И вообще, Израиль – это восток. Там совсем другие евреи. Другой менталитет. Ты – прежде всего европеец, а

потом еврей.

– Нет, ты ошибаешься. Я – прежде всего еврей, а потом уже все остальное. Газеты читаешь? Новости смотришь? Они нас тут не хотят. Кричат, чтобы мы «убирались в свой Израиль». А сейчас поехали в Щрудборув. Поздно уже.

– Не уезжай в Израиль, Анджей! Ты горько пожалеешь об этом, – умоляла и предостерегала я.

– А я думаю, что ты пожалеешь, если останешься в Союзе.

Бесполезно было продолжать этот спор, и я замолчала. Слезы выступили у меня на глазах. Я так не хотела, чтобы он уезжал, понимая, что мы больше никогда не увидимся. И даже писать ему из Союза в Израиль было под негласным запретом.

Я опять не могла уснуть. Как-то все сразу обрушилось на меня, юную, советскую патриотку, комсомолку. Вспыхнувшая влюбленность в польско-еврейского репатрианта из Москвы. Его внезапный отъезд в Израиль. В голове была полная сумятица и обида на жизнь за то, что она забирала у меня Анджея.

Анджей уехал на следующий день до завтрака, ни с кем из нашей компании не простившись. (Что ж, ведь мы, по сути, простились с ним накануне!) Оставшиеся пару недель в Польше пролетели, как пустые листки календаря. Я не переставала думать об Анджее и больше не ходила ни в бассейн, ни в кино, ни на танцы. Проводила почти все свободное время в разговорах с Руженой, понимая, что ее горе несоизмеримо с моим... К первому сентября мы с мамой вернулись в Москву. Московская жизнь закружила, завертела меня, и я отодвинула историю с Анджеем в дальний угол памяти.

Прошло десять лет. Я полюбила другого парня, вышла замуж, родила ребенка. Обстоятельства вынудили нашу семью эмигрировать. Местом назначения мы выбрали США. Я все еще люблю Москву, но скучаю, скорее, не по городу, а по моей московской юности. Недавно я ездила в Израиль, чтобы взглянуть на эту загадочную страну, объединившую евреев всех уголков земли, оттенков кожи и культур. Как-то вечером мы сидели в кафе с моей подругой детства, которая жила в Израиле с конца семидесятых и стала настоящей израильянккой. За соседним столиком я увидела мужчину, лицо которого мне показалось знакомым. Мы смотрели друг на друга с нескрываемым интересом, пытаясь откопать в памяти то, что, возможно, нас когда-то свело в этом мире. Долго всматривались в наши, измененные временем лица, но все же не решились заговорить и разошлись в разные стороны. Мне показалось, что это был Анджей. С ним были молодая симпатичная женщина и девочка-подросток. Хотелось верить, что в Израиле Анджей не только взял в руки винтовку и отомстил за холокост, но просто нашел себя и свое счастье.

Татьяна ОКОМЕНЮК. Кумир. Рассказ

О том, что его пятнадцатилетняя внучка – фанатка музыкальной группы «Неземные», бизнесмен Валерий Каминский узнал случайно. Искал в Юлькином рюкзаке зарядку для телефона, а обнаружил там афиши, фотографии музыкантов, а главное – ее дневник, куда были аккуратно вклеены корешки билетов со всех выступлений «Неземных», на которых она побывала. Там, на каждой странице, Юлька объяснялась в любви солисту коллектива Юстасу Штерну и откровенничала о том, что самым большим счастьем для себя считает теплый взгляд, брошенный им в ее сторону. Была в дневнике и фотография «звезды» в рамочке из поцелуев, оставленных на бумаге покрытыми помадой губами.

Со снимка на Валерия высокомерно глядел низкорослый дрыщ на тонких ножках, с острым кадыком, косой блондированной челкой и совершенно пустыми глазами.

– Дааа, в отряд ниндзя его бы не взяли, – разочарованно протянул бизнесмен. – Такой разве что воробью сопротивление окажет, да и то без гарантии успеха. И в кого у Юльки столь дурной вкус? Хотя... ясно в кого. Ларка, мамка ее, тоже в юности меня не послушала, черт-те за кого замуж выскочила, вот теперь и воспитывает дочку одна...

Вечером он поделился с Ларисой своими мыслями и узнал от нее, что внучка совсем съехала на тройки, и ей давно уже не до уроков. Юлька таскается на все выступления «Неземных», чтобы потом обсуждать их на форумах с такими же безмозглыми фанатами, как и она сама. Девочка, оказывается, не рядовая поклонница группы, а председатель ее фан-клуба, который сама же и организовала, сбив в стаю романтических бездельниц-меломанок. Те ведут сайт «Неземных», собирают информацию о своих кумирах, ездят за ними повсюду, шлют им смс-ки с объяснениями в любви, а по ночам сидят на каком-то форуме, где дают гневную отповедь *всем тем, кто не считает их Юстаса гением*.

– Ремня дать не пробовала? – поинтересовался у дочери Каминский.

– Пробовала. Закрывала ее в комнате, отбирала телефон, отключала компьютер, сдираала со стен плакаты, рвала фотки этих кривляк и вырезки из журналов с их интервью. Не помогло. Юлька стала чахнуть, потеряла сон и аппетит, грозились наглотаться таблеток. Врачи диагностировали у нее депрессию, и я махнула рукой на ее хобби.

Не знаю, *что* девчонка нашла в этом Юстасе, но она не пропускает ни одного выступления группы, ждет парня у выхода, поднимается на сцену с букетами, забрасывает его своими фото. Не удивлюсь, если полуголыми, – печально вздохнула женщина. – Ты бы, пап, почаще к

нам приезжал. Я для Юльки – уже не авторитет.

Прежде, чем приступить к беседе с внучкой, Каминский решил зайти на Ютуб, чтобы ознакомиться с творчеством ее кумиров. Роликов было более чем достаточно. Мужчина открыл первый попавшийся.

Там, в клубах не то пара, не то дыма на сцене дергался Юстас в рваных джинсах и рваной майке, через которую просвечивала его впалая грудная клетка. Молодой человек из стороны в сторону мотал головой, как лошадь, которую обсели слепни, и что-то выкрикивал зрителям в микрофон. Грохот, который молодежь принимала за музыку, долбил по ушам так, что темнело в глазах. Подростки были просто счастливы. Трясаясь, как в падучей, они дружно подпевали Штерну. Бизнесмен прислушался.

А у Евы – агроном, о-хо-хо...
С Белоснежкой мутит гном, а-ха-ха...
С Дульсинеей – андалузец, ы-хы-хы...
С крошкой Кэт – последний лузер, э-хе-хе...
У Мальвины – Артемон, и-хи-хи...
С Розой – пьяный Педро-дон – за грехи...
У Яги Кощей пасется, у-ху-ху...

Ну, и к Машке кто-то прется на уху, – неслось со сцены.

«О, господи! – выдохнул Валерий. – Какая бессмыслица! Какая безвкусица! И эта группа собирает стадионы и вызывает обмороки у экзальтированных фанатов? Ничего не понимаю...».

На следующем ролике зал был поменьше. Судя по интерьеру, какой-то умажоренный ночной клуб. Зрители – в основном девчонки лет пятнадцати-семнадцати. «И кто их, интересно, туда впустил в ночное время? И главное: как отпустили из дому родители? Они что, все сироты?» – мысленно негодовал мужчина.

Под восторженный вой девушек на сцену выскочил Юстас в каком-то странном рубище с мальтийским крестом на спине и огромным православным крестом, болтающимся на его «куриной грудке». Парень потрогал рукой свой поднятый гелем крашенный чубчик, постучал себя ладонями по ягодицам, послал в зал воздушный поцелуй и сразу же завыл дребезжащим голоском:

Зря спасенья не ищи ты,
Ибо я – умнее всех!
Твои хитрые защиты
Расколю я, как орех.
Ух-ух-ух, эх-эх-эх,
Всюду влезу без помех.

Вай-вай-вай, платьице снимай,
Тайны своей плоти от-кры-вай!

«Интересно, какой debil пишет им эти тексты? И как такой примитивизм может кому-то нравиться? – не мог успокоиться не старый еще, 54-летний мужчина. – Они, там что, все под наркотиком?».

А вот и интервью Юстаса какому-то музыкальному каналу. Тут – «звезду» снимают крупным планом. Маленький, плюгавенький, на коротких лапках. Плечики узкие, личико остренькое, губы тонкие, глазки бегающие, ехидненькие, кулачки размером с незрелый киви. На дистрофичных руках – тату «рукава». На башке – бандана и сережки-колечки в ушах, причем сразу в обеих мочках.

«Секс-символ, прости господи! Икона стиля! – сплюнул себе Валерий под ноги. – Поет черт-те что, выглядит, как героиновый торчок, одет, как сбежавший из психлечебницы шизик, а девки визжат... Чудны дела твои, господи!».

В интервью Штерн поведал журналистке, что музыкального образования у него нет, и смысла его получать, он не видит. «Неземные» зарабатывают столько, сколько «консерваторским» даже не снилось. Он-де самородок, а учить самородка – только портить.

На вопрос о преследующих его поклонницах «звезда» ответила, что переспать с любой из них для него все равно, что почистить зубы. Подобным эпизодам своей биографии он не придает ни малейшего значения. Поклонниц много, а он – один.

Валерий внутренне напрягся, представив свою Юльку у входа в отель «Неземных», и горячая волна стыда накрыла его с головой. «Не ровен час, и в самом деле, прыгнет в постель к этому недомерку, а потом будет страдать от неразделенной любви. А если Юстас, не дай бог, загнется от передоза, так она и руки на себя наложить может. Бывали же случаи... Вон после смерти Есенина по стране прокатилась целая волна женских самоубийств... Или когда один из «Иванушек» из окна сиганул. Нет, Ларка права: я должен вмешаться! Нужно отвадить девку от этого примитива, но так, чтобы не навредить ее психике и не развить у нее комплекс неполноценности».

В девять вечера явилась Юлька с рулонами каких-то постеров и плакатов. На ней была черная футболка с портретом Юстаса на груди, волочащиеся по земле штаны с мотней у колен и дурацкая бандана на голове, делавшая ее похожей на маленькую Бабу-Ягу. Или на своего кумира.

– О, дедуля, ты решил у нас задержаться? Круто! А тебя молодая жена не заругает?

– Не волнуйся, молодая жена с твоим шестилетним дядей отдыхает на Мальдивах. Я с ними не полетел – по вам с мамой соскучился. А что это у тебя в руках? Макулатуру собираешь?

– Да нет, плакатами «Неземных» приторговываю. Надо ж на какие-то шиши ездить на их концерты, цветы им покупать, сердечки, мягкие игрушки... У мамки на это дело хрен выпросишь.

– Юль, а тебе не стремно таскаться за ними, как верному оруженосцу? Следить за их передвижениями, слать смс-ки, напрашиваться на свидания, собачиться в интернете с их хейтерами и на серьезных щах обсуждать на форуме очередную татушку Юстаса? Ведь это же... испанский стыд! Фанат всегда несамодостаточен, оттого и творит себе кумира.

– Что, матушка уже нажаловалась? – скривила Юлька рот в презрительной ухмылке. – Дед, разве ты сам ни разу не влюблялся в киногероинь, артисток, известных спортсменов или певиц?

– Представь себе, нет, – соврал Каминский, припомнив, как в третьем классе писал письма с объяснениями в любви Женьке, героине фильма «Тимур и его команда». Писал и ждал от нее ответа. Не дождавшись, снова писал и снова ждал. Пересматривая эту картину спустя десять лет, Валерий не мог взять в толк, *что* он нашел в этой, совершенно обычной, девочке, *чем* она его так взбудоражила. Впрочем, ему тогда было всего девять лет. Вместе с детством способность влюбляться в виртуальных героев у него прошла, а Юльке-то – уже пятнадцать. Тормозит нынешнее поколение, сильно тормозит.

– Юль, а почему бы тебе с подружками не выбрать другого кумира? Какого-нибудь умного человека: писателя, изобретателя, ученого...

– Ты, дед, – очень старый и ничего не вдупляешь в молодежных делах. Юстас еще вчера был одним из нас, а сегодня он – звезда. Значит, и мы имеем шанс стать такими же. Посмотри, как стильно он одет, как классно двигается. Вслушайся в его песни: он же поет обо мне, обо всем нашем поколении. Штерн понимает наши души, чувства и потребности, не то, что вы с маман. А потом у его песен такие прикольные тексты. Вот послушай:

Признайся, крошка: ты не моя,

Ты больше не моя королева.

И твой король уже совсем не я,

А тот мудака, что на фотке – слева, – пропела девочка.

Каминский только руками развел. У него не было слов для характеристики этих виршей.

– Не зашло? Я же говорю: ты – ящер... А, может быть, это:

Красный перец нарубим в салат,

Лук, петрушку, укроп, ветчину.

Ведь в сметане так вкусен томат.

Я тебя не оставлю одну.

Спросишь ты у меня: «Почему?»,
Я отвечу тебе невпопад:
«Все сожрешь, как дебильный примат,
Мне останется выть на луну».
Ууууу... Ууууу... Ууууу..

– Бред полнейший. Дешевая графомания. Убогость, бездарность и фальшь! Не думал я, что моя внучка столь примитивна.

– Убиться о стену. Бетонную, – фыркнула Юлька. – Все, кто с вами, стариками, не согласен, сразу объявляются дегенератами, кретинами и долбоклоями. Да ну тебя! Пошли лучше ужинать. Жрать хочу, как герой этой песни, девка которого в одно рыло уверетенила их общий салат.

За столом Юля поинтересовалась, помнит ли дед, что у нее в субботу – день рождения.

– Ну, а как же! Твой праздник – одна из причин моего приезда. Что ты хочешь получить в подарок?

– А ты точно мне это подаришь? – хитро улыбнулась она. – Зуб даешь?

– Даю-даю!

– Подари мне свидание с Юстасом.

– Чтоооо? – закашлялся мужчина, который почему-то был уверен, что внучка попросит у него видеокамеру, чтобы снимать выступления своего кумира не на телефон.

– Объясняю: в субботу у «Неземных» – концерт в Подольске. Самим нам туда добираться накладно, а ты – как раз на машинке. Возьмем с собой Верку, Ксюху и Анжелку, оторвемся на полную катушку. А потом ты забашляешь телкам ¹«Неземных», и они нас пропустят в гримуборную за автографами.

Валерий молчал, обдумывая ситуацию.

– Дед, ну, ты же зуб дал! – канючила Юлька. – Хочешь, чтобы все твои дорожные импланты одновременно отторглись?

– Ладно, поедем! – махнул рукой Каминский. «Другой возможности отвадить Юльку от этого мыльного пузыря может и не представиться», – решил он про себя.

Прибыли они за час до концерта. Вокруг Дворца культуры стояли толпы подростков, в основном, девчонки Юлькиного возраста. Они возбужденно обсуждали последние новости, связанные с их кумирами. Валерий прислушался. Оказывается, барабанщик группы набил на предплечье новую татушку в виде какого-то иероглифа, а гитарист – такой сладкий мальчик – сделал сплит языка, и теперь он у него раздвоенный, как у змеи...

– Приехали! – заорал кто-то истошным голосом, и толпа бросилась к служебному входу.

Каминскому стоило большого труда тормознуть своих девчонок, пообещав им «личную встречу с «Неземными» в более спокойной обстановке».

В зале погас свет. На задымленную сцену вышла четверка в блестящих, стилизованных под скафандры, костюмах. Лучи прожекторов заскользили по их дистрофичным фигуркам. Зал взвыл. Засверкали вспышки фотоаппаратов, в воздух поднялся лес рук. Тинэйджеры истошно визжали, тряся над головами зажигалками, фонариками и телефонами. После третьей композиции они начали подпевать и подтанцовывать, если эти конвульсии можно было назвать танцами, а это подвывание – пением.

Девочка, крошка, малышка,
Ты пока серая мышка.
Время промчит колесницей –
Станешь ты яркой жар-птицей,

– долбили по ушам усилителя звука.

Девчонки взгромоздились на плечи парням. Те, у кого парней не было, вылезли с ногами на кресла, так как за впередистоящими не было видно сцены. Ни музыки, ни слов не было слышно – лишь вопли и аплодисменты, но часть зала все равно орала вместе со Штерном, считая, что она ему помогает. Девицы с размазанной по щекам тушью почему-то плакали. Со всех сторон доносились всхлипы и рыдания.

«Забодай меня пчела! Прямо тебе «Битлз» в свои лучшие годы, – с изумлением подумал бизнесмен. – Не удивлюсь, если «Неземные» добиваются коллективного психоза путем вплетения в свои композиции чего-то подобного двадцать пятому кадру»².

Наконец, музыкальная экзекуция закончилась. Часть публики повалила на выход, часть бросилась к своим кумирам. Среди немногочисленных зрителей-парней Валерий зафиксировал нескольких с совершенно стеклянными глазами. Эти не плакали, эти хохотали. Час от часу не легче.

«Неземные» в это время скалились в «звездных» улыбках, раздавая автографы на календарях, открытках, билетах, программках и просто на ладонях поклонниц. *Последние прыгали и визжали, подставляя руки и животы, задирая для автографа свои майки. Охранники грубо отталкивали озверевших девиц от их идолов, но те напирали. Фанатки, поднаторевшие в подобных боях, бесстрашно расталкивали локтями толпу, сносили все ограждения, срывали голоса в безумном крике – только бы дотронуться до вождельных «мощей».*

В конце концов, телохранители прекратили доступ к звездным тушкам и те удалились за кулисы.

– Стойте здесь и ждите, я за вами приду, – велел Валерий своим девчонкам, направляясь следом за музыкантами.

В узком коридорчике, ведущем к гримуборным, он стал свидетелем следующей сцены: какой-то серьезный дядечка с габаритами омовца, бил Юстаса по лицу свернутым в трубочку журналом.

– Ты что, чмо облезлое, себе позволяешь? – орал он на «звезду» зычным басом. – Ты почему перед интервью со мной не посоветовался? Что ты нагородил этой дуре? Какая любимая девушка? Ты б еще о своих внебрачных детях ей поведал... Я тут бьюсь, как рыба об лед, чтоб не поредела толпа ваших поклонниц-идиоток, а ты сознательно сокращаешь их число своими пьяными откровениями!!!

– Владик, я этого не говорил... Это она сама придумала, – заблажил Юстас, прикрывая лицо руками. – Не ври, убогий... Эта тварь мне по телефону прокрутила диктофонную запись, – и мужчина изо всей силы треснул Штерна журналом по левой щеке.

– Влад, ну, Влад, чеccc слово, эта гадюка приврала, – продолжал упорствовать «идол масс». – Ты же меня знаешь!

– Знаю, урод! Поэтому впитывай: завтра я пригоню к тебе другую козу от прессы, и ты дашь ей совершенно другое интервью, в котором скажешь, что в сегодняшнем номере «Кумиров» просто пошутил, потому как имел игривое настроение накануне первого апреля. К тому же, я тебя штрафую за этот косяк на десять процентов от выручки.

– Не губи! – упал на колени Штерн. – Ты и так мне платишь всего двадцать процентов... Десять – это конкретный грабёж. Ты же знаешь, у меня – ипотека, автокредит, алименты, судебный иск и долги немалые... Ну, Влад!

– Еще одно слово, и завтра, вместо тебя, под фонограмму будет дергаться другой солист. Уверяю: подмены никто даже не заметит. Пшел вон!

«Жаль, что этой сцены не видит Юлька», – пожалел Каминский, провожая взглядом субтильную фигурку «звезды», скользящую по коридору к своей гримуборной.

Бизнесмен догнал его уже у самой двери.

– Юстас, можно с вами поговорить?

– Что? – удивился тот появлению незнакомого человека, совсем не похожего на фаната.

– Хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться.

Штерн тупо молчал, пытаясь сообразить, где он раньше видел Каминского.

В жизни молодой человек выглядел еще хуже, чем в ютубовских роликах, прибавлявших ему пару килограммчиков. Крашенные, залитые фиксатором волосы, обведенные черным карандашом глаза,

тональный крем на лице и шее, покрытые черным лаком ногти...

«Если я в таком виде увижу когда-нибудь своего сына, убью на месте», – подумал Валерий, преодолевая сильное желание размазать косметику по физиономии «звезды».

– У меня к вам – деловое предложение, – терпеливо повторил он, пытаясь пробиться к здравому смыслу Юстаса, уже успевшего чего-то нюхнуть. – Вы меня понимаете?

– Боль-мень! – мотнул тот своей стремной челкой. – Вы из журнала «StarHit»?

– Нет, я – дедушка одной вашей фанатки, пятнадцатилетней Юли Порошиной, председателя вашего московского фан-клуба. Знаете ее?

– Дедушка? – в глазах парня заблестели огоньки легкой издевки. Судя по всему, ситуация его забавляла. – Да, лан, дед, не парься! Не помню я твою Юльку. Этих засранок вокруг нас, – как грязи. Их гонишь в дверь, они лезут в окно. Достали уже до печенок. Совсем, овцы, невоспитанные. Бросают к нам на сцену свои лифчики и стринги, покупают наши номера телефонов и бомбят потом своими голыми фотками, шлют смс-ки с предложениями встретиться и переспать, дежурят у отеля. Не будешь же у каждой из них возраст спрашивать – все равно соврут. А наутро оказывается, что фанатки эти – школьницы, которым от бухла вчера крышу снесло. И что у них за родители? Как они этих шалавенок воспитывают?

– Ну, вот, вижу, что у нас с вами – полное взаимопонимание в этом вопросе, – выдавил из себя улыбку бизнесмен. – Заработать хотите?

– А кто ж не хочет?

– Тогда давайте сядем и поговорим.

Штерн пожал плечами, пропуская незнакомца в гримборную. Жестом он показал гостю на потертый кожаный диванчик, сам же сел напротив, на стул, развернутый задом наперед – как на коня.

– Я весь – внимание.

«Ни тени мысли на лице. О чем можно с таким договориться?» – подумал Каминский, глядя на собеседника, но все-таки приступил к делу.

– Вы знаете, кто такой Роберт Паттинсон?

– Понятия не имею, – окатил его Юстас взглядом, не способным к фокусировке.

– Это – известный британский актер и музыкант. Мировую известность ему принесли роли в фильмах «Сумерки» и «Гарри Поттер и Кубок огня».

– И че? – заерзал Штерн на стуле.

– У него, как и у вас, – несметное количество одержимых фанаток. Некоторые из них просто не дают ему жить. Однажды одна из них разбила лагерь возле его квартиры и стала терроризировать звезду своей любовью.

– И че?

– Тогда он пригласил ее на свидание и страшно наскучил девушке. Роберт все время жаловался ей на свои долги, неудачи и дурные привычки, досаждал рассказами о недомоганиях и жутких отношениях с родственниками. В конце концов, попросил у нее денег взаймы. Больше он ее никогда не видел.

– И че?

– Предлагаю вам сделать то же самое за материальное вознаграждение. Внучке нужно учиться, готовиться к поступлению в вуз, а не мотаться за вами по области.

– Сколько? – заговорщически прошептал Юстас.

Каминский достал из кармана телефон и, как в детективных фильмах, молча, набрал на экране число.

– Нормуль! – осклабился молодой человек. – Аванс вперед!

– Сразу после первой части нашей совместной операции, – тоже шепотом сообщил ему Каминский. – Сейчас я приведу к вам четырех девчонок. Вы с ними сфотографируетесь и дадите каждой автограф. Ту, которая в красном джемпере, поздравите с днем рождения и пригласите на свидание в какую-нибудь кафешку в Китай-городе, недалеко от ее дома. А сразу после встречи, на которой вы проявите себя «во всей красе», я переведу вам по PayPal остальное.

– Что конкретно мне нужно сделать, чтобы это... «проявить себя»?

– Сыграйте перед Юлькой невоспитанного человека, алкаша, хама и идиота. Вы же – большой артист, у вас должно получиться. Договорились?

– По рукам, дедуля!

Спустя неделю Каминский позвонил Юльке.

– Как дела молодые? Как свидание? Замуж за Штерна еще не вышла?

– Да какое там! – вздохнула девчонка. – Ты, дед, оказался прав: Юстас – это полный отстой. С таким коннектиться – себя не уважать. Во-первых, никакой он не Юстас Штерн, а обычный Юрец Штерцев. Во-вторых, у него нет ни слуха, ни голоса – воет под чужую фанеру. Не сегодня-завтра его вообще выставят из группы. В-третьих, он – конкретный нищерброд. На такси у меня денег попросил в конце свидания, прикинь! Я прям в осадок выпала. Вел себя в кафешке, как конченный ушлепок: приперся бухой, ковырял в носу, жаловался на ночное недержание мочи, называл меня одноклеточной за то, что я не знаю какого-то британского музыканта. Короче, полный траблс.

Валерий облегченно вздохнул.

– Теперь я тащусь от Марка Дрейфуса из группы «Вскрытие покажет», – продолжала делиться новостями Юлька. – Мы с девками цепенеем от их музона. Хочешь послушать?

Михаил СМИРНОВ. Души. Рассказ

Ефим Фадеев потоптался возле калитки. Домой не хотелось заходить. Да и что одному делать там, хотя за многие годы привык к одиночеству. Он поправил шапку на голове. Осень на дворе. Погоды дождливые да ветреные стоят. Шумят деревья. Слетает последняя листва и ковром ложится на сырую землю. А вскоре ударят морозы и вообще тишина настанет в деревне, от которой-то и так осталось всего ничего, а пройдет с пяток лет и только ветер будет шуметь над округой да журавушки станут печально курлыкать и звать их = живых, да никто не отзовется...

Ефим глянул на деревню. Редкие крыши, но частые березы. . редкие жители и частые кресты на погосте да журавушки с каждым годом прибавляются. Вот и все, что осталось от Васильевки.

Он потоптался возле калитки. Глянул на свой дом. Вздохнул. Не только людей к земле тянет, но и дома ниже становятся. Снесут человека на погост, пройдет два-три года и вслед за ним дом хиреет. А снесут последнего жителя и останется от деревни одно название.

Но пока еще жива его Васильевка. И люди в ней живут. Пусть не так много, как раньше было, но все же живут. Вон и собака загавкала. Другая отозвалась. Тенью мелькнула серая кошка и исчезла в сарае. А там заорал петух — громко и протяжно, чуть поодаль еще два отозвались. Живет еще деревня. Это хорошо!

Вскидывая худые колени, Ефим Фадеев зашагал по улице. Уж улицей назвать нельзя. Дом от дома — не докричаться, но все же тропка протоптана. А значит, ходят по ней жители. И Ефим шагал, кутаясь в телогрейку. Ветер промозглый, до костей пробирает.

— Верка, здравствуй! — Ефим навалился на ветхий забор, того и гляди рухнет под ним, и посмотрел на маленькую старушку, что сидела на лавке в садике перед полевым разноцветьем и раскачивалась, словно разговаривала с цветами. — Все сидишь? Как ни иду мимо, ты возле цветов возишься.

Он открыл калитку. Зашел в садик и присел рядом с ней. Провел по цветам заскорузлой ладонью — поздоровался. Взглянул в низкое небо, откуда доносилось курлыканье журавлей. Вздохнул.

— А, Ефимушка, здравствуй! — она закивала головой, глянула скоро и снова взгляд на полевое разноцветье. — А как же с ними не говорить? С одной душой пообщаюсь, с другой, а той покиваю, а по тем рукой проведу и они в ответ кивают, со мной здороваются. И так каждый день. Они ждут меня. И Захарка мой всякий раз ждет. Я состарилась, а он остался таким же, каким до войны-разлучницы был — красивым да веселым. Он молодой, а я в старуху превратилась.

Она вздохнула, посмотрела блеклыми глазами на Ефима и снова о чем-то зашептала.

Ефим был единственным, кому разрешала посидеть рядом с ней возле полевого разноцветья. Никого не подпускала, а он в любое время мог зайти и присесть. Они редко говорили. Просто сидели и каждый о чем-то думал. А о чем они могли думать, если от будущей жизни остался маленький шажок и ты окажешься за порогом, где тебя давно уже ждут. Вот и вспоминал каждый прошедшую жизнь. Вроде она долгая, а оглянись и увидишь, что вся наша жизнь — это черточка между датами рождения и смерти.

Ефим взглядом проводил пару журавлей, что кружились над округой. Нахмурился. Его не станет, и тоже журавушка начнет печально курлыкать над избами, а потом взлетит в синь небесную и умчится в дали дальние, потому что некому будет отозваться на его курлыканье.

— Ладно, Верка, дальше отправлюсь, — хлопнул по коленям Ефим и поднялся. — Пройдусь по деревне. Гляну, как живут, да и сам покажусь на глаза, что еще небо копчу на земле, а не журавушкой поднялся в небеса.

Ефим Фадеев вышел за калитку и, скидывая худые колени, зашагал по тропке. А баба Вера продолжала сидеть, словно и не заметила его ухода.

Ефим знал ее Захарушку. Вместе росли. Вместе работали. Захар машины любил. Готов был днями и ночами возле них сидеть. Дай ему волю, как говорили про Захара, он с закрытыми глазами машину разберет и снова соберет. Да, так и было. Уже перед самой войной привез Захар невесту. Тоже деревенская. Вроде ничего особенного, но чем-то зацепила Захара. Пока был в командировке, ночами простаивал возле ее хаты. И все же уговорил девчонку. И с родителями столковался. А когда уезжали, вдруг мать слезами залилась, что больше они не увидятся. И все обнимала дочку, в лицо заглядывала, словно хотела запомнить каждую ее черточку. И гладила, и прижималась к ней. А потом повернулась и ушла. И они уехали...

— Куда лыжи наострил? — со двора вышел Семен, зябко повел плечами и глянул в хмурое небо. — Обложило. Того и гляди дождь ливанет. Спрашиваю, где был, Ефим?

Достал из кармана мятую пачку дешевых сигарет и задымил, попыхивая вонючим дымом.

— Да вот, прошелся, — буркнул Ефим Фадеев. — На других посмотрел, себя показал. В нашем возрасте никак нельзя одному быть. И присмотр нужен, и помощь какая-никакая. К Верушке заглянул. С ней посидел. Вот сейчас с тобой поговорю. И дальше пойду.

— А, к блаженной ходил, — захекал Семен, выставив в улыбке редкие прокуренные зубы. — Все с цветочками разговоры разговаривает? Души людские собирает. Умора да и тока. хе-х!

И затрясся от смеха.

— Цыц, Семка! — погрозил скрюченным пальцем Ефим Фадеев. — Если она так считает, пусть так и будет. Каждый должен во что-то верить. И Верушка верит, что с душами разговаривает и со своим Захаром говорит. И не суйся к ней, а то быстро салазки в другую сторону выверну.

И погрозил суковатой палкой.

— А что я такого сказал? — проворчал Семен. — Все на кладбище лежат, а у вас все как-то... Ты на Ветвянку всю жизнь ходишь и со своей Марийкой разговариваешь, словно с живой. А Верка говорит, что души в цветы переселяются. И бормочет над ними, и наглаживает. А другие верят вам. хе-х! дурачки да и тока!

— А твоя подленькая душонка, Семен, в ворону переселится, когда придет время, — не сказал, а рыкнул Ефим Фадеев. — Так и будешь падаль собирать. Как был при жизни подлым, таким и уйдешь из нее.

Ефим чертыхнулся и зашагал по тропке. Он уже не рад был, что остановился с соседом.

— Хоть в червя навозного превращусь, мне плевать, — донесся след голос соседа. — А то понапридумывали тут...

— От червя хоть польза есть, а ты, кроме вреда и ехидства, ничего людям не принес, — не поворачиваясь, снова рыкнул Ефим. — Только и переводишь добро на дерьмо.

И зашагал, высоко вскидывая худые колени.

Нехороший мужик — этот Семен. Не уважали его в деревне. Мужики на войну уходили. Погибали. Калеками возвращались. А этот всю войну по справкам прожил, то больной, то кривой, то должность не позволяет и он нужнее в тылу, чем на войне. Так и болтался, как дерьмо в проруби, пока война не закончилась. Зато потом принялся кулаком в грудь стучать, что он всю Васильевку от голода спас, пока остальные воевали. А то бы вернулись к разбитому корыту. И все в таком духе...

— Тьфу ты! — чертыхнулся Ефим Фадеев. — Не хочешь думать о нем, а он словно глист лезет и свербит, покоя не дает. Все в журавушек превращаются, а он живет и словно время его не берет.

И снова зачертыхался.

— Что ругаешься, Ефим? — донесся натужный кашель, и он увидел на крыльце Ивана Логинова. — Идет, как на параде, а сам костерит почем зря. Кого это так?

— Ай, хоть обратно поворачивай, когда Семена повстречаешь. — Черная душонка, как была, так и осталась. Все изгадит, к чему прикоснется.

— А, понятно, — закивал лысой головой Иван, вытащил из кармана фуражку и нахлобучил ее. — Кляузник. Сколько доносов написал на других — страсть! Правда, как земля его носит. Я не

хожу возле его избы. Боюсь, не сдержусь. Не хочется на старости лет отвечать за эту гниду. Ведь спросят же, как за хорошего человека, а он — тьфу!

Иван сплюнул под ноги и растер плевков.

— Ладно, Вань, пойду, — сказал Ефим, опираясь на карепкую суковатую палку. — Знобко на улице. Ветер до костей пробирает. Продрог.

И зашагал по тропке.

— А, ну, давай, — донеслось вслед. — Я тоже докурю и в избу греться.

Ефим не пошел домой. Он свернул на тропку и подался к речке Ветвянке. Уселся возле старого потемневшего креста, что стоял на обрыве, глянул на темную воду, что кружила водоворотами и вздохнул, а потом осторожно кинул в воду маленький букетик полевого разноцветья, что перед уходом сунула ему в руку старая Верушка. Букетик кружился на воде, а потом исчез — это Марийка забрала его.

— Ну, здравствуй, Марийка, — сказал он. Вот я и пришел. Сколько лет хожу и говорю одно и то же. вот с Верушкой повидался. Цветы передала. Тоже сидит и со своим Захаром разговаривает.

И принялся рассказывать все, что произошло. Так было всегда. И сейчас говорил обо всем, словно с живой разговаривал. А когда выговорился, зашагал домой.

И снова не хотелось заходить домой. Потоптался возле двора. Заглянул в свой садик. Посмотрел на яблони. Раньше ребятишкам отдавал урожай. Радовались они. Со всей деревни сбегались. А сейчас некому отдавать. Отнесет по соседям, себе чуток соберет, а остальное земля-матушка принимает.

Ефим вздохнул. Уселся на лавку, что было подле двора. Закурил. Оперся на посох, как называл свою суковатую палку и снова мысли пошли гулять, опережая, друг дружку.

И опять память вернула к военному лихолетью, когда плач стоял по деревне, провожая мужиков на фронт. Захара вспомнил с его Верушкой. он веселым был. И на войну уходил, а сам улыбался, словно не воевать собирался, а на гулянку поехал и сейчас начнет песни горланить да в пляс пустится. А Верушка плакала. Цеплялась за него, не отпускала. А как тут отпустишь, ежели и вкуса-то семейной жизни не успели почуять. Всего неделю прожили, как Захар привез ее, а тут война. Он уходит, а она одна остается в чужой избе, да и в деревне. Ни родни, ни знакомых. Даже поплакаться не у кого на плече.

Захар ушел на войну, а она осталась в Васильевке. Вернуться в родной дом, а там фашисты уже хозяйничают. И ни одной весточки оттуда. Ефим знал, что у нее была большая семья. И родители, и братья

с сестрами, лишь она одна выпорхнула из семейного гнездышка и умчалась вслед за милым. А теперь не знала, что с семьей. Там были фашисты — этим все сказано.

А вскоре и Вера собрала узелок и поехала в соседний городок. Все же там людей побольше, да и работы столько, что ни о чем другом думать некогда. Там и осталась. А в конце войны неожиданно вернулась.

— Ефим, мне сказали, будто моего Захарушку видели в соседнем городке, — запыхавшись, сказала она, едва переступив порог. — Может, ошиблись? Сказали, будто Захар стал инвалидом безногим. Что же он домой не возвращается, если его покалечило? Ведь я же любого его жду — безрукого, безногого, контуженного. Главное, что живой вернулся. А он не приезжает. Может, ошиблись люди, и мой Захарушка еще воюет?

Она безвольно опустила руки. Платок съехал на плечи. И смотрела на него, а в глазах слезы.

— Езжай туда, — сказал Ефим, но чутье подсказывало ему, и он не стал обнадеживать. — Отправляйся и сама смотри, кто перед тобой. Сердце подскажет, что тебе делать, если это Захар. Ну, а ошиблись... на войне всякое бывает. Гляди сама. Когда вернешься, загляни ко мне на огонек. Расскажешь, как было дело.

Вера закивала головой и умчалась.

Прошло несколько дней, когда дверь тихонечко скрипнула и появилась Вера. Прошла к столу, присела на лавку и посмотрела на него.

— Здравствуй, Ефим, — устало сказала она, положила руки на колени и принялась теревить край платка. — Вот я и вернулась. Ну, что тебе сказать?.. сам знаешь, что мой Захарушка с первых дней на фронте, а я посмотрю на снимок и все думы о нём, лишь бы живым вернулся. Любой. Без рук и ног, но вернулся. Каждый день весточки ждала от него, каждому письму радовалась. Читала и перечитывала до дыр. В стопочку складывала. Мечтала, когда он вернётся, вместе будем перечитывать. А в конце войны письма перестали приходиться. Я не знала, что и думать. Если убили, где похоронка? Если без вести пропал, почему не сообщили? А если живой, так отчего не написал? Вот эти вопросы мучили меня. Вроде есть человек, а в то же время, исчез. Пропал. И никакой весточки от него. Был и пропал, я бы так сказала. Но если нет никаких вестей, значит рано хоронить. У других же бывало, что чуть ли не с первого дня ни одного письма не получали, а потом объявлялся жив и здоров. И я верила, что мой Захар живой. Вытащу фотографию и разговариваю с ним, словно он рядышком сидит. Обо всём говорила, но чаще вспоминала нашу прошлую жизнь и мечтала о будущей, как война закончится, он вернётся, и мы заживём, и детишек будет семеро по лавкам. Сама мечтаю и

казалось, он слышит меня и отвечает. Понимаешь, верила, что он живой. Сердце подсказывало. Сколько говорили, что понапрасну жду, а я продолжала надеяться, что мой Захарушка вернётся. И не ошиблась. Как я говорила тебе, Ефим, однажды тётка Авдя, соседка, пришла и говорит, будто видела на вокзале в соседнем городке калеку безногого. На моего Захара похож, такой же молодой, но весь седой. Подошла к нему, окликнула, а он прогнал её, сказал, что ошибаешься, тётка, что он случайно попал в этот город, а сам будто бы живёт на краю земли. Она рассказывает, а у меня сердце ёкнуло. Подхватилась и к тебе примчалась. Все рассказала. Ты посоветовал, чтобы я поехала в соседний городок и своими глазами увидела, мой ли это Захар.

Я помчалась туда. И не удержалась, ноги подогнулись, когда калеку увидела. Издалека поняла, что это был Захар. Пьяный. На тележке пристёгнутый. Он сидел возле привокзальной столовой. Я кинулась к нему, а ноги не держат. Упала перед ним, заголосила. А потом бросилась обнимать его и целовать, а сама и смеюсь и плачу, его ругаю, что ж ты, такой-сякой домой не едешь, я ж все жданки проела, все глаза проглядела. Он увидел меня, отдёнулся, весь затрясся, аж белый стал, принялся матюгаться и всё норовил оттолкнуть, мол, обозналась ты, девка. А как я могу обознаться, если каждую чётточку, каждую родинку знала наизусть? Снова сунулась к нему, а он в кошки-дыбошки, мол, если не отстанешь, изувечу!

И замолчала, о чём-то задумавшись.

И Ефим молчал, опасаясь нарушить эту тишину. Он понимал, что так все и получится. Знал характер Захара. И сразу понял, что это он появился. А домой не хочет появляться, чтобы не стать обузой для жены. Ефим видел таких, когда в госпитале лежал, где некоторые солдаты срывались и ни в какую не хотели возвращаться в родной дом. Да лучше погибнуть и лечь во сырую землю, чтобы журавушками взмыть в небеса, чем отправляться в таком виде домой и ловить на себе взгляды жены и знакомых. И на вокзалах встречал солдат, которые отказывались ехать домой, не понимая, или не хотели понимать, что их ждут дома любыми. Пусть израненные, без рук и ног, но они вернуться живыми — это же главное для жены и детей.

— Ну, что решила, Верка? — сказал Ефим, покосившись на нее, на ее руки, безвольно опущенные на колени. — Забрала Захара, или мимо прошла?

И глянул, а взгляд колючий, словно обжег ее.

Она вскинулась.

— Ну, как же я могу оставить его, Ефим? — всплеснула она руками и снова они опустились. — В общем, через ругань и тычки, но всё же уговорила и забрала его домой, — покачиваясь, сказала она. — Привезла. Своей бани нет. Нагрела воды и ну его намывать. Только пена и мат во все стороны летели, а я молчала. Плакала, что

на нём живого места не было. И радовалась, что мужик возвратился домой. Пусть изувеченный, но главное, что живой. Теперь заживём! У других никого, а у меня хоть калека, но вернулся. Да, радовалась...

И опять замолчала.

— Ну и умница! — закивал головой Ефим. Дома стены лечат. С ним побольше будь, чтобы он видел, что ты рада его возвращению. Пусть израненный, но живой. Ведь и словом можно вылечить. Ладно, вечерочком загляну на огонек. Много говорить не стану. Думаю, там и без меня покоя ему не будет. Понабегут бабы. Расспросы начнутся. А ты придерживай его, чтобы не сорвался, а то дров наломает. Надоедать не стану приходами. А ко мне забегай. Расскажешь, как живете. Может, что-нибудь подкажу.

Вера сидела. Слушала его. Кивала. А взгляд больной и какая-то растерянность в нем была, словно она не знала, как ей дальше-то жить.

Ближе к вечеру Ефим Фадеев собрался. Сначала хотел форму надеть, а потом простые штаны натянул, пиджачок, телогрейку на плечи и кепка на голове, а на ноги старые сапоги. Полный кисет самосада набил. Каравай хлеба взял, чуток пожелтевшего сала и немного картошки. Все уложил в мешок и зашагал в гости. Но сразу не стал заходить. Прислушался. В избе уже слышен говор. За спиной быстрые шаги. Обернулся. Марья Шаронова торопится, придерживая на голове спадающий платок.

— Слышь, Марья, — остановил Ефим соседку. — Ты насчет своего Федьки пришла узнать? Особо в душу Захара не лезьте. И другим бабам скажи. Захару еще не до расспросов. Пусть чуток в себя придет. Успеете наговориться. Тяжелый он. Не теребите душу.

Марья закивала и первой проскользнула в избу. Ефим неторопливо поднялся по ступеням. Стукнул в дверь. Склонив голову, зашел. Взгляд по задней избе, где была Вера и две соседки, которые о чем-то ее спрашивали, посматривая на горницу.

— Верка, здравствуй! — словно и не виделись, поздоровался Ефим. — На-кась, гостинцы. Разберешь. Там кисет с самосадам. А где Захар?

— Там он, — кивнула Верка. — Самогонку пьет. Злой. Ругается.

— Ну, ничего, и я выпью с ним за встречу, — наклоня голову, чтобы не удариться о притолоку, Ефим шагнул в горницу, где во главе стола сидел Захар в расстегнутой гимнастерке. Перед ним бутылка с белесой самогонкой. Пара тарелок. И два-три стакана. Возле него примостился пьяный дядька Матвей, который все порывался что-то сказать, но язык заплетался и он, махнув рукой, ткнулся лбом в стол. Подле них несколько соседок вели нескончаемые разговоры о своих мужиках, что тоже в бутылку заглядывали, когда вернулись, а сейчас ни-ни, ни капельки — этим, как бы подбадривали Захара, а он лишь

зубами скрипел, да кулаки с хрустом сжимал.

— Здоров был, Захар! — Ефим подошел, ткнул ладонь, здороваясь, потом громыхнул табуреткой и присел рядом. Взял бутылку. Ему налил немного, себе плеснул. И поднял стакан. — Ну, с возвращением, Захарка! Молодец, что живым вернулся. Веерка всю войну ждала. Все глаза проглядела. И радовалась, когда узнала, что ты живой.

Он чокнулся. Выпил. Взял корочку хлеба, занюхал, отломил крошку и принялся катать во рту.

— Да лучше бы я сдох, — рыкнул Захар, выпил и грохнул стаканом об стол. — Верка бы поплакала и ладно. А кому я такой нужен? Глянь на Верку и на меня. Для чего мне жить, а? Лучше бы сдох...

И Захар снова потянулся к бутылке.

Ефим молчком отобрал бутылку и отставил в сторону.

— Не ты один таким вернулся, — хмуро сказал он. — Леонтий пришел без ноги, Роман Кузин покалеченный, Санька вообще почти слепой приехал — глаза выжгло. А он едва вернулся и сразу женился. Баба вроде на сносях у него. А Парфена вообще без рук и ног привезли. Култышка торчит и все. Так он детей смог настрогать. Баба нарадоваться не может, что мужик в доме. А ты подыхать собрался. успеешь еще в журавушку превратиться. И так много сельчан журавлями с душами солдатскими вернулись. Глянь в окно и увидишь, как кружат они над Васильевкой. Курлыкают. Душу тревожат. А сколько еще вернется журавушками — никто не знает. Лишь война знает это...

Ефим налил в свой стакан. Выпил. И заскрипел зубами.

— А ты знаешь, сколько мне пришлось повидать на войне? — пьяно сказал Захар и провел ладонью по горлу. — Во, насмотрелся! А ты еще будешь говорить мне. Да пошли вы...

Он громко выругался.

Дверь в горницу приоткрылась и заглянула встревоженная Верка. Но Ефим кивком показал, чтобы не совалась.

— А ты один воевал? — заскрипел зубами Ефим. — А другие цветочки нюхали? Все воевали. Все были там. И каждый вернулся со своей бедой. Но живут, потому что надо жить. Я тоже торопился домой. Думал, заживем с моей Марийкой. Наверстаем, что упустили за войну. Детишек будет семеро по лавкам. А вернулся, мне говорят, что утонула моя Марийка, когда спасала мальчика детдомовского, который под лед провалился. Его спасла, а сама ушла под лед. В журавушку превратилась. Мне жить не хотелось. Я пошел в детдом, чтобы в глаза посмотреть этому мальцу, из-за которого Марийка утонула. Глянул, а в них боль — тягучая, непереносимая. И я ушел. На берег Ветвянки пришел, где Марийка под лед провалилась. И весь день просидел. С ней говорил, как с живой. И каждый день хожу

туда. И буду ходить, потому что она осталась для меня живой. Она погибла, спасая мальчика, а ты добровольно хочешь помереть. Эх, да, что говорить-то? Все равно не поймешь...

Он снова налил в стакан и выпил, а потом замолчал.

И Захар молчал. Искоса посматривал на него, сжимал кулачищи и молчал.

— О, Захарка вернулся! — забасил Николай, распахивая дверь в горницу, и едва протиснулся, и сразу как-то тесно стало здесь от этого великана. — Мне говорят, а я не верю. Как же вы мимо нашего дома проскочили? Ну, чертяка, здоров был!

Он подхватил Захара, обнял его и затеребил, а потом осторожно посадил на лавку.

— Откуда ты примчался? — покосился Ефим. — Вроде уехал, как видел.

— Ай, в город посылали, — отмахнулся Николай, взял бутылку, и она чуть ли не скрылась в огромной ладони. — Запчасти выпрашивал. Нужно мастерские запускать. И для тебя, Захар, работенка найдется. Договорился. Кладовщиком будешь. Надеюсь на тебя, что порядок наведешь на складе, а то пораспустились без нас. Мы еще покажем им, а пока давай-ка выпьем за твое возвращение.

Все подняли стаканы. Выпили. Захрустели капустой. Снова потянулись к бутылке, но Ефим придержал.

— Все, братцы, с меня хватит, — сказал он и поднялся. — И Захару достаточно. А поговорить — это нужно. А если еще на работу пристроишь, вообще хорошо будет. А то закис наш друг. Ну, Захар, не прощаюсь. Теперь буду почаще заглядывать. А ты подумай над моими словами.

Ефим вышел из горницы. Кивнул Вере и вышел на крыльцо. Закурил. Стоял, пыхал вонючим самосадом и хмурился. Перед глазами стоял пьяный Захар и злость в его глазах, аж желваки ходуном ходили. Да, досталось ему по самые ноздри и сможет ли вернуться к нормальной жизни — неизвестно.

Заскрипела дверь и на крыльцо вышла Вера, кутаясь в шаль. Она молчком глянула на Ефима, а взгляд уставший.

— Ну, что сказать тебе? — Ефим докурил, поплевал на ладонь, затушил окурок и кинул в лужу. — Посмотрел на него. Поговорил. Я с такими встречался в госпитале, да и на вокзалах попадались, когда возвращался домой. Он махнул рукой на себя. Если стал калекой, значит, никому не нужен. Понимаешь? Отвлечь его надо от этих мыслей. С ним побольше быть, если получится. Поменьше про войну говорить. Это самое больное место для него. И чем-нибудь нужно его занять, чтобы дурные мысли в бошку не лезли. Да, забыл... Николай пообещал пристроить его кладовщиком в мастерские. Пусть немного денег, зато при деле будет.

— Пусть хоть бесплатно работает, лишь бы сиднем не сидел и в бутылку не заглядывал, — обрадовалась Вера. — Все же на людях будет, а я попрошу Николая, чтобы тележку ему сделали. Сама буду возить и забирать с работы. хорошо-то как!

Было видно, как она радовалась этому известию. И заметалась на крыльце, не зная, с Ефимом стоять или к мужу бежать.

— Ну, торопись к Захару, засмеялся Ефим. — Глядишь, вернется в жизнь.

Она хлопнула дверью и скрылась в избе.

Ефим зашагал домой, продолжая хмуриться...

Прошло несколько месяцев. Вроде бы все складывалось хорошо. Захар потихонечку стал работать. Верка расцвела. Красивая, зараза! Глаз не отвести от нее. Вроде живи и радуйся, что жизнь стала входить в свою колею, но потом пришла беда.

Старый Ефим вздохнул, опираясь на суковатую палку. Эх, жизнь! Как ни крути, а мысли все равно возвращаются в прошлое. И чем старше становишься, тем чаще бываешь в прошлом. А в будущее даже не заглядываешь. Что там делать? ты и так знаешь его. Глянь на мазарки, вот и ответ получишь. Снесут туда, и еще один журавушка поднимется в синь небесную и будет курлыкать, душу людям тревожить.

Недолго прожил Захар после возвращения.

Однажды сидел Ефим возле двора. Тенью мелькнула Верка. Присела рядом с ним. Долго молчала. Глянула на него, как огнем опалила.

— Все, нет больше моего Захарушки, — едва слышно сказала она. Сидит, смотрит куда-то, а слова, как камни на душу ложатся. — журавушкой взмыл в небеса. До войны мечтали об одной жизни, а на деле по-другому получилось. Тянулись соседки, чтобы про своих мужиков спросить, у кого с войны не вернулись. Шли узнать, не встречал ли их. Двери не закрывались. И не выгонишь. Сама такой же была. Они спрашивают, а его трясти начинает. Не хотел вспоминать войну. Да так и было... А бывало, что плакал. Отвернется, а у самого плечи ходуном ходят, а спроси, сразу огрызался, если сунешься пожалеть, матюгами обложит. Я понимала, не на меня злится, а на себя, что такой молодой и калека. До войны был шофёром. Вернулся калекой. Однажды бегу домой и вижу, сидит мой Захарушка возле чужой машины и гладит колесо, а у самого слёзы на глазах. Ему бы не на складе работать, а за баранку сесть, да отъездил свое. Кинулась к нему, а потом остановилась, а у самой сердце, словно в кулак сжали, аж не продохнуть. Всё бы отдала, чтобы вернуться к прошлой жизни, но не получилось. Захар молодой, ему жить да жить, а он не выдержал и запил. Крепко. Я на работу, а Захар к магазину. Там всегда находились сердобольные люди. То деньги сунут, то угостят.

А к вечеру лыка не вяжет. Вернусь, а его нет. Бегаю по улицам, его разыскиваю. Найду, домой волоку. А утром снова на работу. И так каждый божий день. В общем, сломался мой Захар. Его можно понять. Жена молодая, а он калека. Здесь бы ребяташек рожать и рожать, упущенные годы навёрстывать, а он ни на что не способен и на детей — тоже. Я работаю, а он инвалид безногий. Я расцвела, когда его нашла, обрадовалась, что мужик домой вернулся, а он себя поедом ел, что не погиб на фронте, что калеки никому не нужны, а жёнам тем более. И покатился по наклонной. И чем дальше, тем быстрее. Ночами воевал. Нет, не со мной. В атаку ходил. Он же в пехоте воевал. Очнись от крика: «Взво-од за мной!». Кинусь, а он лежит и трясется. Вроде смотрит на меня, а не видит. Криком исходит, поднимая солдат, аж пена на губах и глаза белые, и всё обрубками ног шевелил, словно бежит... Трясу его, трясу, он не слышит. Он бойцов в атаку ведёт. И умер в атаке. Вскинулся, закричал, взмахнул рукой и захрипел. Бросилась к нему, а он не дышит. Сердце остановилось. Осколок рядом был. Сдвинулся, и не стало моего Захара. Вот и получается, что на войне погиб, хотя и стал калеккой. И поднялся вслед за другими в синь небесную, — помолчала, а потом не сказала, а выдохнула. — Не уберегла его. Себя буду винить до последнего дня своего, что не сберегла мужа, что времени на него не нашла. Его бы приласкать, чтобы душа оттаяла, присесть и поговорить лишний раз, а я на работу бежала. Если б рядышком была, думаю, выходила бы его. Потихонечку, но вернула к жизни. А у меня не получилось. Чуть свет уходила на работу и поздно возвращалась, а мой Захарушка оставался один на один со своими думами и бедой. До войны песни любил петь, а вернувшись, замкнулся в себе. Не то, чтобы песню, слово с него не вытянешь. Так и ушёл от меня, не поговорив по душам. Поэтому виню себя в его смерти. Себя и никого более. Журавушкой стал и поднялся в синь небесную, чтобы встретиться с такими же, кто лег во сырую землю, чтобы подняться в небеса...

Снова посмотрела на Ефима, а глаза сухие-сухие, и боль полыхает в них. Смотрит, словно в душу заглядывает, аж внутри засвербело от ее взгляда.

— Да, Верка, уходят солдаты в последнюю атаку, — вздохнул Ефим Фадеев. — И я с такими встречался. Что говорить-то? Я тоже воюю ночами. В атаку ходим с ребятами. И вижу, как падают они. Пытаюсь помочь. Кидаюсь к ним, а ноги не двигаются. Хватаю ребят, а они выскользывают из рук. И снова падают на землю, чтобы журавушками взмыть в небеса. До сих пор приходят ко мне ночами. Смотрю на них, разговариваю. Утром поднимусь и сам не свой. Видать, до последнего моего часа буду воевать. И уйду, чтобы с ними встретиться да со своей Марийкой.

Он замолчал и нахмурился.

Верка тоже молчала, перебирая край платка.

Но беда не приходит одна. После похорон принесли Верке казенную бумагу, где сообщили на ее запрос, что отец геройски погиб на поле боя, а всю ее большую семью — мать, братьев и сестренку расстреляли фашисты. Ночью окружили деревню, всех жителей согнали к глубокому оврагу и из пулеметов расстреляли. Всех до единого! Никто не спасся.

И Верка погасла, словно свечечка. так-то едва держалась после смерти Захара, а тут сломалась. Дни и ночи сидела на лавке. Качает головой. То разговаривает, то начинает по сторонам смотреть, словно кого-то ищет, а потом опять бормочет, а взгляд тоскливый и больной. А потом исчезла. Куда делась — никто не знал. А Ефим не стал говорить. Посоветовал Верке, чтобы она съездила в родную деревню. Привезла землю с места гибели семьи и рассыпала в садике. Пусть чует, что родные души всегда рядышком. Видать, послушала его.

Долго Верка не возвращалась в Васильевку. Все уж думали, что пропала или где-нибудь осталась, чтобы ничего не напоминало ей о прошлой жизни, как вдруг она объявилась.

— Здравствуй, Ефим, — поздним вечером открылась дверь и через порог ступила Верка. Одежка пообтрепалась. Платок на плечах. Сама молодая, а волосы словно у старухи глубокой — седые и тусклые, да и глаза не лучше. Потух взгляд. Поблекли они. — Вот я и вернулась. Ездил в родную деревню, как ты посоветовал. Разыскала место, где расстреляли. Глубокий овраг. Внутри темно, а склоны цветами покрыты. Разные цветы. Усыпаны склоны! Долго сидела на краю оврага. Всё плакала, говорила с матерью и братишками, и показалось, что цветы качаются, словно разговаривают. И правда, прислушаешься, будто шёпот отовсюду доносится. Видать, души людей, кто погиб здесь, в цветы превратились. Листва с деревьев облетела, а склоны сплошь в цветах, которые закачались, когда с ними заговорила. Долго сидела, обо всём говорила и о жизни — тоже, потом насыпала земли из оврага, где они были расстреляны, где кровь рекой текла и остановилась на ночлег у старухи, что жила на краю леса. До утра просидели. Обо всём говорили с ней. А утром, когда я собралась в дорогу, она сунула узелок в руки и сказала, что в этих семенах души людские находятся. И я всю дорогу, пока добиралась сюда, достаю узелок с семенами, на ладошку высыплю и разговариваю с ними. Посижу, всех повспоминаю, поздороваюсь, каждого по имени назову, со своим Захаром поговорю, с матушкой пошепчусь, отцу поклонюсь, и душа успокаивается. И они, наверное, тоже радуются, что их не забываю. Там радуются...

И ткнула вверх, словно на небеса показывала. Замолчала. Сидела, раскачивалась и о чём-то думала. Наверное, своих вспоминала...

Ефим не мешал ей. Молчком налил чай в кружку, пододвинул

поближе, рядом конфетку в крошках табака. Она взяла не глядя, придвинула чай и принялась потихонечку отхлебывать, а по глазам было заметно, что она далеко отсюда.

— Верка, ты посади цветы в садике, — так, словно невзначай, сказал Ефим. — Пусть растут. И тебе полегче станет, что твои родственные души рядышком находятся. будешь в свободное время присаживаться возле них да разговаривать. Все легче, чем одной в четырех стенах.

И непроизвольно вздохнул, оглядывая свою избу, где давно уже поселилось одиночество.

Верка послушала его. Посадила цветы. И все удивлялись, что так быстро принялись и зацвели. А Вера каждый вечер приходила в садик. Выносила табуретку, садилась лицом к цветам и принималась что-то рассказывать, словно с кем-то разговаривала. Соседки пальцами крутили возле виска, мол, дурочка объявилась, а потом замолчали. Шептались, что умом повредила, когда столько беды на нее свалилось. Одна осталась. И сокрушенно качали головами, вот что делает с людьми война проклятушая...

С той поры Вера одна осталась на всём белом свете. Такого, как Захар не найдёшь, а другие не нужны. Памятью жила. Всё, что было хорошего в ее жизни, осталось в прошлом, а впереди беспросветная жизнь, в которой была одна радость — это души людские...

...— Да, жизнь пролетела, — вздохнул Ефим Фадеев, опираясь на суковатую палку. — Осталось совсем немного. Одни журавушками в небо поднялись, а другие разноцветьем полыхают и прохожие радуются, глядя на цветы с душами людскими. Может и правда, души людей переселяются в цветы, как Вера говорила. Всё как в жизни — у одних она яркая и многоцветная, как конфетная обёртка, но душа пустой окажется, а у других с виду непримечательная, а копни поглубже и увидишь, сколько тепла или добра в этом человеке находится, который со всеми делится и ничего взамен не требует. Каждому человеку, как и цветку, уготована своя жизнь. Одни пытаются прыгнуть выше головы и разбиваются, ничего не достигнув, некоторые взлетают, но быстро сгорают, а другие довольствуются тем, что свыше дадено. Значит, после смерти у каждого человека будет свой цветок, где его душа найдёт покой. Видимо, так оно и есть. Ну, а моя душа поднимется в синь небесную, где меня уже моя Марийка и друзья-товарищи дожидаются, кто на проклятушей войне лег во сырую землю, чтобы журавушками подняться в небеса.

Он поднял голову и подслеповато глянул вверх, где над головой кружились и призывно курлыкали журавушки, словно его за собой звали...

— Вроде долгой была жизнь, а на деле... Потерпите чуток, — вздохнул Ефим. — Придет мой час, и встретимся...

И журавушки словно услышали его. Закурлыкали громко, а потом умчались в дали дальние...

Дина ИЗМАЙЛОВА. Александр умирал. Рассказ

Александр умирал. Это было очевидно всем, даже ему стало казаться неотвратимым, хотя в уголке сердце всё равно теплилась надежда: «Авось минует, авось пронесёт»

Смерть проступала сквозь его посеревшую кожу, сочилась через поры вовне, расплзалась в разные стороны флюидами мрачной тоски, распирающей его душу. Когда он входил в комнату, наполненную беспечным шумом досужей болтовни, родные притихали, неловко отводя глаза, жена с фальшивой беззаботностью вскрикивала: «Саша, садись», суетливо пододвигала ему чашку, поправляла скатерть. Дочка глядела поверх его головы с отчужденной приветливостью, не произнося ни слова. В очередной раз с досадой и нежностью он вспоминал о ней маленькой – теплой и доверчивой, беспрестанно льнувшей к нему в своевольно-капризных порывах инстинктивной ласковости. Как-то вдруг она превратилась в колкого подростка с резкими шутками и тяжелым испытующе-подозрительным взглядом, а потом в женщину с мягкими очертаниями тела, легкой походкой и неуловимо изменчивыми глазами, сквозь невозмутимую серьезность которых то и дело проглядывало дразнящее лукавство.

Глаза у дочери были его, переливающиеся разными цветами в зависимости от освещения и настроения, вспыхивающие яркой зеленцой на солнце. «Хамелеоны- мягко улыбалась жена – одна порода». У жены и сына глаза были предельно ясные и понятные в своей пронзительной голубизне, они полностью отражали суть их владельцев – надежную стабильность психики, без резких эмоциональных взлетов и падений, бесхитростную спокойную привязанность ко всем явлениям бытия, лишённую колебаний противоречивых страстей, заставляющих сердце звонко биться о реберную решетку.

Александр подумал, что, наконец, он готов отказаться от неумности и бесшабашности чувств, толкавших его ранее на безумства, но тут же одернул себя, призвав к честности. «Хотя бы самому себе не надо врать, разве же я сам отказался? «Не хотят поститься добровольно – будут поститься недобровольно». Пошусь недобровольно, по немощи физической, с безотчетной завистью поглядывая на других, способных жить на полную катушку, способных ещё жить... Тело восстало против меня, тело, истерзанное страстями, запустило режим самопожирания. Здесь некого винить, как бы не хотелось иной раз».

Иногда в глухой ночи ему казалось, что он слышит сочное безжалостное чавканье – время откусывало от него кусок за куском, с аппетитом жевало, проглатывало. На утро он вставал на весы – молча смотрел на высвечивающиеся цифры, получая наглядное

подтверждение, что день ото дня у него остается всё меньше плоти.

Остатки себя он вышвыривал на улицу погулять – последнее утешение побродить по равнодушному миру среди незнакомых людей, не ведающих об его глобальном изъяне – о том, что он уже не человек – огрызок человека и скоро запропадёт в пространстве весь. Дома это было слишком очевидно, дома он ощущал себя мертвым уродливым деревом посреди цветущего сада, нарушающим прекрасный ландшафт, вносящим нотку болезненно-тревожного диссонанса в мелодичную гармонию будничного, наполненного уютными хлопотами существования. Он избавлял от себя родных, он знал, что они облегченно вздыхают после того, как он захлопывает за собой дверь, виновато переглядываются и одергивают шторы на окнах, разряжая солнечным светом густоту внутрикомнатного воздуха, наполненного бактериями его умирания.

В один из дней он вышел в несусветную рань. Ярко желтый свет фонарей превращал знакомую улицу в уютное помещение, укрытое от неба копной деревьев, прозрачно и призрачно золотящейся, едва шелестящей на неосязаемом ветру. Невнятное колыхание мира, словно его кто-то раскачивал извне, взвихря листья и траву в нежном любовном порыве. Еле слышное постанывание тишины, протяжно вливающейся в мысли прохладным бальзамом смирения и успокоения.

Вдруг глухой женский голос прорезал предутреннее безмолвие. «Зачем, зачем ты приперся в пять утра? – возмущенно кричала женщина – У тебя же есть своя квартира. Дурак. Просто старый дурак. Я тебе не нянька, понял». Завернув за угол, он увидел их – пожилая пара, словно слившаяся воедино в своей абсолютной непохожести. Он – весь в черном и в смешной шапке, напоминающей берет карнавного морпеха из тех, что носят маленькие мальчики детского сада, компактный и приземистый, грибок боровичок, неуверенно качающийся на своих ногах, для надежности то и дело опирающийся на тросточку, Она – худая и прямая, облаченная в ярко красный плащ, узко затянутый на талии, вся словно устремленная ввысь – взлохмаченными рыжими кудрями, острым носом, нацеленным в небеса, непокорными плечами, вздернутыми вверх. Женщины такого почтенного возраста, возраста его жены, обычно всецело во власти закона притяжения к земле. Размягчение плоти, постепенное незаметное вращение в почву, оседание плечами, чувствами, помыслами к низу – к насущности ничтожных каждодневных задач, осуществляемых в чинном благоговении по строгому ритуалу многолетней привычки. А тут совсем другая картинка – маленькое лицо, сжавшееся в тугую комоч сушеного урюка, но тем не менее полыхающее в пять утра кровавой алостью помады на губах и гневливой страстью в глазах. Состарившаяся Кармен,

бессильно трясущая своего благоверного за грудки в стремлении задушить его в объятьях, несущих то ли смерть, то ли возрождение. И его покорное бормотание, проказливая беспомощная ложь: «ну, родная моя, ключ в замок не подходит, не могу открыть дверь».

– Что ты врешь? Что ты врешь? 10 лет подходил, а сейчас вдруг не подходит. Пил, да? Гулял всю ночь? И что, пришел, чтоб я нянькалась с тобой? Не буду! Я не буду с тобой нянькать. 30 лет назад сказала, что не буду, не буду и сейчас.

– Да где пил? На что пил? Так, выпил немного. А потом к тебе шёл. Шёл-шёл, и пришёл. А ты ругаешься всё. Что ругаешься?

– Ко мне шёл? Всю ночь шёл с соседнего двора, да? Ах, он шёл. Стервец, блудник, пьяница. А теперь развернулся и пошёл обратно, понял. Уходи, уходи. – То ли посылала, то ли призывала его она.

Она побежала вперед, Блудник и пьяница медленно заковылял за ней, оставаясь далеко позади, не тщаась догнать её, просто стараясь не выпускать из виду её яркую фигурку, пламенеющую в предутренней тьме, манящую его как маяк, последнее его жизненное пристанище. Она останавливалась, поджидала его, нетерпеливо постукивая об асфальт ногой в мохнатом полусапожке и, дождавшись, обрушивала на него очередной ушат заряженной эмоциями брани и устремлялась вновь вперед. А он – за ней, покорно и упрямо, тросточкой корябая землю...

Александр вдруг вспомнил, как в далеком прошлом он возвращался домой поутру после долгих пьяных гудежей и брёл, шатаясь, по безлюдной улице, брёл домой к своей любимой, и весь мир шатался в такт его мыслям и чувствам, мир, заряженный электронами одурманивающе-ошеломляющей нежности. Он залазил в городской сквер, он обрывал тамошние огромные розы, раздирая руки жесткими длинными иголками. Приходя домой, протягивал ей, сонной, закутанной в короткий халатик, обнажающий пышные молочно-белые ноги, охапку встрепанных цветов, залитых его кровью, а она смеялась, потряхивая пшеничными локонами, беспечная и естественная, как сама природа, безмятежно любимая, безоблачно любящая, беспечно принимающая его беззаконные дары, с невинной жестокостью не замечающая кровоточащие раны на его ладонях и сердце. Впрочем, любовь, это наслаждение не только радостями, это ещё и упоение болью. Боль и радость, сливаясь в одно, электрическим током пронзали тело и душу, выводя их на какую-то новую, нет, нет не более высокую, на совсем иную ступень существования. Куда-то вне обыденной жизни.

Он давно уже не дарил жене цветы. С тех пор и не дарил. Она перестала беспричинно смеяться со времени рождения старшего сына, как-то вмиг посерьезнела и осанисто остепенилась. Хмельного и буйного его встречала взором, полным укоризны и кроткого

милосердия и, по-матерински качая головой, указывала на диван, раз и навсегда обрубая любой его порыв в отношении её, как дурной, так и возвышенный. Халаты год от года становились всё длиннее, превращаясь в бесформенные хламиды, пропахшие лекарствами и борщом. Жизнь текла скучно и уныло, наполненная маленькими незаметными приятностями, неранящими досадными невзгодами. Они почти перестали разговаривать, соприкасаясь иногда телами, но почти не пересекаясь мыслями и чувствами – она полностью ушла в утешительную хлопотливость общественных благодеяний, принося всю себя в дар чужим потребностям. Он – забился в эгоистично-равнодушную тоску по несбывшимся надеждам, охраняющую его от необходимости что-то делать, чего-то хотеть.

Иногда он вглядывался в её лицо и сквозь поникшие черты замечал ту самую девочку, то и дело заливающуюся хохотом по любому поводу. «Ты уничтожаешь меня своей правильностью, своей приземленной тоскливой святостью, не дающей даже возможности приподняться над землей. Ты сама толкаешь меня в грех» – обвиняюще вскрикивал он в моменты опьянения. «Ты спасаешь меня от бездны, от головокружительного полета на дно» – в моменты трезвления он включал голову и силился взрастить в себе благодарность.

Впрочем, он не был искренен до конца ни тогда, ни тогда, потому не мог и покаяться ни в чём. Да и надо ли каяться? Нет правды ни на дне бутылки, ни в искусственно возвращенном благоразумии. Есть ли вообще правда, хоть какая-нибудь? Супруга жила в рамках строгих правил, охраняющих её от любой неожиданности. Он принимал её правила за основу их совместного бытия, только с иной позиции. Она правилам следовала, он их нарушал, пока болезнь не отняла у него силы для беззакония. Они с разных сторон подпирали свою семейную жизнь, дополняя, но давно не радуя и не огорчая друг друга. Он болел, он лечила, он косячил, она прощала и воспитывала, он восставал, она утихомиривала. Иногда ему так хотелось перетянуть её на свою сторону, как в юности побыть вместе, совсем рядом, ощутить близость всей кожей, побродить бесцельно в ночи, держась за руки, забыться в постели, наконец, в невинном бесстыдстве вседозволенности, заменив грозное пугающее «надо» на шаловливо легкое «Хочу». «Всего лишь шалость, милая, беззаботно встряхни кудрями, как тогда, в юности, не заморачивайся, откуда цветы и что нам за это будет, просто вдохни аромат до одурения и забудься на пару мгновений. Побудь со мной вместе, а не напротив, усьмири свой докторский взгляд – сострадательно-обличающий, целительно-карающий, утешающе-расхолаживающий».

Но жена не из тех, кто будет бегать в ночи, взрывая темноту алостью губ и одеяний. Она пойдёт за ним в ночь, Александр знал это, верил в преданность жены свято – ходила не раз, решительная,

заплаканная и тусклая, как погасшая звезда, находила его среди обломков рухнувших в грязь мечтаний, взваливала на свои плечи его полубездыханное тело и тащила домой. Он вдруг подумал, что если бы она приходила в своём легком халатике, обнажающем пленительную пышность молочно-белых ног, или хотя бы в красном плаще, стянутом на талии узким кожаным ремешком, хохоча или ругаясь, он бы полз за ней сам, ковылял что есть мочи, боясь отстать. Но она не давала ему шанса встать самому, раз за разом тянула из болота его дурных страстей, приучив его к своей силе, упрочив его в его слабости. К его благодарности всегда примешивалась нотка беспомощного возмущения, детского мальчишеского ропота. Он осознавал свою неправоту, но сохранял за собой право на неё, потому что не ведал уверенности, в чем правда. Его неуверенность придавала его неправоте оттенок истины. Уверенность жены придавала её правде сомнительный запах притворства.

Он давно уже не вставал. Несколько раз в день жена приносила ему стакан молока и конфету «птичье молоко», другого он давно не ел, помогала приподнять голову с подушки, иногда даже получалось присесть. Он послушно делал пару глотков, с усилием откусывал кусочек от нежной сладости, разливающейся у него во рту вкусом детства. Она ласково гладила его по стриженной голове, пока он медленно сползал обратно к подушке, так и не выходя из своей полудремы, из своего мечтательно-сонного забытья. Он уже практически не различал лиц родных, жил наощупь, чувствуя окружающий мир поверхностью кожи, почти не соприкасаясь с ним мыслями и чувствами.

Каждое утро происходила неминуемая церемония входа в жизнь. Его мыли, причесывали, ковырялись в ушах, ногтях, меняли белье, потом оставляли в покое, наконец, и он спокойно погружался в себя – чистый, благоухающий мылом, усохший до размера десятилетнего мальчика, облаченный в огромные яркие трусы, из которых жалко и смешно выглядывали его тощие ноги, оканчивающиеся неожиданно большими ступнями.

– Как думаешь, он страдает? – с тревогой спрашивала жена, прислушиваясь бесшумному дыханию умирающего.

– Папа? – усмехалась дочка – когда папа страдает, страдают все вокруг. Папа умеет безмолвно проецировать вовне все свои чувства.

– Может, он терпит, скрывает боль? Увеличить дозу лекарств?

– Не думаю. Папа не умеет терпеть боль. Он и радость то терпеть не умеет.

– И всё-таки, зачем так долго? Ведь можно быстро – хоп, и отмутился. За грехи ему такая смерть, что ли?

– Может, это милость. Посветлел он как-то. Ещё недавно весь черный был, а сейчас с каждым днём всё светлее. И всё вокруг светлее.

Комната и впрямь была наполнена странным сладковато-теплым свечением. Сквозь тюль нежно очерченными квадратиками падал свет, рассыпаясь по стенам, полу, мебели. Александр изредка нехотя разлипал тяжелые веки и видел в прорези окна березу, подчиненную порывам капризного весеннего ветра. В иные дни бешеными порывы ветра распинали её в воздухе, неистово дергая в разные стороны, заставляя сгибаться и разгибаться, нещадно кидая из стороны в сторону в грубой страстной жестокости. А порой такая нежность сквозила в пространстве, едва-едва шевелил ветер молоденькую листву, щекоча ласковыми касаниями, и веточки грациозно изгибались, льнули друг к другу, переплетались между собой, перешептывались, радуясь своему послушанию с детской доверчивой покорностью. Глаза смыкались, не в силах сопротивляться сну, Александр опрокидывался в дрему, пьянея от собственной слабости, ощущая свою полурасстворенность в этом мире, принимая и благословляя её, лишь обрывки каких-то молитв шелестели в одурманенном мозгу: да будет воля твоя... воля твоя... твоя воля..

В один из дней к нему пришёл Тихон, его кот. «Эй, дружище, ты же мертв» – не размыкая истончившихся губ, простонал Александр. Тихон запрыгнул ему на грудь, беспечно вонзив когти в кожу, лег, навалившись всей тяжестью своего лоснящегося тела, уткнулся в тощую шею сухим носом, удовлетворено заурчал. Иногда он поднимал голову и всматривался в глаза хозяина ранодушно и испытывающе, зрачки его сужались до состояния еле видной щелочки, сетчатка излучала магическое изумрудное сияние. Александр хотел погладить кота, но не мог поднять руки. Давление на грудную клетку всё нарастало, мурлыканье становилось громче и громче.

Перед глазами всплыла картинка, как они с отцом купались в Черном море. Александр только научился плавать, ему было лет восемь, отец поддразнивал его грубовато и весело: «А слабо, спрыгнуть с 10-метровой вышки». Александр, нет, Санька, Санёк, полез наверх. «Я здесь сынок, не бойся, я здесь внизу рядом, я подхватю» – ободряюще кричал отец в его спину. На самом веру его обуял страх. Весь мир внизу казался таким маленьким, неотличимые друг от друга горошинки человеческих голов, одна из них – голова отца. Он хотел было уже повернуть назад, но спускаться по лестнице вниз оказалось ещё страшнее. Он переминался с ноги на ногу, повторяя про себя как мантру, не веря, но пытаясь уверовать: «Там папа, там внизу папа, он подхватит». Вдруг нога его соскользнула на краю и он полетел вниз, нелепо размахивая руками: «Ааааа» – Крик ужаса и восторга вырвался из его глотки, но цепкие кошачьи когти мгновенно впились в шею, перехватив вопль на взлете.

«Ох – всплеснула руками жена, подойдя к его кровати, и заплакала – отлучился». «Да – обняла её дочь, встав рядом – и

обрадовался». Береза за окном в задумчивом молитвенном волнении едва встряхивала листьями и казалось, это она своими плавными шевелениями раскачивает пространство, а не оно – её...

Наталья ТРУШ. Собачья жизнь. Рассказ

Протяжно свистнула в ночи последняя электричка, и, поезд, набирая обороты, стуча на рельсовых стыках, проскочил мимо домика стрелочников. Сооружение это дощатое, крашенное «веселенькой» зеленой краской, железнодорожники именуют «будкой», видимо из-за размеров: ну ни дать, ни взять – собачья конура. Собака там, кстати, тоже проживает: пожилая брехливая Сильва – шлюха из шлюх собачьего племени. Два раза в год приходится скидываться на бутылку для дяди Саши – кочегара из депо, который хоть и плачет, но попит силькин выводок, оставляя одного четвероного пацанчика.

Сильва шлялась неизвестно где уже четвертые сутки, стало быть, не за горами день, когда опять оценится. Искать ее не было никакого смысла – сама явится, как нагуляется. Поэтому Катерина Ивановна, проводив электричку, и, крикнув пару раз в темноту собаку, больше для порядка, заперлась на засов. Плотно задернув ситцевые цветастые занавески, чтоб какой придурак не напугал, женщина устроилась на колченогом табурете у стола. Неспешно заварила свежий чай, намазала кусок батона вареньем, и полистала новый детектив, который предусмотрительно захватила с собой в ночную смену.

На экране крошечного телевизора, пристроившегося на тумбочке, выгибались под дикую музыку всенародные новоиспеченные артисты. Зрелище не захватывало, но телевизор не выключила, чтоб не чувствовать себя оторванной от мира. Дома бы в это время с детективчиком на диване перед телевизором не дали б вытянуться детки, которыми бог Катерину Ивановну не обидел. Мало того, что две своих девки еще сопли соплями, так умудрились сделать ее бабкой в неполный сороковник. Теперь в голову все больше мысли домашние лезли. Как там Ванька малой? Накормлен ли? В сухих ли ползунках? И старшенькая Танька приболела, растемпературилась как раз тогда, когда ей, Кате, на работу собираться.

Так с мыслями о внуках, она незаметно задремала, опустив голову на руки. Разбудил ее резкий голос дежурной, взорвавший тишину:

– Семенова?! Дрыхнешь что ли?! – прогремело по громкой связи.

– Ау, дежурненькая, слушаю! – тут же откликнулась Катерина Ивановна. Слово это противное – «дежурненькая» – она терпеть не могла, да как-то привыкла и сама нет-нет, да и вворачивала его в разговоре.

– Кончай ночевать, – весело проорала дежурная. – Третью стрелку надо почистить – состав ждем туда к утру.

«Будь ты трижды неладна!» подумала про себя Катерина Ивановна, и нехотя начала собираться. Третья стрелка – это ж даль несусветная! Не на главном пути, а на ветке, выползающей из леса. И шлепать до этой стрелки верных полчаса. Вот тебе и детективчик, вот

тебе и ночка спокойная. Да еще мороз трещит так, что уши отвалятся, если оголить.

Собралась налегке: лопата, скребок и метелка у третьей стрелки были припрятаны в кустах, чтоб за собой их всякий раз не носить. Сунула ноги в шерстяных носках в большие утопанные валенки, на плечи полушубок овчинный, дверь заперла на большой висячий замок и отправилась по шпалам. Занятие не из приятных: если ступать на каждую, то семенишь, как жучка, если перешагивать через одну, то выдыхаешься на третьем десятке. Вот и приходится скакать то на шпалу, то мимо. Темнота – глаз выколи! От мороза небо звездами расшито, да свету от них, как от свечного огарка. Ну, правда, красиво.

Не заметила, как осталась позади станция, как лес обступил ее со всех сторон. Страха не было. Место хоть и пустое, но в стороне: кому надо тут шастать по ночам? Да и не так уж далеко от платформы. Ни разу не слышала, чтобы кого обидели хулиганы тут. Скорее на огонек в будку придут какие оглоеды, да будут стучать по пьянке, пока милицию на них не позовешь.

Стрелка внезапно показалась в темноте, так, что Катерина едва не грохнулась, зацепившись валенком за кусок толстой проволоки. Скребок, лопата и веник тоже быстро нашлись. И работа закипела. Минут через десять жарко стало так, что она расстегнула полушубок и еще более сноровисто замахала поочередно лопатой и метлой. А уж когда разгрела стрелку от большого снега, взялась откалывать лед вокруг. Пот застилал глаза, и Катерина разогнулась, чтобы стереть его. В ту же минуту она увидела на рельсах вдалеке светящиеся огоньки. Они цепочкой тянулись вдоль железнодорожного полотна. «Волки!» – мелькнуло в голове у стрелочницы, и в ту же секунду она сорвалась с места, и побежала, что есть мочи к станции.

В голове кровь билась горячим ключом, дыхание перехватило от мороза и от бега, а ноги налились тяжестью чугуновой. «Ну вот, – неслись в голове мысли, – и пожила!» А всего-то и пожила с ноготок – четыре неполных десятка. Только-только из курицы ошипанной превращаться в бабу стала. Мужики, вон, заглядываются побольше, чем в молодости. Свой мужик, сбжавший лет 15 назад, тоже объявился и облизывался, поглядывая на статную Катину фигурку. Да только хрен ему с прованским маслом. И без него было с кем время провести. Только-только любовь нагрянула, как обухом по голове. Девки-поганки, конечно, жизнь изрядно отравляли, зато красавец Иракий баловал Катю подарками, и даже замуж звал. Но какой там замуж! Вертихвостки друг за другом наградили ее внучкой и внуком, и теперь норовили чуть-что на Катю отпрысков спихнуть. Маленьких, конечно, жалко. Как они без бабки! Мамки молодые, им еще на дискотеки бегать хочется, а бабка, хоть и молодая, но бабушкины обязанности с радостью выполняла.

«Как теперь они?», – с ужасом думала Катя. Она бежала, не оборачиваясь, чувствовала, что стая вот она, на пяток наступает. И тут за поворотом мелькнули первые станционные огни.

«Господи, помоги добежать! – взмолилась женщина. – Я тогда что хочешь для тебя сделаю! Что я сделаю?! Ну курить брошу – точно! Если б не курила, сейчас бы бежала, а не тащилась! Потом Ираклия брошу. Ну его к черту, детей не любит. За девок, Господи, тебя молить буду каждую субботу! Что еще-то, Господи?!». Катя была готова пообещать все что угодно. И станция была уже так близка. Но в это время она споткнулась и рухнула между рельсов.

Закрыв голову руками, Катерина приготовилась к самому страшному. Через минуту она почувствовала, что ее обнюхивают. В висок ей ткнулся холодный нос. Катерина зажмурилась. И в тот же момент услышала радостное поскуливание.

– Сильва! – выдохнула Катя и подняла голову. Блудная псина скребла лапой мерзлую шпалу и вертела радостно хвостом. Неподалеку маялась, изнывая от любви, «волчья стая» – десяток разнокалиберных псов.

Слезы покатались из глаз Катерины Ивановны. Она издала утробный вой, попыталась из положения лежа треснуть четвероногую шлендру по морде. Собака приняла ее выпад за игру, и, припадая на передние лапы, запрыгала вокруг.

– Сука!!! – крикнула ей в морду Катерина. Встала на четвереньки, с трудом поднялась на трясущихся ногах, и побрела к станции.

«Ну и сука! – думала Катя про Сильву уже без злости. – Это же надо так напугать, что вся жизнь в башке пронеслась за пять минут! И как пронеслась... Это что ж я наобещала-то от страха тебе, Господи?!».

Сильву на ночлег в домик стрелочников Катя все же пустила. А «волчья стая» караулила подружку на морозе. Катя смотрела на собак сквозь замерзшее оконное стекло, радовала душу свежим крепким чаем и думала о том, как все у них, у собак, просто. Оценится вот шлендра, дядя Саша от выводка ее только одного сосунка оставит, остальных в ведро. И никаких проблем! А тут Танька с Ванькой, памперсов на них не напасть, и две кобылы, которым еще самим бы в куклы играть. И Ираклий, который детей не любит. И третья стрелка в занесенном снегом лесу. Ну, жизнь собачья!

Станислав ГРИГОРЬЕВ. Донеси светло. Рассказ

Солнце в тот день встало не на Востоке. На Западе. Божедар Яичница мучительно размышлял над произошедшим, отправляя в нутро пятую чашку кофе. Божедар не любил думать. Божедар любил созерцать.

Началось всё с появления на Свет Божий. Ещё не выйдя из материнского чрева полностью, целокупно, он увидел свет. Мать, не услышав от новорожденного ни звука, опешила. Казалось, что и бараны, бывшие тут же, поблиз, несколько деморализованы. А дело в том, что младенец был занят. Он созерцал явленный ему свет. Мать, впечатлённая подобным развитием событий, долго над именем мальчика не думала. Испросив на скорую руку совета у вожака отары барана Небойши, и получив в ответ утвердительное безэ, Йованка Яичница нарекла сына Божедаром. Более свидетелей сего действия не было. Не состоялось. События развернулись в высокогорной сербской деревушке. Зима та выдалась дюже морозной, и все насельцы сидели по домам. Сидели, ибо работы и летом хватало. А нынче чего бы и не отдохнуть, не набить бока мякотью. Вот и сидели. Сиднем.

Был у Божедара отец. Яблан. Тот ещё гулёна. Вот и в тот день гулеванил. Жена рожает, а муж в соседнюю деревню наладился. Сказал, – к брату. А все знают, что не к брату. К Милинке подался. А та и сама родить не дура. Тем более от Яблана. Одни усищи чего стоят! Такими грести можно, как вёслами. А уж чего у него там. Мама родная! Там, это значит, в голове. Иной раз как начнёт говорить, слова во все стороны птицами разлетаются. Заглядеться можно, заслушаться. Хочет Милинка от Яблана яблочек молодых, да крепоньких, деток то бишь. Да побаивается. Пойдут в отца – проблем не оберёшься. А ну как начнут всем гуртом языками чесать. Это что ж такое выйдет? Нет. Ну его. Не моё это. В меня столько не влезет.

Бог с ним, с Ябланом. Да и с Милинкой Бог. Со всеми Око его неусыпное. Так вот и созерцал Божедар происходящее. Где пристально, где вскользь. По ситуации, по степени.

А тут, видишь ли, совсем неладное. Рассвет, и на западе. – Так и до светопреставления недалеко, – рассуждал, – с другой стороны, какая разница? Был бы свет, а откуда он начинается, не так и важно. Ну правда. Не может что ли Господе напутать? Ну перебрал малость накануне шльивовицы, да и ослабил бдительность. Нечего переживать. Пустое.

Только Божедар успокоился, часы пробилиполдень. С последним ударом из них вылетела ожившая кукушка. И ладно бы одна. С выводком кукушат.

– Да где же это видано, чтобы кукушата при матери отирались, – успела мелькнуть мысль и тут же забылась, видно с кукушками

улетела. Ибо свет за окном, с присущей ему скоростью, заменился темнотой. Только что обильно сиявшее солнце сменила огромная полная, дебелая, словно Милинка из соседней деревни, луна.

– Па не; знам... Не мо;гу да верујем, – рассеянно произнёс Божедар.

В тот же миг необъятных размеров, иссиня чёрный ворон, заполнив собой всё пространство, подлетел к луне, заключил светило в клюв и был таков. Не стало ничего. Или стало. НИЧЕГО.

Что ж, как говаривала прабабка Божедара, косоварка Дрита Шкодра, – конец концом, а свет светом.

– И если ты за свою жизнь впитал в себя столько света, сколько послал тебе Великий Аллах, то никакой конец тебе не страшен. Свет Аллаха – твой свет, и он всегда будет с тобой.

– А как его впитать? – уточнял правнук.

– Зайчики, Божек. Лови солнечных зайчиков. Сколько сможешь. Лови всех, пролетающих ми... С этими словами Дрита отошла. В мир иной. Неизвестно, много ли она успела поймать зайчиков, хватило ли ей для того, чтобы не бояться конца света, но в итоге Дриту поместили в деревянный ящик. А после и вовсе закопали. Туда, где было темно и сыро, и вряд ли водились солнечные зайчики. Божедар вдруг поперхнулся. Ещё. И ещё. Он кашлял, и с каждым новым кашлянем изо рта вылетали солнечные зайчики. И с каждым освободившимся зайчишкой вокруг становилось светлее. Высвободив всех зайцев, он проморгался и заметил, что НИЧЕГО заполнялось ЧЕМ-ТО. Это ЧТО-ТО сначала было не распознаваемо Божедаром, но постепенно его органы чувств стали идентифицировать поступающую информацию. Кофейник источал горький, как балканская судьба, аромат. Вместо привычного сада двор плавно переходил в цветочное поле, уходящее в бесконечность, уверенно и без обиняков расположившуюся аккурат за горизонтом. Все цветы были высотой в два человеческих роста. На толстых, абсолютно прямых стеблях, покоились широкие кипенно-белые чаши.

Божедар почувствовал желание встать и выйти в поле. В членах ощутилась необыкновенная лёгкость. Казалось, земное тяготение более их не тяготило. Ноги едва касались земли. Пройдя метров сто, он уловил какое-то движение над головой и остановился. Один из цветков медленно выгибал стебель, склоняя чашу ровно над теменем Божедара. Когда чаша почти коснулась волос, какая-то сила оторвала его от земли и ласково перевела в горизонталь, после чего цветок стал его всасывать в себя. Диаметр чаши был чуть больше роста всасываемого. Человек, поглощённый цветком, испытывал глубоко положительные ощущения, описывать которые здесь нет никакого смысла, ибо речь человеческая просто не в состоянии передать оные. В момент полнейшего, в хорошем смысле, изнеможения, в голове

Божека возникла чёткая, зримая надпись. Почему-то электронным шрифтом: КОРРЕКЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. ПОЗДРАВЛЯЮ, БУДЕШЬ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ. Я В ОТПУСК. БЫВАЙ. НЕСИ СВЕТ. И подпись: ГОСПОДЕ.

В это самое время баран Небойша остервенело тряс своей пустой бараньей башкой. Дело в том, что голова его наполнялась доселе неведомым. Небойша это чувствовал и пугался, не понимая, как реагировать. Упереться рогом или капитулировать. Происходили с организмом и другие пертурбации. Горизонтальные линии зрачков сузились и приобрели форму круга. Зачесались основания рогов, после чего сами рога мягко хрупнули и отвалились. Было и иное. Но самое главное, – в том месте, где у барана всю жизнь располагались лопатки, вдруг что-то выперло и начало увеличиваться в размерах, приобретая очертания крыльев. Голова более не тряслась. На месте морды образовалось лицо, выражение которого приобрело глубокую осмысленность и даже некую лучезарность. Что-то было в нём и от агнца божьего и от ангела одновременно. Завершив все необходимые приготовления, Небойша взмахнул крылами и медленно, но уверенно стал возноситься.

Свидетели чуда провожали Небойшу. Кто-то бросал шапку в небо, кто-то целовал оказавшихся поблизости. Скептики шли дальше по своим реальным, осязаемым, земным делам.

Божедар Яичница сидел во дворе своего дома, смотрел на небо и улыбался, провожая взглядом исчезающую точку. Донеси светло, – шептал он заворожённо, – неси свет.

Татьяна ЯНКОВСКАЯ. Треугольник со стихами. Повесть

В центре этого повествования – стихи, написанные в шестидесятые годы двумя людьми, которые были тогда совсем юными. Стихи эти несовершенно, но и теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, что они представляют интерес. Они интересны своей достоверностью, показывая, как в общем-то обычные молодые люди тех лет воспринимали мир, как стихи могли стать частью отношений, как нередко именно то, что не сбылось, навсегда меняет наш внутренний мир ²

* * *

Познакомились они на картошке. Так для многих в те годы начиналась студенческая жизнь. «Небось, картошку все мы уважаем, когда с солью её намять...». И мяли, должно быть, в больших количествах, чтобы прокормить химиков и геологов, которых прислали на месяц в этот совхоз недалеко от финской границы. Она совершенно не помнит, чем их кормили. Помнит озеро, уже мягкую от дождей, хотя ещё успевающую просыхать в тёплые дни дорогу под звёздным сентябрьским небом, бесконечные картофельные поля, куда их возили по утрам на грузовике. По дороге туда и обратно горланили песни. Пели песни Галича, Визбора, Якушевой, Анчарова, Высоцкого, Кукина, Городницкого, Окуджавы, Матвеевой, – словом, всех известных тогда бардов. Пели песни блатные, студенческие, одесские, пели известную песню «Битлз», неуклюже переведённую на русский язык. Она помнит, как он фальшиво пел очень смешную песню про мстительную Маруську-зубного врача... И, конечно, помнит стихи.

Трудно сказать, каким образом в их отношения вошли стихи, – может быть, всё началось с песен. А может быть, с одного из тех дождливых дней, когда их не возили на работу и они проводили день в бараке. Большой барак, в котором жили студенты, был поделён продольной перегородкой на две части – на одной половине жили химики, на другой – геологи. Среди химиков преобладали девочки. Они занимали нары, тянувшиеся вдоль перегородки, и часть нар, расположенных вдоль наружной стены под окнами, ближе к двери. Потом шёл трёхметровый участок пустых досок, а потом опять начинались матрасы – территория мальчиков. На стороне геологов девочек не было, но зато там были старшекурсники. Там много пили и матерились, а по выходным подолгу не ложились спать. Иногда пели под гитару, чаще всего – «Ну перестань, не надо про Париж».

Когда шёл дождь, деваться было некуда, народ лежал вповалку на нарах, развлекаясь, кто как мог. Играли в карты, в шашки, рассказывали анекдоты, читали. Первокурсники познакомились,

вспоминали вступительные экзамены, прислушивались к разговорам второкурсников, которые обсуждали профессоров и университетские порядки, щеголяя жаргоном – кач, колич, фак (то есть, качественный и количественный анализ, факультет) и сплетничали о тех, кого в колхозе не было.

Высокая красивая второкурсница, громко смеясь, читала Бабеля. Время от времени она читала вслух куски своим соседкам, изображая в лицах Беню Крика и других персонажей. Она была начитанная и ехидная. Одного нахального первокурсника прозвала почему-то Фердыщенко. Мимходом пущенные словечки и фразы тут же брались на вооружение и входили в обиход.

Он был одним из немногих ребят-второкурсников, попавших в совхоз. В отличие от большинства своих однокурсников, вернее, однокурсниц, он относился к первокурсникам вполне доброжелательно. Его место на нарах было почти точно против неё, и было удобно переговариваться, сидя по-турецки на матрасах.

Как-то он предложил что-то вроде соревнования – за полчаса сочинить стихотворение. Предложение относилось, в основном, к ней – было ясно, что их соседей по нарам очень мало интересуют стихи. Через полчаса они обменялись тетрадными листами в клетку. Ей было приятно и немного смущало, что его стихотворение было явно обращено к ней, но разочаровал слишком приземлённый тон. А вот это хорошо: «Я представляю себе, как мы бродим с тобой по сырому сплетению улиц...» Но она была недовольна и чрезмерно незаземлённым, книжным романтизмом собственного стихотворения. К тому же она боялась, что он примет на свой счёт «ты» последней строчки: «Там синие цветут цветы, и в целом мире – я и ты».

Они обменялись своими старыми стихами. Она подивилась сходству их восприятия. Она: «Дождь бормочет осенние глупости, капли начали в лужах галдёж. Только день такой жаль пропустить – я люблю бродить под дождём». Он: «Почему я люблю эту пору – бисер капель в ворсинках пальто и лимонные листьев узоры на проспектах больших городов?..»

* * *

Когда не было дождя, студентов с утра отвозили в поле, химиков и геологов отдельно. Работали парами, вдвоём волоча по борозде ящик, в который кидали выбранную из земли картошку. Однажды она работала без пары.

– Маленькая и хрупкая, она в одиночестве собирала картофель, – сказал он, как будто цитируя фразу из плохого романа. Студенты перебрасывались цитатами, как мячиками. Это помогало сближению, просеивая сквозь сито непонимания непохожих. Она легко ловила его мячи. Их духовные поля явно перекрывались.

Они почти никогда не работали вместе, но часто – на соседних бороздах, так что было удобно переговариваться. Он был острый на язык, с хорошим чувством юмора. Она ещё никогда не встречала человека, который читал почти все те же книги, что и она. Как-то он даже вспомнил «Сказку о Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который тонкий». Их ровесники этих стихов не знали – в пятидесятые годы детям читали более дидактичные и совсем не смешные «Кем быть?» и «Что такое хорошо и что такое плохо». Ей эту сказку читал по памяти отец, как и многое другое, что было популярно в годы его детства. Ей было приятно думать, что, наверно, и он услышал это от кого-то из своих родителей и что, возможно, его детство было чем-то похоже на её.

* * *

Через день после возвращения в город студенты должны были явиться с утра в деканат, узнать расписание. Договорились после этого не расходиться, а пойти всем вместе в кафе-мороженое. Она очень ждала этого дня, ждала встречи с ним. Теперь всё пойдёт по-другому – их будет разделять уже не проход между нарами, а метро, электричка и год учёбы. Но ведь что-то будет – иначе зачем он писал про «сырое сплетение улиц»? Она явственно ощущала, что их соединяет какая-то невидимая нить.

В назначенный день в вестибюле химфака собирались вчерашние колхозники. Стоял хохот, бойцы вспоминали минувшие дни. Группа росла, подошедших встречали радостным криком. Решено было пойти в «лягушатник» на Невском. Он так и не пришёл.

Наступил первый день занятий. В перерыве между лекциями холл между Большой химической и Большой физической аудиториями так забит, что невозможно повернуться. Она присматривается к незнакомым лицам вокруг. А вот и он! Поймав её взгляд, он протиснулся к ней сквозь толпу. Она обрадовалась встрече, но он почему-то держался отчуждённо. Натянутость росла, она ничего не понимала, а потом он, наконец, спросил:

– Ты что, не получила письмо?

– Какое письмо?

– Подожди.

Через несколько минут он вернулся. Было смешно смотреть, как он, небольшого роста, хотя и крепкого сложения, тащит за собой огромного Фердыщенко и как тот, глупо ухмыляясь под его сердитым взглядом, смущённо достает из кармана сильно помятый конверт и протягивает ей. Конверт заклеен, но совершенно очевидно, что его вскрывали. Фердыщенко исчезает, а он говорит, что просил Фердыщенко передать ей письмо в тот день, когда они ходили в «лягушатник».

В письме были стихи на двух страницах. А кончалось оно так: «На фак я не явился потому, что должен встречать родителей на аэродроме... Если хочешь, увидимся на факе 27-го около 11 утра где-нибудь в районе деканата. Я приду по небольшому делу».

А сегодня 1 октября. Проклятый Фердыщенко!

* * *

Шли дни. Они иногда встречались, но их отношения никак не развивались. Как будто это злополучное письмо нарушило естественный ход событий, и всё повисло в воздухе. Спрашивать о чём-то ей и в голову не приходило. Казалось очевидным, что нужно обо всём догадываться самой – таковы были правила игры. Иногда, видя её сидящей на скамейке где-нибудь в коридоре с конспектом в руках, он подсаживался к ней поболтать. На правах старшего давал ей полезные советы – к кому лучше идти отвечать на экзамене, делился стратегией сдачи зачётов и коллоквиумов.

Он часто бывал в театре и в кино и говорил с ней о том, что видел. Он гораздо реже, чем большинство её знакомых, ругал фильмы или новые театральные постановки, не цедил с видом знатока снисходительное «так...ничего особенного», не бросал презрительно «мура!», а многое хвалил. Даже чешский фильм «Старики на уборке хмеля», в котором она обратила внимание в основном на то, что хмель убирать приятнее, чем картошку, он нашёл интересным. Он всегда мог чётко объяснить, почему ему что-то понравилось. Благодаря ему она поняла, что людям многое в искусстве не нравится не от искущённости и знания, а от непонимания и неспособности к самостоятельным суждениям. Именно изощрённый ум и душевная тонкость позволяют увидеть и оценить то, что неискущённым недоступно. От него она впервые услышала, что в искусстве важно не что, а как. И хотя поняла потом, что важно и то и другое, без этого маленького открытия её мир был бы иным.

Поздней осенью на факультете был вечер. Народу было мало. Они сидели рядом, потом он пригласил её танцевать. Играли «Дом восходящего солнца». Его близость и прекрасная, пронзительно-напряжённая мелодия вызывали в ней никогда раньше не испытанные ощущения. «Уходит день, и солнца луч горит в глазах твоих...» – так перевёл эту песню её однокурсник. Тогда она ещё не знала английского и не понимала, что на самом деле эта песня – исповедь человека, сожалющего о жизни, растраченной в публичных домах.

* * *

Нет, она его совсем не понимала! Он продолжал заходить к ней, был внимателен, смотрел «со значением». В то же время она часто видела его в обществе то полной рыжеволосой девушки с милым

лицом, то маленькой черноволосой дурнушки. Казалось, что и с той, и с другой его связывают больше чем дружеские отношения. В его присутствии она то продолжала ощущать невидимую нить, соединяющую их, то чувствовала отчуждение.

С наступлением марта стало теплее, и она ходила гулять на набережную. Шла мимо невозмутимых сфинксов, спускалась по ступенькам к реке. Кроме неё там не было никого – только два молчаливых крылатых грифона. Однажды после занятий она сидела в «Лондоне» (так неофициально называлась столовая недалеко от химфака) и в ожидании официантки смотрела из окна второго этажа на мощёный перекрёсток, где неуклюже разворачивались трамваи. И все ощущения последних дней вдруг внезапно обрели форму.

Опять солжёшь – возьмёшь недорого,
Их тьма – готовых верить дур.
Поэзия большого города!
И Блок, и старый Петербург...
Суровый, серый, полный тайны.
Куда идти – вперёд, назад?
Я забрела сюда случайно,
И вот – шагаю наугад.
Тебе-то что – глядишь игриво,
И не поймёшь ты – хоть реви,
Как страшно в обществе двух грифов
Одной на берегу Невы.
Прошу тебя, не лги, не надо,
Мне жаль их, легковёрных дур.
Пусть верят кораблям Синдбада
И птице сказочной Симург.

* * *

Как-то в апреле он зашёл к ней в лабораторию аналитической химии, где первокурсники в прожжённых сатиновых халатах корпели над качественными задачами. За окнами неистово светило солнце, и у всех было хорошее настроение. Он что-то рассказывал, шутил, а потом предложил:

– Хочешь, покажу тебе самую красивую реакцию в качественном анализе?

Он взял пробирку, смешал какие-то реактивы, стоявшие на лабораторном столе, и поднял пробирку вверх... Вы когда-нибудь видели, как кристаллы йодистого свинца сверкают и переливаются золотом и перламутром в лучах апрельского солнца?!..

* * *

В июле она уехала в университетский спортивный лагерь на Чёрном море и там познакомилась с математиком, студентом матмеха на курс старше неё. Почему лагерь считался спортивным, непонятно. Может быть, потому, что студенты жили в палатках, без всяких удобств, то есть, по-спортивному?

В первые дни жизнь была однообразной. После завтрака студенты лениво тянулись на пляж, потом под палящим солнцем тащились обратно. После обеда был тихий час. Стенки палаток закатывали вверх – для улучшения вентиляции и обзора – и, развалившись на кроватях, обитатели лагеря разглядывали друг друга, намечая цели для знакомства.

Когда народ разобрался, что к чему и кто с кем (последнее часто менялось), жизнь потекла веселее. Днём – экскурсии, по вечерам пение на поляне у воображаемого костра или танцы на площади перед кафетерием. «О, море в Гаграх, о, пальмы в Гаграх, кто побывал, тот не забудет никогда...» – струился из репродуктора бархатный голос. Бархатное прикосновение южной ночи, россыпь звёзд над головой, громовой хор лягушек...

День студенты обычно проводили на пляже. Наслаждались морем и солнцем, играли в карты, пили пиво (бывалые – с солью). Местное мужское население настойчиво пыталось знакомиться с девушками, прочувствованно повторяя:

– Абхазия – страна любви.

Девушек предпочитали незагорелых. Логика тут проста: загорела – значит, отпуск подходит к концу, скоро уедет.

По вечерам собирались большими группами в палатках или исчезали парами в темноте вокруг лагеря. Пили божественное «Псоу», которое уже тогда было редкостью, «Лидию», «Чёрные глаза», но чаще – обжигающую чачу, которую покупали в соседней деревне. После отбоя начальник лагеря заглядывал с фонариком в палатки девушек, проверяя, не осталось ли там мужчин.

Молодые люди водили девушек в хорошие рестораны, где заказывали самые дешёвые блюда. Было весело лететь по шоссе на попутной машине, теснясь вчетвером на заднем сиденье, а ночью в темноте возвращаться пешком по пустынной дороге и, положив друг другу руки на плечи, петь, неловко вскидывая в канкане ноги, «Красотки, красотки, красотки кабаре...».

Математик приехал в лагерь позже других: сдав экзамены задолго до начала сессии, он отдыхал в Адлере, пока другие предавались зубрёжке. Он сразу стал ненавязчиво, но настойчиво проявлять к ней внимание и всегда предлагал что-то интересное, не входившее в стандартный лагерьный джентльменский набор. Сначала она не обращала на него внимания, но потом стала соглашаться то пойти в

кафе, где варили самый вкусный в городе турецкий кофе, то купаться в море ночью, когда на пляже не было ни души, то покататься по морю на лодке. С моря город был виден как на ладони, утопающий в зелени, обрамлённый горами, звенящий гортанными голосами чаек... Кто бы мог тогда подумать, что через двадцать пять лет здесь будут ваться снаряды?..

* * *

В первый же день после возвращения в Ленинград математик пришёл к ней домой и принёс билеты в кино. Она познакомила его с мамой и бабушкой. Говорить было не о чем, и он скоро ушёл, условившись встретиться вечером перед кинотеатром. Когда подошло время собираться, она решила, что не пойдёт. Мама возмутилась: раз взяла билет, значит, надо идти, а иначе нужно было сразу отказаться. Пришлось пойти, чтобы не быть свиньёй в глазах родных. Прощаясь, она сказала, что больше встречаться не хочет. В конце августа она столкнулась с математиком в библиотеке, и он помог ей донести до дома сумку с книгами. Он был более разговорчив, чем обычно, и предложил назавтра встретиться, но она опять отказалась.

В конце сентября в один из необычно тёплых дней бабьего лета она надела свой любимый летний костюм и отправилась в ателье. Настроение было отличное. Прохожие оглядывались на неё, а трое молодых людей, глазевших на неё в троллейбусе, даже вышли за ней на остановке и некоторое время шли следом. Закройщица явно любовалась ею. Она посмотрела на себя в зеркало и пожалела, что никто из знакомых её сейчас не видит.

Она вышла на Невский. Смеркалось. Надо кому-нибудь позвонить, а то так и пройдёт день совершенно впустую. Она попробовала позвонить кому-то из подруг, но никого не было дома. Тогда она вспомнила, что где-то здесь неподалёку живёт математик. Он подошёл к телефону и предложил проводить её домой. Она жила на Васильевском, и они пошли пешком, выбирая тихие, нелюдные улицы. В этот вечер математик много рассказывал о себе. Оказалось, что у них много общего. Его родители были родом из того же города, что и семья её отца. В нем чувствовались талантливость, незаурядность. Расставаясь, они договорились увидиться снова – и очень скоро.

* * *

Жизнь на химфаке шла своим чередом – лекции, лаборатории, собрания, вечера, обычно с музыкой и танцами. Играл на вечерах ансамбль «Кванты», созданный группой её однокурсников по образу и подобию «Битлз» и очень профессионально исполняющий их репертуар. Математик редко ходил с ней на вечера – он не любил

танцевать и считал, что танцы скоро отомрут, чем приводил в ужас её бабушку.

Всё, что было в прошлом году, отодвинулось куда-то далеко-далеко. Она уже не была прошлогодней наивной девочкой и перестала думать о нём, как тогда, хотя он по-прежнему возникал периодически на её горизонте. Однажды она сидела на комсомольском собрании на самом верху амфитеатра Большой химической аудитории. Внизу кого-то за что-то прорабатывали под предводительством Фердыщенко, который после летней работы в стройотряде стал большим общественным деятелем. Вдруг она увидела его. Он поднимался вверх по лестнице, направляясь к ней, и присел на скамью рядом. Они поговорили о том-о сём, потом он неожиданно спросил:

– Как ты думаешь, почему Онегин сначала отверг Татьяну, а потом добивался её любви?

Что за вопрос? Ведь это всё хрестоматийно – «когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел», «напрасны ваши совершенства: их вовсе недостоин я», «вам была не новость смиренной девочки любовь», «и мог бы в обществе принести вам соблазнительную честь». Он отрицательно покачал головой:

– Нет, не поэтому.

– А почему?

– Потому, что Татьяна была наивная девочка, и он не хотел брать на себя ответственность.

Она не могла взять в толк, к чему был этот экскурс в «энциклопедию русской жизни». Действительно ли это его сейчас занимало или таким образом он хотел дать ей понять что-то? Но что? Что он заметил в ней перемену и хочет перемены в их отношениях?

Она недолго ломала голову. Её куда больше занимали её отношения с математиком. С ним не нужно было догадываться и соблюдать правила игры, потому что игры не было. Он не любил танцевать и не очень-то любил стихи, но он любил её. Тут всё было ясно.

* * *

Время шло. Наступил февраль. Как-то он подошёл к ней в перерыве между лекциями и попросил придумать пять рифм к слову «туман».

– Обман, – сразу сказала она. Больше ничего в голову не приходило. Он настаивал.

– Чемодан? – неуверенно предложила она.

Он решительно отверг чемодан и назвал пять вполне приличных рифм. А на следующий день вручил ей стихотворение.

Стихотворение показалось ей вялым и слабым. Она отметила про себя, что её даже не очень интересует, кому оно посвящено. Но ожила атмосфера их прежних разговоров, и ей захотелось показать

ему прошлогодние стихи, продолжить их стихообмен. Назавтра она принесла ему стих, написанный в «Лондоне». Она почти не волновалась, передавая ему листок, – настолько всё это стало прошлым, перестало быть частью её. Но именно поэтому она и могла теперь это сделать.

Он нашёл её после лекции. Его глаза казались темнее обычного.

– Почему ты не показала мне это год назад? – с упрёком сказал он. Она пожалала плечами.

– Ты стала гораздо лучше писать стихи.

Через два дня они столкнулись в дверях факультета. Оба куда-то спешили. Он молча протянул ей сложенный лист бумаги. Это были стихи.

«Да, мне-то что? Гляжу игриво,
Совру – недорого возьму,
Прохладно в полдень, даже в ливни
Сухой, не знаю почему.
Я вру с расчётом и экспромтом,
Забавы ради и всерьёз,
Ни капли жалости к девчонкам –
Что дела мне до всяких слёз?
Девчонки-дуры верить рады
Во всё, чего им ни наврут.
Им подавай корабль Синдбада,
А мне не жалко – пусть берут.
Корабль, правда, лишь подделка,
Да им-то что – не разглядят,
Им всё равно – они, как белки,
Всё крутят колесо назад.
Как надоест, так им сейчас же
Другую сказку подавай,
А мне прискучит – я для каждой
Подлец, обманщик, негодяй.
А мне плевать, живу спокойно».
Закончил исповедь вполне
Тот донжуан или разбойник,
Что ты увидела во мне.

* * *

Дни выросли и потеплели. Они допоздна гуляли теперь с математиком. Всё трудней становилось расставаться. Всё чаще ему приходилось возвращаться домой пешком. Однажды он не успел перейти Неву до развода мостов и полчаса просидел на краю моста, свесив ноги...

Кончились экзамены, неслышной поступью белых ночей шло лето. Июль она провела в колхозе в Выборгском районе – это было обязательным для всех, кто не попал в стройотряд. В колхозе были в основном девочки – мальчики старались уехать на стройку, потому что там можно было заработать. В хорошую погоду она и ещё несколько девочек уезжали на шхеры, брали напрокат лодку и катались по заливу среди дивной красоты островов. Огибали похожие на утюги неприступные острова, поросшие хвойным лесом, с огромными валунами у воды. Подплывали к низким круглым островам с уютными камышами у берега. Спрятавшись в камышах, курили и ели конфеты, запивая красным вином. А в солнечный воскресный день высадились на дальнем острове с заброшенными дотами, где тонкие стволы деревьев с негустой листвой казались насквозь пронизанными светом, и загорали голышом на песчаной косе, конец которой изгибался вопросительным знаком и исчезал в заливе. Добежать до конца косы, следуя изгибу, слиться на миг со всем, что вокруг – мягким песком, тёплым ветром, водой, цвет которой невозможно определить из-за солнечных бликов до самого горизонта...

Математик писал ей хорошие письма. Они не виделись всё лето. А встретившись после каникул в Ленинграде, она почувствовала отчуждение. Или она отвыкла от него, или на расстоянии стала представлять его себе другим. Это её мучило, она никак не могла в себе разобраться.

Бабушка говорила, что ей нужно встречаться с разными людьми, расширить круг знакомств. Следуя мудрому совету, она снова стала ходить с разными знакомыми на вечеринки, в театр, на концерты. Ходила и с ним на какой-то концерт и согласилась пойти в гости к его друзьям на октябрьские праздники. Уже на концерте она поймала себя на том, что ей с ним скучно. Но всё-таки решила пойти с ним к его друзьям, познакомиться с новыми людьми, увидеть его в другой обстановке.

Тем временем её отношения с математиком менялись день ото дня, появились новая близость и теплота, которых не было раньше. И в день, когда она должна была идти в гости к его друзьям, и они с математиком сидели в уютном «предбаннике» бабушкиной комнаты, освещённом оранжевым светом бра, ей стало ясно, что ни в какие гости она идти просто не может. Ни за что, никогда, ни с кем! Сообщить об этом ему было уже невозможно – телефона его у неё не было, узнавать было поздно. Сестра, как когда-то мама, её осуждала: раз дала слово, надо идти. Ведь человек специально приедет из пригорода на электричке! Ну и что, возражала она, он приедет не зря – ведь его ждут друзья и он может прекрасно провести там время без неё.

– Он не пойдёт один, – говорила сестра.

– Пойдёт!

Но он не пошёл. Он явился нарядный, в новом шотландском свитере, очень весёлый. Она сразу извинилась, что не сможет пойти, и стала убеждать, чтобы он шёл один. Но он твёрдо сказал, что без неё не пойдёт, повесил пальто и прошёл в комнату. Она была дома одна, так что пришлось играть роль гостеприимной хозяйки. Он с интересом, склонив голову набок, наблюдал, как она разливает чай. Потом они о чём-то говорили, но она ни о чём не могла думать, кроме как о математике, с которым договорилась встретиться, как только он уйдёт. Но он всё не уходил. Они сидели на диване. Он обнял её и попытался поцеловать, но она его оттолкнула. Ему ничего не оставалось делать, как попрощаться и уйти.

* * *

Так получилось, что после факультетского вечера в конце ноября он пошёл её провожать. Это было грустное прохождение. Они медленно шли по сырому сплетению улиц, и бисер капель в ворсинках пальто тускло мерцал в жёлтом свете фонарей. В понедельник он принёс ей стихи, написанные на половине блокнотного листа в клетку. «Фонари на улице – светофор судьбы. Пусто. Лишь сутулятся кое-где столбы. И слова простые стали вдруг слышней, что-то стало биться громче и больней. Что-то вдруг упало, разлетевшись в пыль... Может, было б лучше, если б я шутил? Все деревья голы – не найти листа. Мне теперь минуты незачем считать. И осталась осень с дождиком седым. Может, это нужно – дождь, и пыль, и дым?»

* * *

Весной они с математиком подали заявление в загс. Её приятельницы говорили, что она выглядит такой счастливой, что на неё приятно смотреть.

В солнечный апрельский день в вестибюле химфака к ней подошёл он и сказал, что хочет с ней поговорить. Они вышли на Средний и пошли по направлению к метро – ей нужно было на Невский. Шли молча. Но когда они поравнялись со станцией метро и она замедлила шаг, он сказал:

– Давай погуляем.

– Только недолго.

– Хорошо.

Он быстро и уверенно шёл в сторону Невы.

– Куда мы идём? – спросила она.

Он удивлённо вскинул брови, как будто не понимая, о чём тут спрашивать. Ах да, конечно, она должна была догадаться – они идут на набережную к грифонам. Он заговорил о её предстоящем замужестве, а потом без перехода сказал:

– Если бы Фердыщенко тогда передал тебе письмо, ты бы выходила сейчас замуж за меня, а не за него.

Вот она и получила ответ на свой давний невысказанный вопрос... Значит, всё, что она чувствовала, было, а не казалось, значит, существовала невидимая нить, связывающая их. И он это знал. И позволил какому-то Фердыщенко решить всё за них. Ведь когда выяснилось, что тот не передал письмо, об этом можно было забыть, как забываешь о случайном камне на дороге, о который споткнулся. Люди часто полагаются на случай в решении своей судьбы. Но Фердыщенко в роли фортуны? Как он мог это позволить!

А впрочем, всё к лучшему. Не даром же бабушка говорит, что математик – человек надёжный, а что с ним ей было бы трудно. Бабушка не знала его, но она знала жизнь и знала математика.

Они вышли на набережную. Он замедлил шаг, предоставляя ей быть проводником. Однако она не помнила точно, где находится тот спуск. Он насмешливо смотрел на неё, как будто уличая во лжи. Но она приходила сюда так давно – в другой жизни, а он, чувствуется, побывал здесь совсем недавно. Они подошли к просвету в гранитном парапете и спустились к грифонам, сидящим на широких ступенях, омываемых водой. Она погладила холодный металл крыла.

Возвращаясь к метро, они оживлённо разговаривали, почти как раньше.

– Всё-таки удивительно, – сказал он. – Мне всегда нравились ненормальные, а ты – совершенно нормальная.

– Почему это я нормальная? – обиделась она, как другая бы возмутилась: «Почему я ненормальная?». Ненормальность казалась им нормой, нестандартность – стандартом.

Чем глубже они спускались под землю и чем дальше мчался поезд метро, тем больше он мрачнел. Его лицо казалось таким беспомощным, а горе таким искренним, и ей так хотелось его утешить! Она пыталась что-то говорить, но он только качал головой.

– Ну, что я могу ещё сказать?.. Ну, хочешь, я буду объясняться тебе в любви? – вдруг сказала она неожиданно для себя. Он вздрогнул и внимательно посмотрел на неё.

– Не надо.

Вот и её остановка. «Осторожно, двери закрываются».

Ефим БЕРШИН. Песочные часы Юрия Левитанского

По стихам Юрия Левитанского гуляет сквозняк. Всегда. О чем бы ни писал – сквозняк. Как будто он жил с дырой в стене. С дырой, из которой время от времени появлялись не видимые другим люди, выползали не ведомые другим события, звучала не слышимая другими музыка. А иногда вместе с этим в комнату просто врывалась снежная буря или проливной дождь. Но чаще сквозняк почти незаметно уносил в эту дыру все, без чего вчера еще жизнь казалась невысказанной. Всех, без кого жизнь – не жизнь. И засыпало снегом времени.

Снегом времени нас заносит – все больше белеем.
Многих и вовсе в этом снегу погребли.

Погребли, оставив лишь

...Море Терпенья. Берег Забвенья. Бухта отчаянья.
Последней Надежды туманные острова...

И изумленный Левитанский, понимая и в то же время по-детски не понимая, что происходит, вдруг выдохнул: «Робот храпит у меня за стеною».

Что ж, робот так робот. Не важно. Важно другое: этот «кто-то» за стенкой, с которым он жил, беседовал, спорил, умиротворял – никуда и никогда не исчезал. Этот робот прописывался везде, где прописывался Левитанский. Он был полноправным членом семьи. Даже не так – он был главным членом семьи. Беспечным. Иногда буйным. Всегда чужеродным. Сожителем, с которым родственные связи вроде бы и не прослеживались, но оказались более прочными, чем любые родственные узы. Попытки его умиротворить, конечно, ни к чему не привели и привести не могли. При всей детской и недетской мудрости Левитанского.

Вот эта дыра в стене, этот постоянный сквозняк и порождали в Левитанском ощущение постоянной бездомности. Будто не в доме, не в квартире жил. И даже не в чужой квартире – на заметном перекрестке, со всех сторон продуваемом, где нет ни указателей, ни светофоров. А видимость выбора четырех дорог – только видимость выбора четырех дорог. И – вечный выбор пятой, шестой, седьмой, куда никакие указатели не ведут. Вот и стоял. Обездомленный.

* * *

Но Левитанский не был бы Левитанским, если бы не попытался и этот ужас осветить своим собственным, таким неповторимым, таким теплым светом. Левитанский не был бы Левитанским, если бы не попытался согреть этот вечный, ползущий из стены холод,

вывернуть все наизнанку. Создать или даже просто осознать все это как праздник. Пусть и грустный праздник, но все-таки праздник:

Светлый праздник бездомности,
тихий свет без огня.
Ощущенье бездонности
августовского дня...

Левитанский был мудрым и неторопливым не только в суждениях. Но и в жизни. Многим, кто знал внешнюю канву жизни поэта, это утверждение покажется чрезвычайно спорным. Ну, как же:

Были смерти, рожденья, разлады, разрывы –
разрывы сердец и распады семей –
возвращенья, уходы...

Да, было. Все было. Но не просто «разрывы сердец и распады семей», не просто «возвращенья, уходы», после которых – новый «светлый праздник бездомности». Все это – почти безысходная попытка примирить свою жизнь с требованиями того самого робота, что храпит за стеною. С этим бесконечным сквозняком, одновременно дающим и отбирающим все самое ценное, что было в его жизни. Отбирающим близких, отбирающим покой, отбирающим саму жизнь. Но дающим стихи, а, значит, и жизнь тоже. Тут никакой мудрости не хватит. Нельзя победить стихию, как нельзя победить Бога. Но можно попытаться договориться. Вот он и договаривался.

Замирая, следил, как огонь подступает к дровам.
Подбирал себя так, как мотив подбирают к словам...

Это – мудрость. Мудрость, проявляемая в сверхжестких условиях отсутствия выбора.

Переезжая с места на место, с одной квартиры на другую Левитанский неизменно перевозил за собой свой сквозняк, свою дыру, своего робота. И вскоре выяснялось, что опять, как в этом же стихотворении, после того, как

*...доиграла шарманка, в печи догорели дрова.
Как трава на пожаре, остались от песни слова.*

И – «стоят холода, и стоят над землей холода». Все сначала. Правда, «остались от песни слова». Не в этом ли главное?

* * *

Левитанский писал даже не отдельные стихи, а целые книги.

Мыслил – книгами. Потому и не ставил под стихами дат написания. Видимо, так. И сегодня сложно определить, когда именно были написаны «Песочные часы». Если впервые они попали в книгу «День такой-то», то и написаны были где-то в первой половине семидесятых. Значит, тогда и мелькнула эта мысль... Или не мысль даже – ощущение безысходности перемещения из одного пространства в другое. Перемещения и возвращения. Через ту самую дыру. Через ту маленькую безысходно втягивающую в себя воронку, так похожую на воронку песочных часов. Туда-назад. Безысходно – потому что полагал, будто мы не властны над теми, кто переворачивает где-то над нами «два конуса стеклянных». И Левитанский (опять же, о мудрости, безысходной, обреченной мудрости) сумел осознать себя одной из песчинок, струящихся сквозь воронку пространства и времени.

Я был частицей этого песка,
частицей бесконечного потока,
вершащего неутомимый бег
меж двух огромных конусов стеклянных...

Он жил в том пространстве и в том времени, где от человека мало что зависит. Он общался с теми силами, с которыми не поспоришь. Мужество в данном случае – не спорить с тем и теми, с кем спорить бесполезно. Левитанский, зная историю Иова, оказался мудрее Иова. Мужество в том, чтобы на этом фоне заставить себя жить обычной жизнью, хотя уже и «проснуться было так неинтересно». Мужество в том, чтобы все-таки просыпаться, все-таки вставать, бриться, пить чай, кому-то помогать, совершать поступки

...между тем как день
все время просыпался,
просыпался,
пересыпался,
сыпался
и тек
меж пальцев, как песок
в часах песочных,
покуда весь просыпался,
истек
по желобку меж конусов стеклянных,
и верхний конус надо мной был пуст,
и там уже поблескивали звезды,
и можно было вновь идти домой
и лечь в постель,
и лампу погасить,
и ждать,

покуда кто-то надо мной
перевернет песочные часы,
переместив два конуса стеклянных,
и снова слушать,
как течет песок,
неспешное отсчитывая время.

Так вот. Песочные часы. Лабораторная колба времени. Туда-сюда. Песок перемещается из пространства в пространство сквозь узкую горловину. По песчинке, по человеко-песчинке, «по желобку вдоль конусов стеклянных». Зачем? Чтобы попасть из одного замкнутого пространства в другое, в котором только и может быть актуальным то, что мы называем временем? Время не живет на свободе – только в замкнутой на все засовы камере человеческого бытия. И что? Спасти, проникнув сквозь игольное ушко за стену крепости, где стены будут уже со всех сторон?

И кто переворачивает эти часы? «Кто-то надо мной...»? Тут не хочется соглашаться с Левитанским. Не «кто-то» – сам человек и переворачивает. Иначе не умеет. Страшно. Так и возникает супрематическое время.

* * *

В «Разговоре о Данте» Мандельштам пишет о том, что Дант, «соединив несоединимое, изменил структуру времени» или даже «вынужден был пойти на глоссоластию фактов, на синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий именно потому, что слышал обертоны времени». И приходит к выводу, что Дант создал образ «стояния времени». Любопытно. Встав перед проблемой соединить события разных лет, Дант умудрился просто-напросто остановить время.

Левитанский выбрал образ замкнутого времени. Метафору замкнутого времени. Но метафору столь видимую, столь прозрачную (как сами песочные часы), что она выбивается даже за само представление о метафорах.

У Левитанского все метафоры – прозрачны, видны насквозь. Одна из самых гениальных метафор века – его, Левитанского, из стихотворения «Ну что с того, что я там был...»:

Я лед кровавый в январе.
Я прочно впаян в этот лед –
я в нем, как мушка в янтаре.

Даже зная факт его военной биографии, зная, что при обороне Москвы он лежал на снегу, на льду сорок первого года за пулеметом

рядом со своим другом и поэтом Семеном Гудзенко, все равно поражаешься. Потому что надо было еще себя увидеть с той немислимой высоты, откуда война, кровь, оборона, холод сливаются в одну застывшую мертвую точку «мушки в янтаре». И благодаря этой точке пространство войны открывается намного реальнее, явственнее, шире, чем при прочтении многотомных произведений.

Не та ли это точка песочных часов, сквозь которое просачивается время?

Опять же, согласимся с Мандельштамом: «Определить метафору можно только метафорически». Развить – тоже. Метафора – ключ в иное видение, ключ к иному пространству и даже иному времени, если таковое существует. Поэтому понять и продлить заключенный Левитанским в метафору путь можно только тем же способом – метафорически. Уйдя от привычной, давно навязшей в зубах, а то и опошленной внешней биографической канвы. «Ну что с того, что я там был». И, действительно, то, что он «там был», и не только там, а во множестве других мест – все это меркнет перед одной маленькой мушкой в янтаре.

* * *

Координаты времени условны.
Привычно говорим – задолго до.
До нас. До наших дней. До нашей эры.
До Рима. До Пилата. До Голгофы.
До Ноя. До ковчега. До потопа.
История – вся сплошь – задолго до.
Живущие меж прошлым и грядущим,
все тщимся заглянуть как можно дальше.
За нами – тьма, и перед нами – тьма.
Так и живем меж тою тьмой и этой,
на крохотном пространстве между ними...

Итак: что если оторвать у песочных часов днища? Горловину оставить, а днища оторвать. И тогда то, что сумеет просочиться, все эти песчинки и человеко-песчинки уйдут в совершенно бездонное пространство. Туда, где «уже поблескивали звезды». Туда, где образуется нановремя. Кстати, известный американский ученый Ричард Фейнман, предтеча нанотехнологий, сделав свое открытие, восторженно воскликнул перед переполненной аудиторией: «В том мире полно места!» Левитанский это понял без Фейнмана, хотя и не мыслил нанокатегориями.

Или не понял, нет. Услышал, почувствовал. Увидел. Да и как было не почувствовать, если вся жизнь его (не образ жизни, а именно жизнь) стремилась за пределы замкнутого времени, туда, где «за

нами – тьма, и перед нами – тьма».

Он все-таки попытался оторвать днища песочных часов, чтобы обрести свободу. И вечность обрести. Не без сомнений, конечно. Не без боли. Не без грусти. Не без ностальгического желания вновь попасть, «туда, в года неведенья, где так малы и так наивны сведенья...». А кто такого желания не испытывает? Кому приятно жить в продуваемом всеми ветрами пространстве, если так «приятно вспомнить, засыпая, что держится земля на трех китах»?

...и просыпаясь –
да, на трех китах
надежно и устойчиво покоится,
и ни о чем не надо беспокоиться,
и мир – сама устойчивость,
сама
гармония,
а не бездонный хаос,
не эта убегающая тьма,
имеющая склонность к расширению...

В своей манере, конечно, сделал. При помощи формы. Вернее, ее отрицания. Впрочем, и это неточно. Просто Левитанский доказал, что гармония лежит за пределами формы. И это стало инструментом, ключом, попыткой разгадки тайны вечного сквозняка.

* * *

Итак, три проблемы: хаос, гармония и форма. Ключ к решению – ощущение ритмов. По общему заблуждению, ритмы имеют отношение исключительно ко времени. Но это не так. Далеко не так. Так – если говорить о времени замкнутом. Но если речь о нановремени, почти недоступном человеческому восприятию, то ритмы – нечто совсем другое. Это – жизнь. Это до-жизнь, это после-жизнь. До нас и после нас. Это – всегда и везде. Это пульсирующая вечность. Левитанский это почувствовал, увидел «нанозрением»:

Только ритмы, одни только ритмы,
бесконечное множество ритмов,
их биенье, круженье, течение,
и пересечение,
и противоборство.
Вся Вселенная – скопище ритмов,
грандиозная ярмарка ритмов,
их ристалище,
форум, арена.

Уж согласимся, что в привычное понимание понятия «ритм» ни круженье, ни пересечение, ни тем более противоборство никак не укладывается. «Ристалище, форум, арена» – тем более. Что же это?

Это ритмы вселенского хаоса. Или того, что нам кажется хаосом.

«Хаос – это тот порядок, который был разрушен при сотворении мира» – как-то пошутил Станислав Ежи Лец. Но в этой шутке – никакой шутки. Потому что хаос, действительно, – порядок. Иной порядок. И мы, со своим земным порядком – часть всемирного хаоса, часть той непостижимой для обычного человека гармонии, существовать в которой страшно. Гармония хаоса, переведенная на язык земного порядка, еще воспринимается. В чистом виде – нет. Когда Левитанскому стало тесно в его песочных часах, когда он догадался, что «вся Вселенная – скопище ритмов» и сам заявился на эту «грандиозную ярмарку ритмов», в нем свершилась революция. Она пылала, то затихая, то раскаляясь вновь и в «Кинематографе», и в «Дне таком-то», а окончательно победила в «Прогулках с Фаустом». И он уже мог написать со знанием дела:

...на волнах одного только ритма
плавно качаюсь.
Как прекрасны его изгибы и повороты...

Причем, не метаморфоза, а замечательная метафора случилась в нем самом. Его революция оказалась опять же метафоричной. Потому что он вскрыл не только верхний конус песочных часов, где «уже поблескивали звезды», но и нижний, разглядев своим удивительным зрением сходство между ритмами Вселенной и ритмами памяти.

Бездна памяти, расширяющаяся Вселенная,
вся из края в край обжитая и заселенная,
вместе с вьюгами, снегопадами и метелями,
как реликтовый лес не вянущий, вся зеленая.

Бездна памяти, беспредельное мироздание,
расходящиеся галактики и туманности,
где все давнее
только четче и первозданнее,
очевиднее и яснее до самой малости.

И ведь действительно память пульсирует именно так – множеством пересекающихся и противоборствующих ритмов. В ней сверкает, кричит и пенится настоящая ярмарка, где каждое воспоминание норовит перекричать, перепульсировать другое, соседнее. Хотя – какое соседство в бесконечности?

Хорошо: увидел, услышал, почувствовал. Что? «Эту убегающую тьму, имеющую склонность к расширению»? Тьму впереди и тьму позади? И что с этим делать? Гармонизировать такой хаос – это вам не стихи на злобу дня и ночи со сцены Лужников или Политехнического. И Левитанский осторожно, в своей неповторимой лирической манере начал нащупывать гармонию этой тьмы, гармонию того, что по нашим земным меркам вполне можно было бы назвать дисгармонией. Иную гармонию. И оказалось, что она лежит за пределами привычных стихотворных форм. Да и вообще – за пределами формы. В том числе – за пределами формы песочных часов.

* * *

Перечитываю свои же слова, написанные почти сразу же после смерти Левитанского в 1996 году: «Перед русской поэзией XX века у Левитанского есть две бесспорные заслуги: во-первых, он реанимировал глагол, а во-вторых, доказал, что строка может длиться целую вечность, не теряя при этом своей естественности, органичности. После Пушкина никто, кажется, так не любил глаголы, никто их так изысканно не рифмовал, не перекачивал по строке, как волна перекачивает гальку – шурша и звеня. А рифмовал их настолько виртуозно, что складывалось впечатление, будто до него эти глаголы никто и нигде не употреблял. И еще в этом был прямой вызов тем, кто пытается и для поэзии устанавливать какие-то каноны и правила, в частности, тем окололитературным снобам, которые почему-то вдруг решили, что глагольная рифма – дурной тон. А традицию понимают, как нечто предписанное, связывая ее в основном с формой, забывая, что главное-то – в степени таланта, в образе дыхания».

Но право же, не в этом суть,
и спорить о свободе метра –
как спорить о свободе ветра,
решая, к а к он должен дуть.

Конечно, Левитанский, подневольный или, грубее говоря, раб собственного сквозняка, знал, о чем говорил. Он знал, что «ветер, дождь или трава свободны по своей природе», и приравнивал к ним поэзию. Потому что «стих, он тоже в этом роде, его природа такова».

Сделав стих частью природы, слив воедино природу и поэзию, Левитанский обрел свободу. Парадоксально, но факт: он обрел свободу в рабстве. Если слить стих или самому слиться с окружающей средой (какой бы она ни была, кстати), свобода является незамедлительно. Также парадоксально когда-то написал об этом Григорий Померанц, поведав, что никогда не чувствовал себя таким свободным, как в лагере (это в сталинском-то лагере!), когда они с другом в лютый мороз бродили по вечерам вдоль колючей проволоки и рассуждали

о литературе и философии. Объяснить все это сложно. Далеко не все поняли и одобрили, что не удивительно. Как не все поняли, что именно имеет в виду Левитанский, говоря о свободном стихе. А дело просто «в степени свободы», достигнутой в предлагаемых обстоятельствах.

О, только б не попутал бес,
и стих по форме и по мысли
свободным был бы
в э т о м смысле,
а там – хоть в рифму или без!

Бес, кстати, попутал многих. В девяностые годы, когда на нас обрушился не тот, вселенский, а реальный социальный хаос, молодые и не только молодые поэты, не умея разобраться в его природе, принялись его просто-напросто... украшать. Каких только форм не напридумывали! Отменили знаки препинания – то ли умышленно, то ли по недостатку грамотности. На публичных выступлениях издавали какие-то звериные вопли, выдавая это за поэзию. Ну, а большей частью пытались преподнести читателю какой-то неосознанный ими самими поток даже не сознания, а подсознания. Разумеется, с натужным, неестественным, нарочитым уходом от классических форм стихосложения. Чем нелепее – тем оригинальнее.

Левитанский владел абсолютным мастерством, любой формой. Что, в частности, доказал в своих пародиях на известных поэтов. Это единственный из известных мне случаев, когда пародисту удалось спародировать не отдельно выдернутые строки, а все – стиль, словарь, образ мышления пародируемого. Словом, явил высшее мастерство. Отказ от привычных форм у Левитанского не натужен, не экспериментален, а именно гармоничен. Органичен. Потому что он пошел не за формой. А за гармонией. Именно гармония, именно его новая свобода, лежащая за пределами песочных часов, продиктовала ему длину строки, которую, как оказалось, можно длить и длить бесконечно:

Красный боярышник, веточка, весть о пожаре,
смятенье,
гуденье набата.
Все ты мне видишься где-то за снегом, за вьюгой,
за пологом вьюги,
среди снегопада.
В красных сапожках, в малиновой шубке,
боярышня, девочка,
елочный шарик малиновый
где-то за снегом, за вьюгой,
за пологом белым бурана.

Что занесло тебя в это кружение январского снега –
тебе еще время не вышло,
тебе еще рано!

Казалось бы, так не бывает. И, тем не менее, стих абсолютно гармоничен, естествен и даже классичен, несмотря на явный уход от «четырёхстопных», «пятистопных» и прочих ямбов. Складывается впечатление, что сама конфигурация, сам рисунок строки – черпак, предназначенный для того, чтобы ту самую бесконечную тьму, пустоту, саму вечность зачерпывать и подавать к писательскому столу с целью гармонизации.

Освободившись, Левитанский не то чтобы перестал обращать внимание на классические формы – просто он не гармонию втискивал в формы, а формы заставлял служить гармонии. И появились стихи «хоть в рифму или без». В одном и том же стихотворении рифма у него может появляться и исчезать. Один и тот же стих из ритмичного и рифмованного может переходить в белый, свободный. А потом возвращаться на круги. Для него, владевшего рифмой и вообще, словом, как мало кто другой, это не составляло проблемы. При этом он не был упрямым в своем реформаторстве, отдавая дань и классическому стиху тоже. Важным было другое – свобода. Важным было само движенье. Остальное не то что бы уже не имело значения, имело, конечно, но он не был властен над тем, что ему предстояло открыть.

И почти незаметное, медленное продвиженье,
передвиженье медленное, на семь слогов,
на семь музыкальных знаков, передвиженье,
на семь изначальных звуков, на семь шагов,
и восхожденье, медленное восхожденье,
передвиженье к невидимой той гряде,
где почти не имеет значенья до или после,
и совсем не имеет значенья когда и где...

Французский художник, писатель и сценарист Жан Кокто написал, что «художник сначала находит, а потом – ищет». Я бы уточнил: свободный художник. К Левитанскому это относится в полной мере. Он сначала находил, а потом уже, иногда через много лет, предпринимал попытку осмыслить найденное. Находил, а потом уже искал, что же это он такое нашел.

* * *

В годы нашего общения я был молод, задирист и многого не понимал. Левитанский понимал, что я не понимаю, но относился к этому снисходительно. «Еще немного поживете – поймете», –

приговаривал он. Потому что видел тот «виток дороги», на котором я находился, видел направление движения, а это для него было важнее.

Он знал, что

...виток дороги – еще не итог дороги,
но виток дороги важней, чем ее итог...

Так и оказалось.

Если бы он сегодня был жив, я готов был бы молчать и только слушать. О тех витках, которые он уже прошел. О том, что там – за другими поворотами, за пределами песочных часов. Но... «Не поговорили».

Остается прислушиваться к сквознякам. К тому сквозняку, с которым он слился, в котором растворился, и который унес его далеко за пределы всех литературных форм – «в бездну памяти, беспредельное мироздание».

Александр КАРПЕНКО. «Жизнь – это реквием по человеку...»
 Елена Севрюгина, *Раздетый свет*. – М., «Синяя гора», 2023. – 66 с

«**Раздетый свет**» – важная книга в творчестве Елены Севрюгиной. Поиски «хрупкой правды» и индивидуального почерка оформились у неё в путь. Казалось бы, что нового можно сказать про свет? Но поэт находит неожиданный эпитет к этому слову – раздетый. И мы понимаем, что одно-единственное слово рождает концепцию. Раздетый свет, согласно Елене, – это горькая истина, которую нужно принять. Свет ходил в белых одеждах, но его раздели. У Елены Севрюгиной «голый» свет – это гетто посреди царства тьмы. Свет, который светит во тьме, как ни прискорбно, аутсайдер и незванный гость. Но он может выстоять и, в конечном итоге, победить, хотя бы морально. Стихи Севрюгиной мужественны и тревожны. Она не одинока в самостоянии – «голоса прирастают смешеньем вины и войны». Свежая книга Елены Севрюгиной даёт нам возможность размышлять вместе с автором на предложенные темы. Надо попытаться пережить время утрат с наименьшими потерями, невзирая на то, что «в суе раздарены пенаты / в темноте потеряны дороги». Нужно сотворить, духовно, самого себя, чтобы стать островком света, к которому будут тянуться другие люди, и «забрать у чужой темноты / то что внутри неё светится слабо». Нравственный стержень помогает человеку идти вперёд, даже если его свет оказывается не востребованным.

«Я наплываю на русскую поэзию», – говорил в тридцатые годы прошлого века Осип Мандельштам. Путь, которым идёт Елена Севрюгина, в чём-то, на мой взгляд, схож с путём Осипа. Она тоже «опыт и лепета лепит и лепет из опыта пьёт». Только наплывает она не на русскую поэзию, а на глубинные, потаённые смыслы, заложенные в ней: «и вспомнит вечная вода, / вращая времени спирали, / о том, чем были мы тогда, / когда ещё не умирали / когда в бесплотной высоте / мы были лепетом и летом / и, не имея глаз и тел, / срастались голосом и светом, / когда, оставшись за дверьми / не нами созданного рая, / внезапно сделались людьми, / себе судьбу не выбирая».

Если Марсель Пруст занимался поисками утраченного времени, то Елена Севрюгина по-диогеновски блуждает в поисках человека. У поэта возникают вопросы к человечеству: «время нас торопится прочесть / люди люди где вы нынче есть»? Человек у Севрюгиной – имярек, забывший имя рек. А ещё она ищет «потерянное имя». При новом рождении человек забывает имя, которое носил в предыдущей жизни. «Что в имени тебе моём?». «Бог не есть имя, но имя есть Бог». Вроде бы родовое имя у всех одно – люди, но насколько же разным бывает его наполнение! «Раздетый свет» – это книга-космогония, которая исследует космос человека и пытается приобщиться к

космосу Господа. У поэта и у Бога есть одна святая даль – «чтобы смыслу заново родиться, / чтобы слово стало горячей».

Что же делает человека человеком? Неравнодушие? Человеколюбие? Сочувствие страждущим? «Нам так милы ромашки маки лютики / Но мы не знаем люди-мы / не-люди-мы», – говорит Елена Севрюгина. Один и тот же человек может любоваться лютиками и одновременно бесчинствовать, разжигать национальную рознь, ратовать за международный разбой. Даёт ли любовь к лютикам ему право называться человеком? Возникает навязчивая мысль: может быть, то, что мы называем культурой – не более чем иллюзия, а на самом деле мы, в большей массе, мало чем отличаемся от варваров и крестоносцев?

В стихотворении «на приводе на привязи у припяти...», где нет знаков препинания, Елена Севрюгина авторской рукой ставит сразу несколько черточек, разделённых косой линией, словно бы подсказывая читателям, что именно здесь – эмоциональная кульминация стихотворения. Самое главное. И самое время обратить внимание на синтаксис и пунктуацию в новой книге поэта. Раньше, если память мне не изменяет, она перемежала традиционную пунктуацию с «авангардной», в соотношении примерно 50 на 50. Что же касается «Раздетого света», абсолютное большинство стихов здесь написано без заглавных букв и знаков препинания. То есть Елена определилась с доминирующей стилистикой своих произведений. В начале двадцатых годов двадцать первого века с нами произошло что-то такое, что властно требует от поэта нового языка. Настало время, которое чурается громкости голоса, время, вдавленное вовнутрь. Елена – поэт, который сам руководит своей пунктуацией. Раньше авторы часто отказывались от неё по причине... своей безграмотности: они не знали, как правильно расставить запятые, и проще было совсем отказаться от знаков препинания. Но к Елене Севрюгиной это никак не относится. Она пишет грамотно – это можно увидеть, например, в её критических статьях, где все знаки препинания находятся на своих местах. А вот для поэта Севрюгиной авторская, избирательная пунктуация – важное выразительное средство.

Ещё одна тема, которую Елена Севрюгина поднимает в новой книге – человек внутри человека. Как правило, лучший человек – внутри нас. В отличие от человека снаружи, он не боится потерять работу или дружбу и поэтому не будет поступаться принципами. Он «чище», идеальнее того, другого. Человек внутри нас происходит от слова «человечность»: «всё станет явью через час / всё станет болью через снег / живёт внутри не зная нас / забытый нами человек». Часто, по тем или иным причинам, мы предаём лучшее в себе – а потом нам плохо, и мы не можем пронять, почему нам так плохо. Лучший человек стучится к нам, но мы его не слышим. И это – внутренняя

драма каждого, о которой талантливо рассказала в книге «Раздетый свет» Елена Севрюгина, – «жизнь это реквием по человеку / колос и колокол по человеку / и бесконечное слово ему».

Это бесконечное слово уже было сказано классиками русской поэзии. Через всю новую книгу проходит у Елены Севрюгиной любовь к творчеству наших великих поэтов. Все они, по-разному, добавляют Елене Севрюгиной свой голос. О чём-то похожем рассказывал Евгений Евтушенко во вступлении к поэме «Братская ГЭС». Фёдор Тютчев, Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Марина Цветаева, Борис Пастернак – те «плечи», на которые опирается лирика Севрюгиной: «лёгкая тростинка на ветру, / может быть, сегодня я умру – / просто опознай меня, похожий, / в кровавом брожении под кожей, / в янтаре, врачующем кору... / кто я нынче? вещая трава, / вечная мольба или молва, / душной страсти привкус комариный, / марой ли, мареной ли, Мариной / я была – останутся слова...». Елена не противопоставляет Ахматову и Цветаеву, Пастернаку и Мандельштаму – они близки ей в равной степени.

Елена Севрюгина устремлена сущностью за пределы видимого и возможного. Помните, у Высоцкого: «За флажки! Жажда жизни сильнее!». У Севрюгиной жизнь начинается за границей холста: «продление вечного вещим / странная живопись / жизнь за границей холста». Художник продлевает холст жизни – до своего «заколонья». Остаточные явления, эманации постмодерна, на мой взгляд, не являются больше для Елены Севрюгиной путеводными. Это уже «перезрелый» постмодернизм. Редкими вкраплениями он напоминает автору о пройденном пути: «не смеюсь не плачу тихо вою», «скрываешься таи и молчи».

*выбегаю в жизнь, почти одетта,
вот уже сквозь веки поплыла
трясогузка солнечного света,
стрекоза сезонного тепла
холод канул в прошлое, непрошен,
вслух теперь читаю по утрам
палимпсесты солнечных горошин,
меланхолизма майского коран
так ли важно, веру обнаружив,
в невод неба падая с моста,
где твой бог – внутри или снаружи –
если всё на свете – красота,
шорохи, шумы, мерцанья, брызги...
видишь, обозначены едва,
наши сны – не сны уже, а смыслы,
счастьем воспалённые слова*

побежим, внезапные, иные,
в этот непридуманный приют,
где фонтанов струны водяные
скрипками тончайшими поют
где примета переходит в мета
где под влажный вздох эльфийских крыл
время нас теряет незаметно
в миг, когда весь мир о нас забыл
(пунктуация – авторская).

Елена использует в этом стихотворении постмодернистский приём, когда одно слово замещается другим, звучащим похоже (одета – одетта). Просто удваивая букву. Но одновременно удваиваются и смыслы. Строчка выдаёт в авторе человека, который хорошо разбирается в русском балете. Честно говоря, я ожидал здесь развития балетной темы: «одета – одетта» должна была, по идее, прирасти «одиллией – идиллией» (читатель ждёт уж рифмы розы!). Но стихи Елены Севрюгиной не развиваются логически. И в поэзии это, безусловно, достоинство. Это вдохновенный текст, который развивается стремительно и непредсказуемо для самого автора. Есть «развилки дорог», где всё могло пойти и в другую сторону. Немного смущает меня коран, который дружен с меланхолией, но одно слово в хорошем ритмичном тексте погоды не делает.

Небольшой объём книги даёт возможность читателям пристальнее взглянуться в строки поэта. Если же мы приплюсуем к чтению размышления, то этого будет как раз достаточно для обсуждения и духовного обогащения. Скажу больше: для эстетического единства предпочтительнее именно небольшая книга. Работает на замысел и обложка книги: авторский факсимильный почерк, скошенная перспектива, текст уплывает в неизвестность, «за пределы холста», что соответствует устремлениям автора. Пизанская башня смысла – об остальном догадайтесь сами. Станьте герменевтами, ищите! Мир человека интересен и не познан. А полный текст стихотворения «Имярек» обнаружился, как и положено, внутри самой книги, здесь тот же посыл – внутреннее лучше внешнего.

Как человеку сохранить внутреннюю чистоту? Как достать истину «из голубых колодцев Мураками»? Тёмные воды впадают у Елены Севрюгиной в чёрные реки. Чёрная речка уводит нас к месту пушкинской дуэли. Но у Севрюгиной стреляются на дуэли, скорее, истина и наши заблуждения. Что же противостоит у Елены тёмным водам и чёрным рекам? Белый огонь. Хочу пожелать автору чистоты слога в избранной сложности. Всё в нас самих, надо только

пристально взглядеться и не предавать своё «я»: «нет ни пространства
ни времени / ни разлуки ни расстояния / есть только ты / ставший
мыслью и словом / светом и морем / человеком и птицей / собою и
всеми».

Владислав КИТИК. Здешний и... нездешний свет Ксении Август.
*Ксения Август. Всё будет свет. — Калининград:
«Полиграфычъ», 2022. — 104 с.*

Поэтический мир Ксении Август, представленный в её книге стихов «Всё будет свет!», захватывает с первых строк, накрывает лирической волной. Название, как фонарь над головой, концентрирует образное содержание и художественные нюансы книги. Свет становится не только её тематическим направлением и предметом рассмотрения, но в гораздо большей степени энергетическим стержнем, диалектической основой. Он предстаёт в разных ипостасях. То рассеянный, то проникающий исподволь, как луч, но чаще — соотнесённый с психологическим состоянием автора, ассоциативно возведённый в ранги, отличные от просто физического явления: «грядёт, и лётся свет из окон — не электрический, а тот, что называем мы нездешним». То есть свет присутствует в самой структуре стиха как аналог тонких материй. В этом смысле и «белый снег — света храм», деревья «осеяли окрестности... знаменьями крестными, на все четыре стороны сея свет». И даже боль — светлая! И тогда «ничего невозможного нет, если есть этот свет в человеке».

В книге нет абсолютизации света, но есть полярность как болезнь бездуховности, которая замедляет эволюционный путь человечества («болен век, неизлечимо болен / великой тьмою, Дантовской почти»). Со своей стороны, Ксения противопоставляет ей творчество, благодаря которому, пишет она, «теряется мрак Эреба / в тишине над моей строкой». Это интуитивное следование принципу древних греков: писать либо о прекрасном, либо сетовать на отсутствие его.

Культура как категория, неотделимая от творческого процесса, является одним из источников света. Так, ещё философ-мистик Николай Рерих расшифровывал это понятие как «почитание света». Раскрытию подобной идеи в книге способствует загадочная квинтэссенция чувства, создающего лирическое восприятие жизни. Именно лирика освобождает от необходимости погружаться в перипетию быта, обращать взгляд в сторону злобы дня. Поэтому на упоминании темной стороны жизни внимание автора к ним и заканчивается, оставляя её для публицистических жанров. Именно лирика способна поднимать стихи до уровня поэзии, вносить в них драматический шарм, сочетать обращенность к вечным темам с неперемным условием быть искренним в словесной передаче своих переживаний. Стихи приходят из неизвестности и получают форму.

Для этого Ксения строит свою характерную образную систему. Её отличия в неожиданных параллелях сравнений, развёрнутых метафорах, нестандартности найденных эпитетов. Строфы — как сообщающиеся сосуды, буквально перетекают одна в другую.

Пластику стиха так же создают совершенно эксклюзивные рифмы, даже скорее созвучия слов («смиренье – сирени», «дѣгтя – придѣтся», «будто – буквы»), которые усиливают мелодику её стихотворной речи. Возможно, это происходит от того, что Ксения – пианист, профессиональный музыкант, преподающая в музыкальном колледже и выступающая с самостоятельными концертами. Но, возможно, просто таков её поэтический слух, а приобретённые навыки только усиливают творческое восприятие слова, подкреплённое в стихах музыкальными аллюзиями:

а я, ещё и воздух, и полёт,
и голосок Сольвейг, и утро Грига,
хранящее под сердцем песнь щегла,
и тополей бессвязный детский лепет,
а я, ещё не знающая зла,
прокофьевская девочка-Джульетта.

В целом из этих составных складывается индивидуальное видение автора, сдвигающее пласты устойчивых представлений. Но главная содержательность книги «Всё будет свет!» определяется все-таки чувством.

Интерес к происходящему и отсутствие даже попытки определить конечный рубеж образуют ощущение пути, который важнее конечного результата. И аллегорически воспроизводит поиск и поток движения. Это перекликается с научением отдавать предпочтение неустанному поиску, нежели успокоительному желанию обрести.

И здесь вскрывается второй источник света Ксении Август – единение с христианскими принципами православия.

С этим книга открывается, как двери, в мир духовных поисков. Они уже присутствовали в её обращенности к культуре. Теперь ощущение Бога в себе, переходящее в стихи, выглядит у Ксении как отождествление себя с природой, с музыкой, проистекающей от естественного природного начала. И поэтому она говорит от имени предметов и явлений: «Я – лес, я ветла и я ольха», и далее – «я – колокол Кёнигсберга», продолжая это высказывание параллелью: колокол – сердце. Или с более мощным звучанием, усиленным апелляцией к ветхозаветным преданиям:

... а наутро ко мне прилетает усопший щегол,
и во мне воскресает на время библейский Сигор,
и во мне ото сна пробуждается Мёртвое море,
и цветы, и деревья, и сонмы
стремительных трав,

и во чреве моём погибает младенец Моав,
и не спит Бен-Ами, и о скором спасении молит.

Природа как художественный образ у Ксении олицетворяет высшее начало. Соединение с ней заявлено как соединение с божественными силами, создавшими эту природу. А поскольку мир передаётся устами человека, то он — вочеловечен, наделен человеческими чертами: «сквозь ладони цедит утро / одуванчиковый сок». Только, если для человека земная жизнь конечна и рассматривается как физическое исчезновение, то для его духовной сути жизнь не исчерпана: «человек, он не исчез до конца». Он будет «звучать, как цикады, и после смерти, каждый сольётся с полем, / люди уходят в небо, / в лёгкие птичьи души».

Жизнь продолжается, только в виде существования в бесплотном мире. Проводником к энергиям высшего порядка становится слово: «Если слово твоё благовест, / если сердце моё благовест, / значит, смерти в нас больше нет».

И, снижая пафос глобальности, автор приводит читателя к реальной близости, почти домашнему ощущению Бога: «а Бог всё спит в вишнёвой косточке, случайно нами же проглоченной».

Так же чуждо какой-либо позы принятие заповедей, органично впитанных с детства. Такая простота подкупает искренностью и доверительностью:

Мой детский бог, лечивший воробьёв,
и чаек с перебитыми крылами,
и с крыш упавших сизых голубей,
мой детский Бог, твердил мне: «Не убей!»

На таких эмоциональных гребнях движутся стихи Ксении Август, наполняя книгу и выплёскиваясь за её рамки. Наверно, в этом секрет полноценности её жизни и право утверждать: «Я умею быть счастливой».

Ольга ЛАДОХИНА. Человеческий самоцвет. Галина Климова.
Сирота на морозе: Роман. – Дружба народов. 2023. № 7. С. 7–63

И день, и ночь, как вечное движение,
Почтовые навстречу поезда.
И не узнать, не вспомнить никогда,
откуда к нам приходит утешенье.

Галина Климова

В романе «Сирота на морозе» Галины Климовой – мозаика из жизни людей от послевоенного времени, оттепели и до перестройки, «все сироты, как из одной семьи, которой нет». Главная героиня Ангелина Чудинова – немецкая девочка Ангела Кольбе. Её родители, немецкие коммунисты, бежавшие от Гитлера в СССР, в Москву, были репрессированы в годы войны, а её, уже детдомовку, удочерила бездетная семья из Купавны. Ангелина, сирота на морозе, напомнила бажовскую Даренку из «Серебряного копытца», свет от обеих, и никаких самоцветов не надо. Для себя же этот свет Геля находит в иконописи, в посещении Оптиной Пустыни.

Наверстывает Геля (Ангелина – Ангела – Ангелина) не подаренное родными по крови, вымолит короткий миг счастья. Под покровом Храма находит утешение своих печалей и избавление от состояния сиротства. В романе слова, найденные для описания этой наполненной событиями жизни, напоминают самоцветы из «Малахитовой шкатулки» Павла Бажова: захожане, бегма, чаевичаем, марток... – сама, то ли как драгоценный камешек, то ли как снег на морозе, переливается, вот она в детстве, вот в юности – всегда *немецкая* сдержанность и русская открытость, такой душевный оксюморон.

В романе описана послевоенная Москва, дачная Купавна, и на контрасте – Берлин с трабантами, мостовыми, ратушами, куда на встречу с родной матерью добралась Геля, и постепенно заочная нелюбовь к немецкому сменяется чувством неожиданного приобретенного родства с немкой Гизелой Кольбе – родной матерью, разыскавшей её через столько лет. Робкое, мимолетное, но такое обжигающе, оно меняет все. И в этот момент развернутое до конца название романа наполняется философским смыслом.

В романе есть и вторая сюжетная линия – линия жизни семьи несправдливой Софии Сергеевны и ее сына Евгения, мужа Ангелины, сломленного душевно, спрятавшегося от жизни в коллекцию книг-малюток.

Их объединяют не только суровая нить жизни, но тема вселенского сиротства, взлететь и парить на облаке чувств не получается, сиротство и прошлое за плечами грузом придавливают, и отдаются

болью слова: детдомовка, немчура, приемыш, сирота на морозе.

Самоцветами в романе становятся и слова о пушкинском талисмানে, о камне Алатырь, о камне «Куриный бог», тот, что с дырочкой на счастье. Литературные аллюзии приводят к воспоминаниям о Марине Цветаевой с ее любовью к камням и сиротству ее детей, Георгия и Ариадны.

«Камни – долгожители», умеющие говорить и молчать: горный хрусталь, и янтарные бусики для мамы, и колечко с сердоликом, – их в романе рассыпано видимо-невидимо, талисманов для человека, но исцеление сиротства – в вере, в книгах, удивительная ода книгам, которую хочется перечитывать, как молитву: Пушкин с иллюстрациями Мавриной как спасение, потому что «все узнаваемое, родное».

26 сентября 2023 года

Елена СЕВРЮГИНА. Литературный обзор

Уходящий 2023 год, вопреки всё растущему количеству всевозможных катаклизмов (напряжённой общественно-политической ситуации в стране, росту инфекционно-простудных заболеваний и повальной депрессии), всё же сумел порадовать литературными открытиями, достойными внимания новинками и яркими именами.

Немало интересного произошло в сфере поэзии, прозы, литературной критики. Но говорить буду преимущественно о том, что с той или иной степенью тщательности изучено, пропущено через себя, осмыслено под определённым углом зрения.

ПРОЗА

Начну с прозы. Поистине в этой сфере пришлось столкнуться с немалым количеством текстов, поразившим воображение чем-то особенным: или яркой новаторской чертой, или прекрасным возрождением давно забытых классических традиций, или разнообразием жанров, гармонично сосуществующих в границах единого авторского замысла.

Так, в издательстве «Пальмира» (Москва/Санкт-Петербург) вышла исключительно самобытная книга Александра Чанцева «Духи для роботов и манекенов». Это поистине прорыв в области прозы, «новая форма мемуаристики, утверждающей себя в границах жанра интеллектуального романа, главный герой которого — не сам автор, а его идеи и мыслеобразы. Здесь цитирую свою рецензию, опубликованную в ноябрьском номере журнала «Знамя».

Актуализируя понятие «затруднённого чтения», тексты Александра Чанцева требуют от читателя определённых духовно-интеллектуальных усилий. При вдумчивом, пристальном прочтении повествование, сотканное из цитат, аллюзий, личных авторских воспоминаний и наблюдений, перестаёт казаться разрозненным, «ломающим каноны повествовательного жанра», и буквально на наших глазах рождается новая литература, в которой важно не столько описание прошлого, а моментально схваченная реальность, в которую автор всегда активно вовлечён. Сам Чанцев свой выбор формы повествования обосновывает так: *«фрагмент — это единственный доступ к бесконечному»*.

А вот книга Веры Зубаревой «Школьный двор» (издательство «Флобериум»/RUGRAM) написана очень лёгким и доступным читателю языком. Но этот чистый и невероятно красивый, привлекательный именно своей простотой язык обращает нас к

лучшим традициям хорошо забытой классики. Это противоядие от всего наносного, манерного и нарочито сложного – словом, от всего того, что в избытке встречается в современной постмодернистской литературе.

Казалось бы, «Школьный двор» – обычное воспоминание о детстве и юности автора. Но думать так – большое заблуждение. Соединив черты мемуарного очерка и художественной прозы, Вера Зубарева создала книгу-исповедь, в которой глазами ученицы 9 Б класса мы видим ушедшую в прошлое эпоху, старую Одессу с её двориками, акациями, дачными домиками и непередаваемым говорком коренных жителей.

Одесса – безусловно, главный герой повести, способной подарить своему читателю настоящую роскошь чтения, приобщить его ко всему происходящему, сделать участником событий, которые отныне станут частью и его личной истории.

Ещё одна очень приятная книжная находка – повесть Ольги Гуляевой «Солнце, луна и обратная сторона», выпущенная красноярским издательством «Литера-принт». Искромётная авторская ирония и предельная откровенность главной героини, делящейся с читателем своим уникальным опытом работы экстрасенсом, способны подкупить любого читателя. Но это отнюдь не беллетристика. Здесь много размышлений, философских обобщений и очень верных житейских выводов.

Вся повесть состоит из различного рода историй, где-то смешных, где-то грустных, где-то до боли узнаваемых. Над ситуациями, в которые попадают герои и героини, иногда смеёшься, а иногда и плачешь, поражаясь человеческому эгоизму. Сделанные по ходу повести наблюдения выдают в авторе человека умного, наблюдательного, хорошо разбирающегося в людях. Трудно, например, не согласиться, с тем фактом, что самой сильной и глубокой нашей привязанностью является любовь к себе – к своему уникальному и неповторимому, весьма эгоистическому «Я», требующему постоянного пребывания в привычной зоне комфорта.

«...мои клиенты, уникальные личности, повторяют вслед за интернетом: «Я буду делать так, как удобно мне, а если он (она) меня любит – пусть будет со мной, учитывая моё Я». И плевать уникальной личности на то, что это не он (она) сидит напротив меня, напротив меня сидит Я, бессмысленное, беспощадное и абсолютно обезличенное интернетными статьями о том, как всегда оставаться в зоне комфорта».

ПОЭЗИЯ

В области поэзии тоже произошло немало интересных и знаковых событий. Одно из них – выход в издательстве «Формаслов» книги Ростислава Ярцева «Свалка». Это живой отклик на события современности, выраженный в желании стремиться к небу, даже если «всё обрубали», «думать весть вместо смерти». По словам автора предисловия Валерия Шубинского, *«Слабость, не боящаяся трудной правды о мире, — уже сила. А правда эта не так безнадежна, как кажется. Ибо в мире распада и жестокости находится место для свободного дыхания»*. Преодолевая внутреннее сопротивление жестокости и насилию, поэт неизменно обретает свой «нерушимый сад» и свет. Мир распадается на части, но надежда жива и даёт силы жить дальше:

надо бы как-то пожить,
 переждать это бремя —
 время земное:
 земляные комки, волоски
 скошенной воли:
 уволят — вытянешь, милый, письмо:
 помилован, воин...

Не менее светлой, жизнеутверждающей, хотя и не лишённой тревожного звучания, является книга молодого воронежского поэта Павла Сидельникова, изданная в рамках Международной литературной премии имени Александра Казинцева. «Долгое дыхание» – на мой взгляд, очень удачное название книги, лирическому герою которой предстоит долгий путь узнавания и «проговаривания мира для познания себя», как пишет в предисловии Дарья Ильгова.

Как и в книге Ростислава Ярцева, здесь ощущается стремление удержать силой внутреннего света хрупкое равновесие добра и зла, сохранить любовь и милосердие в качестве непреложных законов и абсолютных ценностей мира. О чём бы ни писал Павел – его взгляд всегда устремлён к Богу, перед которым *«стоишь на коленях молишься помощи господи помощи»*. В отдельных поэтических текстах Сидельникова нарочитая простота слога – абсолютно оправданный приём, указание на изначальное тождество любого живого существа и гармонии мира, в котором царит покой и тишина:

не трогайте лежащую собаку в тишине
 когда лежит огромная и страшная она
 сама трава сама весна сама и тишина

Отдельным, достойным внимания событием 2023 года стало появление нового издательства «Синяя гора». С выхода первых же книг издательство громко заявило о себе благодаря слаженной, креативной работе исключительно талантливого коллектива в лице создателей проекта, молодых поэтов и культуртрегеров Андрея Фамицкого и Клементины Ширшовой, дизайнера Екатерины Мурашовой, видеографов Степана Орлова, Андрея Кудрявцева и Елизаветы Яковлевой, а также консультанта проекта Якова Красновского.

На сегодняшний день одной из интереснейших и удачных работ «Синей горы» можно назвать книгу питерского поэта Дмитрия Зиновьева «Бозон Хиггса». Она таит в себе немало сюрпризов. Например, задняя сторона обложки содержит кьюар-код, являющийся ссылкой на видео, где записано эксклюзивное интервью с автором книги. Название говорит само за себя. Бозон Хиггса – элементарная неделимая частица, фактически первооснова вселенной, а значит частица Бога. В книге причудливым образом сочетаются возвышенное и земное, вечное и повседневное, временное и безвременное.

Главное заключается в том, что автор способен вырваться из каждодневной суеты, из бесконечного круга падежей, миражей, кьюар-кодов, новостных лент, выдохнуть и сказать: *«послушай немного природу, стрижи, пичужки земные по небу снуют и песни поют»*.

Одним из наиболее значимых литературных явлений этого года для меня стал выход книги Нади Делаланд «Голоса в голове». *«Лёгкое дыхание поэзии»*, – такое определение стихам Нади дал поэт, прозаик и критик Леонид Костюков. Это даже не просто дыхание – скорее, выдыхание на поверхность того, чем наполнены сердце и лёгкие. И получается это как-то непроизвольно, без усилий, потому что процесс настолько же естественный, как сама жизнь, как любое природное явление.

Эта книга – мифотворчество, непрерывное наблюдение за миром из потустороннего окна, из личного авторского зазеркалья. В этом чудесном зазеркалье мёртвая материя оживает, вочеловечивается и одухотворяется словом. Всё происходящее здесь – настоящее чудо, камлание, шаманизм и прославление любви – движущей силы мироздания:

скульптор небесный листающий лес
лестница в небо и огненный лис
голос растрепанный катится вниз
в темном закате навеки исчез

<...>

если рождаться весь день и всю ночь
к свету тянуться ты чувствовать свет
то непременно закончится смерть
здесь между ног

КРИТИКА

Отрадно осознавать, что в области критики, самого сложного и трудоёмкого направления литературной деятельности, тоже в течение всего года наблюдалась удивительная активность. По крайней мере, о трёх, совсем недавно вышедших книгах хочется поговорить отдельно.

Так, в Рязани вышел довольно увесистый сборник современного российского литературного критика и публициста Елены Сафроновой «Улицы с фонарями». Здесь показан весь спектр уникальных, недюжинных возможностей автора, способного работать абсолютно в любом жанре критической направленности: от портретных зарисовок до масштабных статей, обзорающих весь современный литературный процесс.

В книге четыре раздела. Первый, под названием «Процессы», объединил аналитические материалы, позволяющие разобраться в основных тенденциях развития русской прозы и критики. Второй раздел, «Персоны», содержит оригинальные литературные портреты классиков русской литературы: Лермонтова, Бунина, Рубцова и т.д. «Провинциальный бинокль» – третий раздел, проливающий свет на творчество малоизвестных, но достойных внимания авторов: поэта, журналиста, литературного критика Владимира Доронина и «последнего имажиниста» Александра Архипова.

Наконец, в последнем разделе читаем интервью с интереснейшими, культовыми авторами современности: Александром Городницким, Сергеем Литвиновым, Ильёй Кочергиным и т.д.

Рекомендую книгу Елены Сафроновой всем, кто неравнодушен к литературе, её прошлому и настоящему.

Ещё одна прекрасная новость – выход в свет книги критических статей, рецензий и обзоров Александра Евсюкова – автора, уже хорошо известного читающей общественности. Книга называется «Принцип действия», и в качестве предисловия к ней автор помещает интервью, в котором рассуждает о принципах настоящей критики.

Книга во многом ориентирована на современный литературный процесс. В ней содержатся рецензии на книги Вадима Месяца, Игоря Панина, Елены Сафроновой, Екатерины Ишимцевой, Бориса Акунина, Дмитрия Данилова.

Интересен раздел «Пятерка антивоенных книг», содержащий

краткие авторские наблюдения о Всеволоде Гаршине, Михаиле Шолохове, Викторе Астафьеве, Сергее Снегове и Александре Бушковском. Есть также ряд статей, освещающих работу крупнейших литературных фестивалей (ЛевитовФест в Липецке, Международный литературный фестиваль имени Горького), а также работу 17-го Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и Зарубежья.

Это далеко не полный перечень тех материалов, которые наглядно демонстрируют авторское равнодушие и живой интерес по отношению ко всему, что сейчас происходит в мире литературы.

Ещё одна оригинальнейшая работа смешанного типа, которую скорее можно отнести к области критической прозы – книга Сергея Сумина «Архипелагами слов», на которую, кстати, написал не менее интересную рецензию Александр Чанцев. В написанном мною предисловии к книге Сумина я определяю её жанр так: «жизнь духа, взятая в узловой момент его становления». Действительно, здесь всё о внутреннем и практически ничего о внешнем, поскольку, по мысли тольяттинского поэта, «подлинный рост возможен только внутри себя». Трудно с этим не согласиться. Книга поражает разнообразием жанров и стилей, и в этом смысле может сравниться только с романом барочного автора Франсисико де Кеведо «Обо всём и о многом другом». В десяти разделах представлены эссе, критические заметки, афоризмы, стихи, мимолётные наблюдения и литературные эксперименты. Но всё это скреплено общим замыслом и целью – показать неразрывность природы и творчества, творца и его замысла.

Завершая свой обзор, хочу сказать, что в нём отмечены лишь отдельные интересные литературные явления, помимо которых следовало бы сказать ещё об очень многом, достойном внимания и прочтения. Например, в этом году вышло много интересных поэтических подборок на ведущих журнальных платформах России. В числе них – подборки Веры Зубаревой («Дружба народов», 8, 2023, «Нева», 6, 2023,), Владислава Китика (журнал «Нева», 9, 2023), Никиты Пирогова (журнал «Артикуляция», декабрь, 2023), Бориса Кутенкова, Михаила Пимонова и Евгения Морозова (журнал «Дегуста»), Павла Сидельникова (журнал «Урал», 9, 2023) и многое другое.

Появились достойные внимания книги и публикации современных прозаиков. Критика тоже живёт и процветает благодаря таким молодым и талантливым подвижникам, как Алексей Чипига, Влада Баронец, Борис Кутенков, Анна Нуждина и т.д. И конечно, что же за русская критика без трудов и каждодневного подвижничества невероятной и трудолюбивой Ольги Балла? Она – в какой-то мере ориентир для всех авторов, стремящихся достичь достойного и видного места в современном литературном процессе.

Одним словом, наша литература жива – и процветает вопреки всему и всем. И пускай новый, 2024, год будет, по крайней мере, не менее плодотворным на новые имена и открытия. А мы уже стоим на пороге этих новых свершений.

Елена СЕВРЮГИНА. Первый русский поэт-импрессионист.

О творчестве Афанасия Фета.

Русскому поэту-лирику Афанасию Фету была уготована драматичная судьба. Практически любому школьнику известны основные вехи его биографии: участь незаконнорождённого и нескончаемая борьба за место под солнцем, притом, что возвращение дворянских привилегий и восстановление справедливости произошло только ближе к концу жизни. Известна также история его трагической любви к Марии Лазич – девушке, рано и страшно погибшей в результате несчастного случая. По одной из самых распространённых версий, возлюбленная поэта сгорела заживо из-за непотушенной спички, во сне случайно упавшей на подол её платья. Всю жизнь Фет винил себя в её смерти и свою неизбывную боль выразил в многочисленных стихах-посвящениях.

Но если бы дело ограничивалось только этим... Увы, широко почитаемый в наши дни автор при жизни подвергался многочисленным гонениям и даже травле. Современники, среди которых немало хорошо нам известных, мягко говоря, ставили его талант под сомнение и, если уж говорить совсем начистоту, просто ему в нём отказывали. По иронии судьбы, более всего досталось прославленному тексту Фета, уже давно ставшему визитной карточкой поэта:

Шепот, робкое дыханье.
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья.
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слезы,
И заря, заря!..

Лёгкий, воздушный текст буквально завораживает своей красотой. Но так бы его оценил современный читатель. А вот как отзывались об этих строках литературные «коллеги» Фета, его знаменитые собратья по перу.

«Шепот, робкое дыханье...» хорошо, но как же не стыдно тратить времени и чернил на такие вздоры?» – сокрушался Виссарион Белинский. «Поэт может быть искренним или в полном величии

разумного мирозерцания, или в полной ограниченности мыслей, знаний, чувств и стремлений. В первом случае он — Шекспир, Дант, Байрон, Гёте, Гейне. Во втором случае он — г. Фет» — беспощадно поддакивал ему другой знаменитый критик Дмитрий Писарев. «Стихотворения г. Фета своей отчаянной запутанностью и темнотою превосходят почти все когда-либо написанное на российском диалекте», — вторил им Александр Дружинин. Позорное клеймо на Фете поставил Некрасов, издевательски отметивший, якобы со знанием дела: «У нас, как известно, водятся поэты трех родов: такие, которые «сами не знают, что будут петь», по меткому выражению их родоначальника, г. Фета. Это, так сказать, птицы-певчие». А Николай Чернышевский и вовсе полагал, что стихи Фета «такого содержания, что их могла бы написать лошадь, если бы выучилась писать стихи».

Читая все эти, далеко не восторженные, отзывы, не стоит, однако, забывать о том, что все они принадлежат представителям так называемой реалистической школы — народникам и революционерам, глубоко убеждённым в том, что «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Для таких авторов, пусть даже самых именитых, поэты чистого искусства были как кость в горле или как красная тряпка для быка. Не правда ли, ситуация, в чём-то напоминающая нынешнюю?

Впрочем, и среди современников Фета находились такие, которые уже с близкого расстояния общей эпохи могли оценить новаторство поэта, его уникальный, ни на кого не похожий голос. Таким благосклонным и весьма дальновидным оценщиком неожиданно оказался Лев Толстой, давший следующую характеристику популярным фетовским строкам: «Это мастерское стихотворение; в нем нет ни одного глагола (сказуемого). Каждое выражение — картина; не совсем удачно разве только выражение «В дымных тучках пурпур розы». Но прочтите эти стихи любому мужику, он будет недоумевать, не только в чем их красота, но и в чем их смысл. Это — вещь для небольшого кружка лакомок в искусстве».

Вот так, одним махом, удалось воздать должное творцу и отомстить его обидчикам, приравняв их отзывы к оценке простолудина. Но особенно важным и ценным в толстовском высказывании представляется мысль о подвергаемой особой критике, но безусловно новаторской безглагольности, ставшей серьёзным и решительным шагом в сторону новой поэтики и нового художественного мирозерцания. Этого самого новаторства народники и приверженцы классической школы, с их любовью к наглядности и обилию эпитетов, оценить по достоинству естественно не могли.

Парадоксальность и уникальность поэтического метода Фета заключается в том, что плоскостная, лубочная картинка превращается

у него в трёхмерное изображение. Обилие назывных конструкций, заменивших собой традиционные сказуемые, рождает эффект кинематографизма. Это абсолютно нестандартный фокус зрения, при котором статика уступает место динамике. Мы не прочитываем, а «видим» стихотворение, представляющее собой калейдоскопическую смену образов-кадров. Текущий момент жизни удачно схвачен в объектив и развёрнут в маленькую лирическую историю прямо на глазах у читателя. Таким умением оживлять увиденное и придавать ему объём могли похвастаться только импрессионисты.

А если внимательно следить за внутренним сюжетом текста – откроется ещё много всего удивительного. Например, то, что многие стихи Фета представляют собой сплав человеческого и природного миров. Эти миры, вопреки тютчевской идее, не отделены друг от друга, а друг в друге продолжают и развиваются параллельно. О чём стихотворение Фета, которое многим казалось беспредметным и легковесным? Оно о естественных законах развития окружающего мира и любовного чувства. Подобно тому, как на смену вечеру приходит ночь, а затем утро, любовь, вначале неясная и робкая, смутная и тревожная, дорастает до вершины её внезапного осознания и впоследствии – до страсти и одержимости. То, как умел передать это в своём художественном слове Фет, в его эпоху не смог бы сделать никто. «*Шепот, робкое дыханье*» (ещё неясное, смутное начало любви) отождествляется с вечером – полутёмным временем суток: «серебро и колыханье сонного ручья». И далее смена ночных теней передаёт внутреннюю борьбу света и тени так же, как «ряд волшебных изменений милого лица» способен передать сложное рождение нового чувства. А в конце – катарсис: утренний «пурпур розы» возвещает о победе света над тьмой и об окончательном расцвете любви в душе человека: «И лобзания, и слезы, / И заря, заря!..».

Добавим ещё, что вся эта история сопровождается удивительным видеорядом и звукописью. Да, Фет не пишет – он живописует, наносит изображение яркими мазками, «вдыхая» в произведение жизнь. «Югэн», – как сказали бы японские философы, имея в виду под этим понятием сокровенную или скрытую красоту предмета, лежащую за пределами зримого мира. Её восприятие порождает высшее гармоническое равновесие с миром и интуитивное постижение сути вещей. Это удивительное свойство фетовской поэзии имел в виду и Толстой, когда говорил о том, что «каждое выражение Фета – картина». Разумеется, картина! «*Серебро и колыханье*» – цвет вечерних сумерек, сероватый и приглушённый, «ночные тени» – чернота ночи, а «пурпур розы» – румянец первой зари.

А вот что Толстому, пожалуй, не удалось оценить в должной степени, так это звучание фетовского стихотворения. Строка, которую

он посчитал неудачной («В дымных тучках пурпур розы») как раз содержит удачную аллитерацию согласного «р», дающую эффект единства звука и образа – звукообраз. Мы и видим, и «слышим» утренний цвет. А чего стоит строка «серебро и колыханье сонного ручья»? Если у аллитерации как у популярного художественного приёма и есть высшее предназначение, то его наглядно продемонстрировал именно Фет. И суть это предназначения – «оживлять» увиденное, придавать ему зримые очертания. Сонный ручей не просто протекает перед мысленным взором читателя – он действительно живёт, колышется, дарит нам свою прохладу и покой.

Если бы Фет жил в эпоху импрессионизма – он бы, скорее всего, был гораздо более популярен и гораздо более обласкан современниками. Но суть заключается в другом – он не был бы новатором, поскольку приёмы, которыми он так смело начал пользоваться в 19 веке, в веке 20 уже никого бы не удивили и воспринимались бы как неотъемлемая черта нового, «виртуального» мировидения. Только это (к слову сказать, весьма существенное) обстоятельство заставляет примириться с теми многочисленными нападками, которые пришлось претерпеть поэту при жизни. Новое и неизведанное, как известно, с трудом пробивает себе дорогу.

Справедливости ради отметим, что далеко не в одном своём стихотворении Фет продемонстрировал свой уникальный метод «ожившего изображения», в котором важны не линейное, буквальное восприятие и «считывание смысла», а рождаемая ассоциация,мыслеобраз, не воспроизводящий реальность в полном объёме, а только намекающий на нее. Вот один из ярчайших примеров такого метода:

Это утро, радость эта,
 Эта мощь и дня и света,
 Этот синий свод,
 Этот крик и вереницы,
 Эти стаи, эти птицы,
 Этот говор вод,
 Эти ивы и березы,
 Эти капли – эти слезы,
 Этот пух – не лист,
 Эти горы, эти доли,
 Эти мошки, эти пчелы,
 Этот зык и свист,
 Эти зори без затмения,
 Этот вздох ночной селенья,
 Эта ночь без сна,
 Эта мгла и жар постели,

Эта дробь и эти трели,
Это всё – весна.

Об истинном предмете изображения поэт с самого начала открыто не говорит – он только на него намекает, подбирая к понятию многочисленные определения. И значимо, что определения эти – отнюдь не прилагательные, а опять-таки назывные конструкции. Слово «весна» упомянуто только в самом конце – а если бы это произошло чуть раньше, вся прелесть и магия этого текста улетучились бы. С импрессионистской смелостью автор рисует образы-ассоциации, дающие в итоге не сам предмет, а его смутное угадывание, постепенное узнавание и распознавание по знакомым ощущениям и пережитым душевным состояниям. Мы даже не успеваем сразу зафиксировать тот момент, когда природные признаки весны сменяются человеческой симптоматикой. Но «*эта ночь без сна*», «*эта мгла и жар постели*» – уже не о календарном времени года. Это уже совсем о другом, переводящем пейзажную лирику в разряд лирики любовной. И в жанровом отношении грани тоже оказываются размытыми, нечёткими. И эта черта – тоже очевидная дань импрессионизму.

Помните знаменитую картину Огюста Ренура «Портрет актрисы Жанны Самари»? Образ прекрасной молодой женщины, такой радостный и светлый, кажется призрачным, почти воздушным, сотканным из миллиона мазков, локальных пятен и нестандартных световых решений. Именно это полотно представляется мне символом творчества Фета, его живописным аналогом.

Фет – Ренуар в сфере поэзии – раскрепостил её, сделал равной тем видам искусства, где слова не обязательны, но где сфера чувств и ощущений оказывается доминирующей. Господин Чернышевский полагал, что стихи, написанные Фетом, «*могла бы написать даже лошадь*»? Что ж... для лошади весьма изысканный комплимент. Но, возможно, при определённом рассмотрении это можно счесть комплиментом и для Фета – если рассматривать лошадь как объект природного мира: такой же свободный, стихийный и необузданный, как поэзия творца, сумевшего обогнать своих современников на целую эпоху.

Валерий СУХОВ. Мотив предсказания смерти в лирике Лермонтова

«Венец певца, венец терновый...».

В Лермонтовской энциклопедии отмечается, что «...в поэзии Лермонтова смерть предстает не как финал земного пути, естественный или «избранный» героем, а как провиденциальное ощущение гибели или близкой кончины... Сосредоточенность на судьбе неотделима у Лермонтова от постоянно мучивших его роковых предчувствий и прозрения будущего»¹. Характер лирического героя Лермонтова ярче всего раскрывается через мотив предсказания собственной смерти, тесным образом связанный с осознанием собственной исключительности. Программным в связи с этим можно считать его раннее стихотворение «1831-го июня 11 дня», в котором наиболее полно и ярко проявилась

Я предузнал мой жребий, мой конец,
И грусти ранняя на мне печать;
И как я мучусь, знает лишь творец,
Но равнодушный мир не должен знать.
И не забыт умру я. Смерть моя
Ужасна будет; чуждые края
Ей удивятся, а в родной стране
Все проклянут и память обо мне ².

Поразительным образом сбылось и другое предсказание поэта: «Кровавая меня могила ждет, / Могила без молитв и без креста» (I,174). Как известно, погибших на дуэли запрещалось отпевать в церкви, и Лермонтов был похоронен без отпевания. Принося свою жизнь в жертву творчеству, поэт ясно осознавал, что ранняя трагическая гибель станет своеобразным залогом его посмертной славы:

И я влачу мучительные дни
Без цели, оклеветан, одинок;
Но верю им! – неведомый пророк
Мне обещал бессмертье, и живой
Я смерти отдал все, что дар земной (I,168).

В связи с этим важно отметить, что «предчувствие смерти» у Лермонтова приобретает «общечеловеческое значение универсальной коллизии – Власть и Поэт»³. Именно поэтому он обращается к символическому образу казни на площади, на которой по велению властителя лишают жизни свободолюбивого творца. Предсказывая

свою близкую гибель в стихотворении «Не смейся над моей пророческой тоскою» (1837), поэт обращается к приёму антитезы: грудь возлюбленной – плаха на эшафоте: «Я знал: удар судьбы меня не обойдет; / Я знал, что голова, любимая тобою, / С твоей груди на плаху перейдет» (I,384). Свой трагический выбор Лермонтов осознанно сделал именно тогда, когда создал стихотворение «Смерть Поэта» (1837), в котором назвал истинных виновников гибели А.С. Пушкина: «Вы, жадно толпой стоящие у трона, / Свободы, Гения и Славы палачи!» (I,373). Изображая дуэль Пушкина с Дантесом, Лермонтов предсказал и причину своей смерти: «Погиб поэт! – невольник чести» (I, 372). Особую смысловую роль обретает в стихотворении многозначный по своей символике образ тернового венца: «И прежний сняв венок, – они венец терновый, / Увитый лаврами, надели на него» (I,373). Этот образ становится выражением трагического мировосприятия Лермонтова. Мы видим этот венец и на голове его лирического героя в стихотворении «Не смейся над моей пророческой тоской»: «Я говорил тебе: ни счастья, ни славы / Мне в мире не найти; настанет час кровавый, / И я паду, и хитрая вражда / С улыбкой очернит мой недоцветший гений; / И я погибну без следа / Моих надежд, моих мучений, / Но я без страха жду довременный конец./ Давно пора мне мир увидеть новый;/ Пускай толпа растопчет мой венец; / Венец певца, венец терновый» (I,384). Обостренно осознавая роковую неотвратимость своей смерти в молодом возрасте, Лермонтов уподобляет судьбу Поэта крестному пути Спасителя.

Мотива предсказания смерти в лирике Лермонтова претерпел определённую эволюцию в период его ссылки на Кавказ, где он принимает активное участие в боевых действиях. Об этом свидетельствует стихотворение «Я к Вам пишу случайно; право...» (1840), где автор воспринимает свою близкую гибель как фаталист – мусульманин: «Я жизнь постиг; / Судьбе, как турок иль татарин, / За все я ровно благодарен.../Быть может, небеса востока/ Меня с ученьем их пророка / Невольно сблизили» (I,452). Трагическое предчувствие смерти сменяется фаталистическим убеждением в том, что от своей судьбы не уйдёшь и её нужно мужественно и стойко принимать. В соответствии с новым осмыслением неотвратимости близкой гибели в стихотворении «Завещание» (1840) Лермонтов пишет о смерти уже по-другому. На смену условным и исполненным надрывного трагизма романтическим переживаниям юного поэта приходят спокойные раздумья уже зрелого и умудрённого жизненным опытом человека: «Наедине с тобою, брат,/ Хотел бы я побыть: / На свете мало, говорят, / Мне остается жить! » (I,458). Обращаясь к другу, умирающий на Кавказе офицер просит сообщить тем, кто его ещё помнит на родине, о его смерти: «...Скажи им, что навьлет в грудь / Я пулей ранен был; / Что умер честно за царя / Что плохи

наши лекаря / И что родному краю / Поклон я посылаю» (I, 458). Рассказывая о судьбе смертельно раненного воина, Лермонтов с поразительной глубиной и достоверностью выражает чувства простого человека, а не исключительного романтического героя. В этом стихотворении проявляется гуманизм поэта и его способность выйти за пределы собственной трагической судьбы, по-философски воспринять приближение неумолимой смерти как общей участи.

Именно на Кавказе Лермонтов создаёт гениальные произведения, в которых мотив предвидения смерти тесным образом связан с мотивом пророческого сновидения – предсказания. Так, например, стихотворение «Сон» (1841) развивает тему ранней смерти лирического героя, которая была намечена в юношеских опытах начинающего поэта. Но теперь на смену условно-романтическим образам приходит реалистически изображенный кавказский пейзаж. Хронотоп стихотворения чётко выверен автором, поэт предсказывает собственную смерть, видя её в своем воображении именно там, где шли самые ожесточённые сражения с горами:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснились кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мёртвым сном (I,477).

На дар предвидения, который ярко проявился в этом стихотворении Лермонтова, обратил внимание философ Владимир Соловьев, отмечая способность поэта «переступать в чувствах и созерцаниях через границы обычного порядка явлений и схватывать запредельную сторону жизни и неизменных отношений... Лермонтов не только предчувствовал свою роковую смерть, но и прямо видел ее заранее»⁴. Эта способность, дарованная гению свыше, раскрывается и в элегии «Выхожу один я на дорогу» (1841):

Выхожу один я на дорогу.
Сквозь туман кремнистый путь блестит.
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.
И звезда с звездою говорит (I, 488).

Уже в самом начале Лермонтов подчеркивает особый трагизм одиночества лирического героя романтического склада, которое противопоставляется звёздному небу. Символическим образом

Лермонтова присущ космизм, что нашло отражение в присущем только Всевышнему особом взгляде с неба на землю: «В небесах торжественно и чудно./ Спит земля в сиянье голубом» (I, 488). Таким образом, Лермонтов подчёркивает: Поэт – творец своей поэтической Вселенной – подобен Богу. При этом для лирического героя Лермонтова осознание близкой смерти связано с ощущением своеобразного духовного кризиса, о котором напоминают особые тягостные чувства и размышления. Его пророческая экзистенциальная «тоска» выражается в риторических вопросах: «Что же мне так больно и так трудно? / Жду ль чего? Жалею ли о чем?» (I, 488). Лирический герой разочарован прожитой жизнью, о которой совсем не жалеет: «Уж не жду от жизни ничего я, / И не жаль мне прошлого ничуть» (I, 488). Поэт в духе романтической традиции, с ее характерным двоемирием, построенном на резком контрасте реальности и мечты, заявляет: «Я ищу свободы и покоя! / Я б хотел забыться и заснуть! / Но не тем холодным сном могилы... / Я б желал навеки так заснуть, / Чтоб в груди дремали жизни силы, / Чтоб дыша вздымалась тихо грудь» (I, 488). Важно отметить то, что у Лермонтова жизнь ассоциируется прежде всего с дыханием, с духовными устремлениями творца. Лермонтов мечтает заснуть, но не «сном смерти», а «сном жизни». Состояние лирического героя сродни экстатическому прозрению поэта-пророка. Он чувствует себя частью Вселенной и способен услышать, как «звезда с звездой говорит». По убеждению Лермонтова, поэт может победить собственную смерть. И эта способность делает его равным Богу.

Лермонтов связывает свое духовное возрождение с чувством любви к женщине и с символом вечной жизни – деревом. Лермонтовский дуб – своеобразный символ бессмертия, воплотивший в себе мечту поэта о победе жизни над смертью. Поэтому лирический герой мечтает о том, чтобы ему «про любовь» «сладкий голос пел». При этом песня о любви должна сливаться с шумом дуба – мифологическим образом «древа жизни»: «Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, / Про любовь мне сладкий голос пел, / Надо мной чтоб вечно зеленея / Темный дуб склонялся и шумел» (I, 488). Можно предположить, что поэтическое мироощущение Лермонтова формировалось под влиянием традиций славянской мифологии. Именно поэтому он связывал мотив пути-дороги с образом древа жизни. «Дерево как метафора дороги, как путь, по которому можно достичь загробного мира, – общий мотив славянских поверий...»⁵

Так начало лермонтовской элегии «Выхожу один я на дорогу» логично завершалось по кольцевому принципу композиции символическим обращением к образу дерева. Лирический герой Лермонтова воспринимает жизнь в трагическом свете, что в немалой степени парадоксальным образом определяет его поразительное

жизнелюбие. Оно объясняется мощным напором страстной природы гениального поэта с его неистребимой жаждой жизни. Именно поэтому Лермонтова можно назвать поэтом, в творчестве которого нашла яркое отражение антиномия жизни и смерти. Осип Мандельштам в статье «Скрябин и христианство» писал: «...Смерть художника не следует выключать из цепи его творческих достижений, а рассматривать как последнее, заключительное звено ... Она служит как бы источником этого творчества, его телеологической причиной»⁶. На самом деле, ранняя смерть Лермонтова, предсказанная в лирике поэта, стала последним актом его жизнетворческой драмы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С.310-312.
2. М.Ю. Лермонтов. Собр. соч. в 4 т. Л., 1979. Т. I. С. 174. Здесь и далее в тексте приводятся ссылки на это издание. В круглых скобках указываются том и страница
3. См.: Вольперт Л. «Тайный цикл» «Андрей Шенье» в лирике Лермонтова // Гарханский вестник. Пенза., 2004. С. 105
4. Соловьев В. Из литературного наследия. М.,1990. С. 274.
5. Славянская мифология. М., 1995. С. 225.
6. Мандельштам О. Сочинения в 2 томах. Т. 2. Проза. М.,1990. С. 157.

Интервью с Игорем ШАЙТАНОВЫМ

*«Я берусь за перевод, только когда вижу
неисполненной задачу адекватного понимания жанра...»*

– Дорогой Игорь, Ваши научные труды, включая статьи и монографии, получили широкое признание не только в России, но и на международной арене. Для зарубежных коллег, например, стало открытием имя Александра Веселовского. Да и не только для зарубежных. Во вступительном слове к тому Веселовского «Избранное. Историческая поэтика» (2011), составителем которого Вы являетесь, Вы с горечью пишете: «На Западе его не воспринимают никак. Почти не знают, ибо время от времени его имя лишь мелькает в потоке работ, испещренных цитатами из формалистов, Бахтина, Проппа, Лотмана» (2011: 5). Вы сделали много для того, чтобы не только имя Веселовского как родоначальника последующих течений в литературоведении было озвучено в литературоведческих кругах. Вы раскрыли суть того, что сделал Веселовский, сопроводив оба тома комментариями (первый том – «На пути к исторической поэтике» – вышел в 2010 году в серии «Российские Пропилеи»), дополняющими и проясняющими во многом мысль Веселовского.

И вот Ваша новая книга «Шекспировский жанр. Опыт исторической поэтики» (М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2023). Новаторский подход задан уже в названии. Читая её, понимаешь, что без обращения к исторической поэтике это была бы совершенно другая книга. Подход меняет многое. Мой первый вопрос касается подхода. Как Вы определяете шекспировский жанр свете исторической поэтики? Как историческая поэтика помогла Вам сформулировать особенности шекспировского жанра?

– Шекспировский жанр? Прежде я говорил бы вообще — о жанре в исторической поэтике. Ее дело не предписывать правила, а изучать законы литературной динамики и форм, возникающих в ее процессе. В пространстве исторической поэтики вопрос: к какому жанру принадлежит произведение? — не вполне корректен, во всяком случае, недостаточен. Главное — не к какому жанру приписать данный текст, а какова его жанровая природа, какие жанровые тенденции (Тынянов сказал бы — установки) взаимодействуют внутри текста, вступая между собой в борьбу. Борьба жанров — идея важная и для Тынянова, и для Бахтина.

Когда-то в молодые годы Веселовский посчитал, что поэтика и риторика безнадежно устарели, а спустя 30 лет он согласился

принять это слово как часть названия той системы, которую он разработал. Передумал ли он насчет поэтики? Да. В том смысле, что он не изменил своего мнения относительно старой поэтики, но не счел, что с поэтикой в принципе пора расстаться. Он передумал, переосмыслил поэтику, довольно долгое время подбирая слова к тому, как назвать систему, в которой работал. Была ли прежняя поэтика, от которой он отрекался в юности, исторической? Нет, ей более всего подходит другое определение — нормативная, поскольку она была предписательной по своей сути, ее дело было выработать правила, по которым следует творить. Та поэтика, которую создавал Веселовской была... Он примеривал к ней разные эпитеты, например, *индуктивная*. Тынянов бы сказал о ней — динамическая... Ее дело не предписывать правила, а изучать законы литературной динамики и форм, возникающих в процессе.

– Кто несет ответственность за нормативность? Аристотелю ли бросил вызов Веселовский?

– Отчасти — да, но в первую очередь — комментаторам Аристотеля с 16 по 18 век, тем, кого мы сегодня называем классицистами. В 19 веке их чаще называли лже-классицистами, поскольку классиками были античные авторы. Так что Веселовский бросил вызов им.

– А что Шекспир?

– Он просто был в числе первых, кто начали творить иначе, не оборачиваясь на власть предписаний и старых жанров. Как определить новое качество? Рефлексия. Все более победительной становится она в процессе творчества, начиная (перечень С. Аверинцева) с Рабле, Сервантеса, Шекспира. Иными словами, меняющийся характер творчества и творческой личности потребовал новой поэтики, обеспечивающей понимание современной литературы, но проливающей свет и на прошлое, на классику, особенно с момента, когда в ней начинает иметь все большее значение рефлексия. Ее основание и заложил Веселовский.

– Книга необычна ещё и тем, что наряду с обсуждением сонетов в русских переводах, Вы предлагаете свой вариант переводов. Поговорим сначала о русских переводах, которые Вы обсуждаете в книге. Что не устраивало в них? Как это повлияло, с Вашей точки зрения, на концепцию того или иного сонета?

– Если можно в начале несколько слов не о переводе, а о сонете. И о романе. Чем поразил М. Бахтин в своей теории романа? До него все попытки определить жанр так или иначе носили тематический характер: приключенческий, воспитательный, готический, а потом — детективный, производственный и многое другое. Что сделал Бахтин?

Сначала оттолкнулся от эпоса, показав, что романый хронотоп (то есть изображение пространства и времени) принципиально отличается от эпического. Но главный, во всяком случае, заключительный принцип определения жанра в исторической поэтике (а я напомним: книга Бахтина о романе должна была иметь подзаголовок — «черки исторической поэтики») Бахтин в отношении романа сформулировал так: первая жанровая форма, в которой предмет изображения — говорящий человек. Жанр в исторической поэтике понимается как высказывание, как речевой жанр.

А вот теперь к сонету. У Веселовского во Введении к исторической поэтике есть ссылка на рубрику французских популярных журналов — *pourquoi*. С «почему» должно начинаться любое исследование — в поиске ответа на это «почему». Я бы сказал, что расслышать «почему» — залог исследовательского успеха. Вот, как мне кажется, расслышан этот вопрос в отношении ренессансного сонета... Обратите внимание — жанра, одновременного рождению современного романа (жанровую природу которого исследовал Бахтин) и, подобно роману, неизвестного античности и возникшего в силу этого за рамками поэтики.

Так вот — почему: чем объяснить, что строгая условная стихотворная форма в 14 строк на протяжении трех столетий оставалась основным лирическим жанром в Европе? Чем объясняется ее успех? Отвечая на этот вопрос, я опирался на уже имеющиеся наблюдения, что-то к ним добавляя, а главное — складывая их в формулу сонета как речевого жанра. Вот она: первая со времен античности форма лирического высказывания, не предполагающая музыкального (и танцевального) сопровождения, созданная с установкой на метафорическое слово. Метафоры — доминирующий троп эпохи Возрождения, как в Средние века доминировала аллегория (из их различия выводится многое). Что дает отделение текста от аккомпанемента? Остающийся один на один со своими мыслями и с листом бумаги поэт, а за ним читатель, включает рефлексию как новое свойство, сопутствующее творчеству.

Вот с пониманием этого определения жанра я и подошёл к чужим переводам и попытался проявить эти свойства в своих, переводя лишь то, где незамеченная рефлексия мстила полным искажением сонета.

– Теперь о том, что и как Вы сделали в переводе сонетов. Интересно всё – от концепции до художественной детали и её месте в выстраивании концепции. Прежде всего, чем обоснован выбор тех или иных сонетов?

Я не профессиональный переводчик. И никогда не хотел им быть, но несколько раз мне приходилось браться за перевод, например, в своей давней книге «Мыслящая муза. Открытие природы в поэзии

XVIII века». Оказалось, что несколько необходимых для разговора английских стихотворений отсутствовало в русском переводе. Я говорю: я берусь за перевод, только когда вижу неисполненной задачу адекватного понимания не отдельно взятого текста, а той условности, того жанра, в котором стихотворение написано.

Вот так было и с шекспировскими сонетами, когда моей задачей было восстановить пропущенный или искаженный пафос текста — иронию, рефлексию. Первый же из таких сонетов по порядку расположения их в сборнике — сонет 13. Он рефлексивен уже по начальному вопросу. Поэт как будто подыскивает причину, почему 20-летний повеса-аристократ отказывается жениться. И неожиданно находит разгадку: *“Is it for fear to wet a widow’s eye / That thou consumest thyself in single life?”* Дело, оказывается в том, что юноша предвидит, каким горем будем его смерть для его жены, заглядывая на десятилетия вперед. Можно ли в это поверить? Можно ли принять за чистую монету новый дидактический поворот, выбранный поэтом, которому поручено увещевать молодого человека, побуждая к браку? У аристократической молодежи такая дидактика ничего, кроме смеха вызвать не могла. И умный поэт, предпочитает, не отказываясь от заказа, присоединиться к смеху, подыграть реакции молодых людей, подвывая в резонанс еще не пролитым слезам предполагаемой вдовы. Не случайно один из комментаторов назвал сонет посвящением букве w и сопутствующему ей звуку. Ни один русский переводчик не попробовал подхватить звук оригинала и присоединиться к его иронии. Все переводили совершенно серьезно и мелодраматично. Я попробовал сделать иначе:

Чтобы не видеть слезы у вдовы,
 Путь одинокий избран был тобой?
 Уйдешь бездетным, целый мир, увы,
 Увы, уход твой сделает вдовой.
 Но мир – его покинешь ты едва, –
 Увы, утратив черт твоих печать,
 Не сможет в утешенье, как вдова,
 Отцовский облик в сыне различать.

А это важнейший момент в развитии сонетного сюжета — момент рождения рефлексии, игры, иронии. До этого поэт исполнял форму и заказ, перебирая клавиатуру традиционных метафор.

– Действительно, сколько тонкостей нужно знать переводчику, что понять и передать всю эту сложную игру смыслов! Остановитесь ли Вы на переводах сонетов или продолжите переводческий опыт? Спрашиваю, потому что с большим интересом

и даже с восхищением читала Ваши интерпретации шекспировских пьес.

Мне интересно обнаружить и показать непереведенную рефлексию в пьесах. Вообще я вижу свою задачу — объяснить. Сначала объяснить инструментарий, который я пользуюсь из исторической поэтики. Потом продемонстрировать его применение. Понимание дается трудно, это я вижу. Огорчаюсь не за себя, а за историческую поэтику. Поразительная вещь, но несмотря на жонглирование терминами и Веселовский, и Бахтин, и Тынянов остаются непонятыми, во всяком случае, не продолженными. А они требуют продолжения и применения. Недавно (в журнале «Иностранная литература») появилась обширная рецензия на изданные мной шекспировские сонеты с аппаратом, также вошедшим в «Шекспировский жанр». Но моя книга написана совсем о другом, а не о том, что пытается увидеть в ней рецензент. Мне даже пришлось (что делать можно разве что в исключительных случаях) ответить — в №5 «Вопросов литературы» будет моя реплика: «Не о том, совсем о другом».

Я решил ответить — не споря, а объясняя, так как это непонимание относится ко мне неиндивидуально, а в общем плане непонимания исторической поэтики. О ней как будто бы говорят, даже присягают, но о чем она?

– Почему Ричард II? Что в этой пьесе привлекает Вас как переводчика? Можно подробнее об этом?

– Да, сейчас по заказу серии «Литературные памятники» я перевожу эту хронику. И тоже мог бы сказать, что взялся исключительно потому, что она очень однобоко переведена на русский. Упущен целый пласт ее смысловой стилистики, который я бы отнес к «метафизической поэзии». «Ричард II» — это пьеса 1595 года, своего рода *annus mirabilis* шекспировского творчества. Годом ранее открылись лондонские театры после двух лет чумы, в которые Шекспир стал лирическим поэтом и перенес свой опыт в драматический текст, создавая новые пьесы. Первые у него мировые шедевры, хотя и созданные не для мировой сцены, а для труппы лорда-камергера, в которой и до конца жизни Шекспир будет записным драматургом, обеспечивающим репертуар. 1595 — три шедевра с новым ощущением драматического языка, его поэтического звучания во всех трех основных жанрах: трагедия «Ромео и Джульетта», комедия «Сон в летнюю ночь», хроника «Ричард II».

Начав переводить эту пьесу, я пошел не по порядку сцен, а попробовал несколько разных в ней стилистик: тронная риторика, бытовая речь и метафизика в ощущениях королевы, что-то предчувствующей, что-то пытающейся выразить и, действительно, предвещающей трагическое падение своего мужа. Десять лет назад в своей биографии Шекспира я назвал главу о «Ричарде II» «Если

Джон Донн ходил в театр». А известно, что именно в эти годы он был театралом, так что мог получить первые уроки «метафизического» стиля в шекспировской хронике.

– Изменится ли постановка Ричард II в результате Вашей интерпретации? Если да, то как именно?

Мне очень хотелось бы думать, что перевод сможет изменить отношение к этой хронике, которую очень редко ставили на русской сцене. А поставить ее можно, но только играя словом, точнее, поняв и воспроизведя шекспировскую многостильность.

Сегодня переведены первые три акта. Могу предоставить перевод метафизической стилистики.

– Да, конечно! Но прежде хотелось бы уточнить, что подразумевается под метафизической стилистикой.

– Вопрос метафизической стилистики был поднят в моей статье «Уравнение с двумя неизвестными». Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский» (1989 год). Я пишу там о смысловом сдвиге в слове, которым стала метафора кончетти (кончетто), направленная на установление сходства не в естественном подобии, а в странном, необычном. Ричард II в пьесе Шекспира отмечен новой рефлексивностью, для выражения которой потребовалась новая, «метафизическая», стилистика. Она обычно связывается с именем Джона Донна, но первые опыты с ней принадлежат Шекспиру. В «Ричарде II» герой двойствен. Это макиавеллист, которому уже ведомо раскаяние. Отсюда поиск нового самовыражения и зарождение гамлетовской рефлексии. «Метафизический» стиль присущ не только главному герою. Вот, к примеру, диалог Буши (приближённого Ричарда) и королевы, которая мучается дурными предчувствиями в связи с отъездом короля в Ирландию (акт II, сцена 2). Диалог пронизан сомнениями, переданными в повторах слов и звуков, словно подхватывающих мысль и продолжающих её, создавая эффект размышления в процессе говорения. Динамика «метафизического» стиля беседы обусловлена ещё и тем, что у Шекспира этот стиль рождается в диалоге – из внутренних предчувствий королевы и попытки Буши развеять смятение Королевы.

Королева
 Возможно, но в душевной глубине
 Есть чувство — все не так; так или этак,
 Меня гнетет печаль, печаль тяжка,
 Как если мысль я мыслю ни о чем,
 Она ж пугает, словно страшным сном.
 Буши
 Ничто — лишь порожденье вымысла,

Миледи.
Королева.
И тогда, сам вымысел
Рожден бы был печалью, но во мне
Ничто рождает нечто — что? Печаль?
Меня ничто из нечто так печалит?
Все полностью во мне перевернулось,
А что есть что — неведомо, так что
Осталось безымянное ничто.

Это один из примеров прочтения «метафизической» стилистики в пьесе, не вскрытой в существующих переводах.

– Большое спасибо за стимулирующие мысль ответы! Удачи с окончанием перевода «Ричарда II»!

Интервью вела Вера Зубарева

Евгений ГОЛУБЕНКО Омовение словом

СТАРЫЙ ДОМ НА КРАЮ ЖИЗНИ

Уйти бы с головой
Туда, где неуют,
Туда, где непокой,
Но где не предают.
В свои тартарары,
В свой тараканий лаз,
Где всё огнём гори,
Но где никто не сдаст.
Где царь себе и бог,
Где в йоте до бомжа,
Где подбираешь слог,
Чтоб точен и не ржав.
Уйти бы с головой
На век, на год, на час
В свой стих, и только свой,
Который не предаст.

* * *

Кому угодно лги, но не себе,
О том, что всё прошло и всё забыто...
Не стоит на потеху гольтьбе
Из горла черпать горечи избыток.
Кому угодно лги, светись враньём,
Упрятав стон в искусанные губы.
Пусть дохнет с голодухи вороньё
Над повидавшим виды однолюбом.
Кому угодно лги, что всё о`кей,
Улыбчивые примеряя лица.
Смири своё отчаянье, заклейте
Все поры и не дайте ему излиться.
Кому угодно лги, но не нутру,
В котором всё любовью прежней дышит.
Кому угодно лги, но не перу
И не бумаге, что дыханье слышат.

* * *

Живой водой январь омой
Меня от ног до плеч.
Январь омой живой водой
Моё вхожденье в речь.

Я до грудного молока
В утробном тайнике
Молитвенно в слова вникал
На мамьем языке.
Ещё до вифлеемских звёзд,
До первого агу
Я знал о белизне берёз
И Родине в снегу.
Я знал, что не подъёмен крест
Глагольного труда.
Но к слову, будто к свету лез,
Подставясь под удар.
А били знатно, наповал,
Чтоб ног не унести.
Но поднимался, но вставал,
Но лез кроваво в стих.
И если, вправду, ты еси,
То честь мою и речь
Спаси январь, водой спаси,
Омой от ног до плеч...

* * *

Пишу из Одессы,
что голову спрятала в снег.
Здесь молятся птицы
над щедро накрошенным хлебом,
здесь детские лица,
как в Бога, уставились в небо,
во рту собирая
до времени спрятанный смех.
Пишу из Одессы
на бело-пушистых листах,
что, как на дрожжах,
набухают повсюду по пояс.
Я – первопроходец,
нашедший у радости полюс,
и я – летописец
со снежной каймой в волосах.
Пишу из Одессы,
где сказки со светлым концом,
где каждому гостю,
как ближнему сроднику, рады.
Поверьте поэту,
нет в мире достойней награды,

когда у читателя счастьем лучится лицо.
Пишу из Одессы...

* * *

Со мной природа заодно:
День погрузивши в омут,
Заката красное вино
Ночным бодряжит ромом.
Ты обещала быть к восьми,
Когда совсем стемнеет,
Когда прибившийся москит
Заноеет посмелее,
Когда не различить ни зги
За сумеречным стадом,
Когда и сердце, и мозги
Тоской взяты в осаду.
Когда уж нету мочи длить
Разлуки свистопляску...
Приблизь, озвучь свои шаги
И расплескайся лаской.

* * *

Ты – лучшая, кто б что ни говорил.
Ты самая. Ты рядом, а не где-то.
Не найдено, не создано мерил,
Которые оспорили бы это.
Я знал иных, но это всё не то,
Не тот костёр, не тот накал и вышкол.
С тобою сердце, будто решето,
Где каждое отверстие от вспышки.
Пускай сторю за день, пускай за два,
Но этот миг весомее, чем вечность.
Ничей язык не вправе отругать
Меня за безрассудство и беспечность.

* * *

Я не скажу, что отлюбил.
Нет, между нами всё сложнее.
Былой порыв, накал и пыл
Стал затаённой и нежнее.
Я не скажу, что всё прошло.
Нет, всё вошло в иную фазу,
Когда касаний волшебство
Не поддаётся пересказу.

Я не скажу, что всё постиг.
Нет, просто вызубрил науку,
В которой ценят каждый миг
Перед грядущею разлукой.
Я не скажу, что не люблю.
Любил, люблю и дальше буду.
Нырять в эту глубину,
До дна достать не смог покуда.

* * *

А. Ахматовой

В кучу сбилось в небе вороньё,
Чтобы сердце выклевать моё,
Чтобы чёрный каркающий крик
Втиснуть в поэтический язык..
Но в моей стране, как и во мне,
Жемчуг формируется на дне,
В глубине, в изнанке, не спеша,
Где хозяйкой Золушка-душа.
И хотя несметна вражья рать,
Чёрной своре век не вековать.
Светлые настанут времена,
Поименно вспомнит всех страна...
Вспомнит тех, кто в двери стука ждал,
Но себя не про-, не пре-давал...

САМОЕ ПРОСТОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Пока хватало в радужках чернил,
Настоянных на скорлупе ореха,
Я взглядом, будто кистью, выводил
Твой каждый штрих, от грустных нот до смеха.
Наверно так, как я сейчас тебя,
Цветасто наряжают ёлку дети.
И дивных птиц из гадких лебедят
Выращивают солнце, дождь и ветер.
Любимая, сильнее ко мне прижмись
И прояви фантазию и рвеньё,
Чтоб я в тебя вдохнул с бессмертьем жизнь
На первый взгляд простым стихотвореньем

Ирина ДУБРОВСКАЯ Старые фотографии

СТАРЫЕ ФОТОГРАФИИ

Снова сердце встрепенулось:
На меня в упор глядят
Детство, отрочество, юность, –
Словно выразить хотят
И свою невозвратимость,
И не юный возраст мой...
Юность милая, стой!
Пылкость, гордость, нелюдимость
Вижу я в твоих глазах,
А в своих – уже иное.
Вот и хочется порою
Обернуться вдруг назад
И взглянуть со стороны
На смешную ту девчонку,
В чьей груди разгорячённой
Столько страсти и весны.

* * *

Годы клонят к равновесью,
В сердце ропот поутих.
Слава Богу, глупой спесью
Не страдают дух и стих.
Слава Богу, я приемлю,
Не артачась, как юнец,
Эту жизнь и эту землю,
И путей земных конец.
В бесконечность, слава Богу, –
Только тем и хороша –
Пролегла моя дорога,
Проросла моя душа.
Слава Богу, вольно дышит
И о чём-то там поёт:
Как умеет, как услышит,
Всякий раз, как Бог даёт.

* * *

Вся лирика кончилась нынче,
Мотив соловьиный затих.
Сегодня Гомер и да Винчи
Мне ближе словес кружевных.

Так в жизни бывает порою:
Где скопятся гнилость и слизь,
Там встанут из праха герои
Во всю свою грозную высь.
Где мир расшатавшийся треснет,
Устав от людской кутерьмы,
Там солнечный гений воскреснет,
Чтоб в пропасть не рухнули мы.
Где алчность сердца искалечит,
Там явится агнец святой
И взвалит на хрупкие плечи
Всю тяжесть гордыни земной.
В вертеп наш, привыкший к отраве,
Придут, продираясь сквозь дым,
Напомнить о чести и славе
Заблудшим потомкам своим.

ШУБЕРТ

Смерти не будет – будет музыка...
В. Орлов
Нет, эти звуки не извне!
Взметнув крыла, душа взлетела.
Сегодня музыка во мне
Звучит, и нету ей предела.
Пою, как в юности, навзрыд,
Мой шаг опять неосторожен.
О, романтический порыв,
Он снова сердце растревожил.
Поверх дымящихся руин,
Что прежде замками сияли,
Германец шествует один,
Один – среди множества печали.
Иссяк нетленности запас,
И дикари за куш грызутся.
Но эти звуки! И сейчас
Они с небес, как манна, льются.
И каждый звук – как жизни счёт,
И каждый такт – как камень пробный:
Коль слышать музыку способны,
Мы живы, стало быть, ещё.

* * *

Устало глядит Божество,
И небо темнеет от хмари.
То сильные мира сего
Беснуются в чёрном угаре.
Всё яростней воду мутят
И спорят о том, кто сильнее.
А миру меж тем всё большее,
Он новой войною объят.
Он ищет добра торжество,
Как просит ночлега бездомный.
Но сильные дома сего
Заносчивы и вероломны.
Друг друга пинают в бока
И мелочно делят господство.
И множатся этим уродства,
И движутся этим века.
И пульс ускоряет земной
Единство меча и порфиры.
Сменяются сильные мира,
А мир неразлучен с войной.
И если причины ясны,
Мороз продирает по коже:
Ведь сильные мира больны,
И мир им не нужен, похоже.

О ЛЮБВИ

Громада необъятная,
Материя воздушная.
Увенчанная, статная,
Горячечная, душная.
Блаженная, парящая,
Мучительная, горькая...
Но только б настоящая!
Живая, не прогорклая,
В жару не забродившая,
Во льду не изошедшая.
Пусть разум заслонившая,
Пусть вовсе сумасшедшая.
Средь бела дня напавшая,
Недугом поразившая
И жизнь твою забравшая,
И к жизни воскресившая.

Ах, только б настоящая!
Над злом, над схваткой дикою
Торжественно звучащая
Симфонией великою.

СЕЗОН ДОЖДЕЙ

А. Ч.

Сезон дождей, опять сезон дождей!
А мы ещё теплом не насладились,
Из праха старых ран не возродились.
Ещё мы не похожи на людей,
Умеющих легко и просто жить,
При ясной и при пасмурной погоде,
Как дети – звонко радуясь свободе,
Возможности мечтать, играть, дружить,
Любить... А ведь любили до поры,
Хоть обольщались прелестью минутной.
Мы и теперь не вышли из игры,
И только в сердце холодно и смутно.
Любви иной давно уж сердце ждёт –
Она чиста как дождь, свежа как ветер.
Лишь к ней одной, единственной на свете,
Усталый путник плачет, но идёт.

МОЛИТВА

Твой слух потревожу,
Явлюсь с откровеньем:
Прими меня, Боже,
С моим прегрешеньем!
С моим искупленьем,
Текущим и вечным.
С моим приношеньем,
Простым, человечим.
Вот жаркие слёзы,
Ошибки, метанья;
Беспечные грёзы,
Сердечные тайны.
Глухие раскаты
И звонкие строки –
Как малая капля
В безбрежном потоке...
Вот голос негромкий,

Прими, не побрезгуй.
Он твёрдый и ломкий,
Он грустный и резвый.
В нём срывы и взлёты
Сплелись воедино.
Прозрачные ноты
И мрачные льдины
Живут по соседству,
А борются насмерть.
И молится сердце,
Пронзённое насквозь.
И рвётся из кожи
С одним восклицаньем:
Прими меня, Боже,
С моим покаяньем!
Прошу я не много –
Лишь свет и прощенье.
Прими меня строго,
Но дай утешенье.

Владислав КИТИК. Маяки светят всем

* * *

Пусть моё останется со мной,
Пусть чужое отойдёт чужому,
И сливаясь в небе с тишиной,
Проплывают мысли невесомо.
Мир, как был, и нежен, и суров.
Словом заговаривают раны,
Слёзы останавливают кровь,
Будит смех царевну-несмеяну.
Опыт тем даётся, кто творит,
Продолжаясь как повествованье,
Кто глазами только говорит
И молчит в минуты узнаванья.
Вот и я всё больше о своём,
Чуждый взгляд всё меньше привлекает.
Расстоянья правят кораблём,
Книги учат тех, кто в них вникает.
С книгой можно время повторить,
Пусть об этом ты и не просила.
Но цветы, что некому дарить,
От того не менее красивы.

МАЯК

Интеллигентно камень обрामив
Подобием профессорской бородки,
Трава морская чтит рябой прилив,
И пресс-папье качающейся лодки,
Привязанной всем сердцем к маяку.
Стоит он белой шахматной фигуркой,
Сгорая каждый раз, как на духу,
Когда с ним ночь и мгла играют в жмурки.
До подбородка он укроет порт,
Как медсестра прибывшей неотложки,
И со стекла стерев прозрачный пот,
Огнём продолжит лунную дорожку.
И будет жечь свечу одну для всех,
Кому помог он, даже не заметив.
Да и не нужно! Он один из тех,
Кто светит всем. Поэтому и светел.

* * *

Вихры противотанковых ежей,
На небе дымный росчерк виражей,
Сгоревшей будки черная колода,
В цветах — простые радости земли,
Кремнистый путь, и пыль, и костыли,
Оставленные нищим возле входа
Ушедшего в себя монастыря.
Три тополя, как три богатыря,
Чета скворцов справляет новоселье.
Гнездо их, что, как пальцы, сплетено
Так совершенно и завершено,
Что здесь мое бессильно рукоделье.
Вот богомолка темный хлеб жуёт.
Я тот, кто нужен здесь, или не тот,
Кому глаза откроются для чуда,
Для чтения бесплотных орфограмм?
Но если без мольбы входить во храм,
С чем шел к нему, с тем и уйдешь отсюда.
Поверим притчу зрелостью души.
Поодаль продаются беляши,
Шумит базар таверной «Лилас-Пастья»,
И с каждым разом ощущать нужней,
Что в этом мире нечто есть важней,
Чем просто человеческое счастье.

* * *

Что истина: бессмертье? Пробужденье?
Минуты тайны в ней — веленье чьё?
Но есть предощущение её,
Похожее на вспышку озаренья.
И, как на сцену, задержав волненье,
Идешь. Но жизнь опять берет своё,
Опять к тебе привыкшее жильё
Нашепчет обещание уюта.
Как женщина, теряется минута,
А ты дышать не можешь без неё.

* * *

Я говорю, из жизни исходя:
Что может быть прекрасней, чем отрада
Прозрачного весеннего дождя,
Чем дух земли и слёзы винограда?
Так небеса романтике тесны,

Так только ночь любит свечами,
Так только свечи в тайну влюблены,
В своём огне сгоравшие ночами.
Так любит день мазил и маляров,
Когда за кистью медленно и рыже,
Как за рожком в полях, стада коров
Ползут по небу огненные крыши.
Так любит время то, что далеко,
Так любит море соль и поволоку,
Туман – парную грусть и молоко,
И нагота – туманов подоплеку.
Так много хочет молодость сказать,
Но слов найти не может и немеет
В стремлении про эту благодать
Поведать больше, чем сама умеет.

НА БЕРЕГУ

Здесь всё закономерно, как случайно:
Пляж, где рассыпан времени песок,
Лобастый пирс. Под песенку из чайной
Танцуют волны с пятки на носок,
Одну на всех в кольце из крупных бусин
Влюблённым дарит музыку весна!
Не ею ли и ты возвышен будешь,
Услышав, как возвышенна она?
Ей близок сказ, каким могли рапсоды
Воздать за чашку с козьим молоком,
Тот крик, каким пронзают пароходы,
Ночь, чтоб не пела больше ни о ком,
Восторг, с которым галькою залива
Настолько очарована земля,
Что округлить до ноты может сливу
И превратить в сиреневое «ля».

* * *

Кафе. Прибой. Ржавеет вертикаль
Флагштока. Без особенной причины
Так долог взгляд в рассеянную даль,
Что в чашке остывает капучино.
Ударит в ноздри облакам дымок,
И свесив кранцы, словно для откренки,
Пыхтит вдоль горизонта катерок.
Запечатлеть, – как сотворить нетленку,

Соизмеряя с вечностью залив,
 Не отягчённый сменой инкарнаций.
 И думать больше незачем, решив,
 В чём хочешь морю, как себе, признаться.
 Мы только вместе сможем расплести
 Морским узлом затянутые петли.
 Не сможет чайка воспроизвести
 Твой птичий крик, воспрянувший из пепла,
 Твое доверье притчам мудрецов:
 Дурак обманет, знающий – не скажет.
 Не донце чашки, так, в конце концов,
 Мой интерес, как дальше карта ляжет,
 Ответ, что писан рябью по воде,
 Занудный катер, – всё в ряду уклада,
 Что счастье есть, но ищешь чёрт те где.
 И без толку. И вдруг находишь рядом.

ПИСЬМО ДРУГУ

– *Как там море?*
 (из письма)

Белых гребней матросский танец,
 И ракушки жемчужное тельце,
 Как колечко, прибою глянется.
 Так и стелется он, так и стелется.
 Так и льнет к деревянному мостику
 Топчана с продольными брусьями,
 К смуглым ножкам его, так и мостится,
 Так и мечет свои брызги-бусины.
 Так и тянется, так и ластится
 И щекочет подмышки берега.
 А на стапеле лодку-ласточку
 Манит облако цвета вереска.
 Помню море прямым и косвенным,
 Тихим, словно цветы горшечные.
 Но сегодня чайки раскосые
 Бреют волны, как сумасшедшие.
 За печаль закадычной улицы
 Море солнечной солью расплатится.
 Что ему, корабли и устрицы,
 И медузы в прозрачных платящих?!
 Нескончаемое, как история,
 Утомляющее разнообразием.

Сколько раз видел это море я,
Но такого — в жизни ни разу.

* * *

Как монолог размножить в разговор,
Чужую правду отрезвить в стакане,
Впустить зарю в ослепший коридор,
Отбрив углы и щели тараканьи?
Зато впитав, как мякоть синевы,
Все междометья, паузы и слоги,
Зеленая фонетика листвы,
Всегда близка вне всяких аналогий.
Я променял бы грохот дискотек,
Гул митингов, потуги волхованья,
Скупых свобод застенчивый хештег
На тишину взаимопониманья.
Немногословность рук, движенье глаз,
Перетеканье мыслей чистоплотных,
Как камертон приходят в резонанс.
И ты — ловец мгновений перелётных.
Я сам с собой об этом говорил,
Еще когда молчать не научился
И в бормотанье млечном повторил
Смех всех детей рассыпчатый и чистый.

Тамара КОЛЕНКО. «Старший боцман Адамыч»

Есть люди, про которых говорят: человек-легенда. Жизнь такого человека отмечена яркими событиями, особыми чертами, чем-то почти необыкновенным, что другим людям, увы, не дано. Проходят годы и десятилетия, но память о таком человеке живёт, о нём рассказывают, вспоминают, пишут. Его образ со временем окружается ореолом загадочности, особого таинства, даже если доподлинно известно, что личность эта была вполне жизненной, земной и полностью соответствовала реалиям своего времени.

Именно таким человеком, на мой взгляд, был Адамыч. Так называли его почти все, кто был с ним знаком. Звали этого человека – Осип (Иосиф) Адамович Хмелевский. В разных источниках приводятся два варианта имени. Он был боцманом, позже – старшим боцманом. Но это было особое явление: человек-легенда Адамыч служил на легендарном паруснике «Товарищ».

Судно с удивительной историей, которое из самого крупного торгового парусника с именем на борту «Lauriston» превратилось в учебное, ставшее морской академией для многих тысяч будущих штурманов дальнего и малого плавания, прошедшее за годы своей истории через испытания и познавшее многие победы, было знаменитым не только в СССР, но и во всём морском мире. Происходили изменения в руководящем и рядовом составе команды «Товарища»: кто-то переходил на работу на другие суда, приходили новые люди, менялись капитаны (Д.А.Лухманов, Э.И.Фрейман, П.С.Алексеев), члены команды, проходили практику и становились моряками юные и зрелые курсанты, но Адамыч был всегда, до самого последнего периода в истории парусника. Образ старшего боцмана РУПС (рабочее учебное парусное судно) сохранился в сердцах и памяти сотен моряков, в истории Черноморского морского пароходства.

В воспоминаниях современников имя Адамыча неоднократно упоминалось, но на «Товарище» никто не знал, сколько лет этому уже немолодому человеку. На этот вопрос боцман никогда никому не отвечал. Исследования, связанные с историей парусника, позволили выяснить только то, что О.А.Хмелевский родился в 1870 году. В Одессе он жил на улице Базарной.

О боцмане в разные годы оставили воспоминания В. Викторов, К. З. Беленкович, А. А. Крон, М. И. Григор и другие авторы. Не забывали его и одесские газеты.

В очерке «Море — учитель» В. Викторов писал о том, что будущий боцман в десятилетнем возрасте ушёл в море на баркасе «Конкордия», а на родину вернулся в шестнадцать лет. Плавал матросом на судах судовладельца Пухерта, многое пережил за

пятьдесят лет работы в море. В юности Осип Адамович побывал в страшных штормах Атлантики, Ледовитого океана, Бискайев, тонул, но навсегда оставался верным морю.

На «Лауристон» (будущий «Товарищ») О. А. Хмелевский пришёл работать в 1919 (или в 1920) году, когда парусник был ещё торговым судном. Дважды пытался сдать экзамен на штурмана, и, хотя имел глубочайшие познания в морской профессии, был отличным мореходом, но испытание не прошёл, его «завалили» на мелком вопросе. По воспоминаниям современников Адамыча в его любимой песне были такие слова:

Любо смотреть на красу такелажную,
Вышел фрегат хоть куда.
Смело вперед, мореходы отважные,
Ваша отрада – волна.
С песнями в плаванье
В море мы вышли,
В рифы возьмем паруса.
Со шквалом сердитым, играючи, справимся,
С ветром свершим чудеса...

Все, кто когда-то писали о боцмане, подчёркивали его внешнюю суровость и добрейшую душу, потрясающее трудолюбие и необычайную работоспособность. Кроме своих основных обязанностей на паруснике О. А. Хмелевский выполнял то, что сегодня бы назвали работой практикующего психолога. Курсанты на плавательную практику приходили самые разные: трудолюбивые и не очень, смелые и наоборот, уверенные в себе и из робкого десятка. С годами менялись учебные планы и программы, возрастали требования, увеличивались или сокращались сроки парусной практики. Некоторые курсанты за годы учёбы проходили практику длительный период и по несколько раз, кто-то один раз только после первого курса. У всех были разные уровни теоретических знаний, разные характеры: у кого-то отчаянная смелость, а у других – боязнь морской стихии. И этот преданный морю человек воспитывал, учил и передавал вчерашним мальчишкам и девчонкам свою любовь к морю и морской профессии. Вспоминали, что боцман никогда не повышал голос; ни одного грубого слова от него никогда никто не слышал, даже самые нерадивые практиканты.

Он появлялся на палубе «Товарища» рано-рано утром и трудился до позднего вечера. Когда он отдыхал, было загадкой. И учил, учил, учил. Под руководством и присмотром Адамыча практиканты приобретали необходимые для моряков теоретические знания и практические навыки, закаляли силу духа, формировали умение

сопротивляться трудностям профессии штурмана.

Наиболее тепло, как о близком человеке, о боцмане в очерке «Адамыч» написал К. З. Беленкович – моряк, капитан дальнего плавания, писатель и журналист. В 1939 году он поступил в Одесский морской техникум, проходил практику на «Товарище» после первого курса, сохранил личные впечатления и тёплые воспоминания о старом боцмане:

Он появлялся на палубе с восходом солнца и до позднего вечера его крепкую коренастую фигуру в сапогах с широкими раструбками можно было видеть то у бесчисленных снастей, то у шлюпок, то у якорного устройства – святая святых боцмана. Эти сапоги не снимались ни зимой, ни летом.

Он всегда что-нибудь делал. Ободрял шуткой уставшего моряка, «приводил в меридиан» нерадивого. Никогда не повышал голоса, никогда грубое, бранное слово не слетало с его уст. Но «чали-моряк куриная голова» или «чали-бамбук» звучали для матросов хуже любого громового «раздолба»...

Будущие мореходы уверенно разбегались по реям, ставили и убирали паруса и начинали понимать, что в море – меньше романтики, больше – труда...

Старый Адамыч неизменно поддерживал в каждом настроении приподнятости, чувство гордости избранной специальностью. Он один умел это делать тонко, тактично. Он любил мальчишек, для которых здесь всё было впервые: и морской узел, сделанный самостоятельно, и первая вахта, и качка...

В погожие вечера, вдали от родных берегов, когда барк, идя под всеми парусами, накренившись, проглатывал мили, на палубе появлялась гитара, и над морем звенела, неслась песня... Адамыч любил слушать эти песни. Они настраивали его на лирический лад, и боцман начинал вспоминать о былых плаваниях «Товарища», об удивительных людях...

Поздними вечерами моряки видели, как медленно плетется в свою каюту Адамыч. Тогда все с удивлением отмечали, как он стар. Но как бы поздно он ни лег, утром неизменно слышался его бодрый, чуть надтреснутый голос:

– Молодец, чали-моряк! – хвалил он парня, быстро и весело работавшего на утренней приборке...

Все в мире имеет свой конец. Не стало и Адамыча. Давно ушли в небытие красавцы-парусники...

В Одесском порту часто бросает якорь парусное судно, на носу которого золотыми буквами выведено – «Товарищ». То новый «Товарищ». Некоторые старые моряки говорят, что он хуже прежнего. Их можно понять. Они вспоминают тот, старый,

стройный барк, свою молодость, своего боцмана, доброго Адамыча, который глубоко в сердце у всех, кто знал его, кто прошел его школу.

В 1930-е годы на паруснике трудились три боцмана, но только имя старшего боцмана Адамыча сохранилось в памяти многих поколений моряков.

В апреле 1941 года газета «Большевистское знамя» в заметке «На «Товарище» писала:

«В воспитании будущих штурманов деятельное участие принял один из старейших боцманов Черноморского пароходства Осип Адамович Хмелевский. Знатный моряк, награжденный недавно значком «Почетному работнику морского флота», уже двадцать лет работает на «Товарище», передает любознательной молодежи свой богатый практический опыт и знание морского дела.»

Писатель А.А.Крон в книге «Капитан дальнего плавания: Повесть о друге» на основании воспоминаний выпускника Одесского морского техникума – героя-подводника А. И. Маринеско, чьё имя носит Одесское мореходное училище, написал о боцмане О. А. Хмелевском:

...на палубе царил боцман Адамыч... Фамилия Адамыча была Хмелевский. Об этой колоритнейшей фигуре нашего гражданского флота хранят благодарную память несколько поколений моряков, прошедших морскую выучку у этого грозного на вид, но добрейшего человека, и недаром на его могилу в городе Батуми до сих пор приносят живые цветы. Многие по сию пору помнят его повадки и характерные словечки. Курсантами, которыми он был доволен, он звал орёликами. «А ну, орёлики, взяли!», Капитан М.И. Григор, проходивший практику на паруснике «Товарищ», будучи курсантом Одесского морского техникума, в книге « «Товарищ» идет в Балтимор», писал:

«... осенью 1942 года, в тяжёлую годину войны, я встретил в Батуми старого боцмана «Товарища» Иосифа Адамыча Хмелевского. Старик по возрасту, едва спасшийся при вступлении фашистских войск в Жданов, он выглядел молодцевато. На нём был двухбортный, из синего сукна бушлат с блестящими пуговицами, тот самый, что шили в порту Гольтенау в 1927 году для всего экипажа «Товарища»...

Хмелевский узнал меня. Его добродушное лицо со слегка полными щеками засветилось улыбкой. «Много времени прошло, а всех помню, – сказал он, поправляя форменную фуражку. – Всех помню, вы были в первой вахте, на фок-мачте». Эта встреча с боцманом Хмелевским

была у меня последней...

Журналист А. Пальм в очерке «В гавани, далекой гавани...» привёл сведения об О. А. Хмелевском из судовой роли 1941 года: «*Иосиф Адамович Хмелевский: боцман, 70 лет, ушел на шлюпке из Мариуполя в Ейск, оттуда в батумскую мореходку, где и умер в возрасте 82 лет*».

Впервые об Адамыче я узнала в детстве из рассказов моей мамы Ларисы Михайловны Ветчинкиной (Коленко), которая, учась в Одесском морском техникуме, проходила плавательную практику на барке «Товарищ» в июне-июле 1941 года. Мама говорила об Адамыче с особым теплом и большим уважением; рассказывала, что он умел соединять строгость к будущим штурманам и одновременно отеческую заботу, особенно к девушкам-практиканткам. Моя мама называла боцмана человеком-легендой, образ которого жил в душе до последних дней маминой жизни.

ЛИТЕРАТУРА

- Беленкович К. Адамыч / Ким Беленкович // Моряк. – 1967. – 28 января. – С. 3.
- Викторов В. Море-учитель / В.Викторов // Смена. – 1939. – №321. – С. 16 – 18.
- Григор М.И. «Товарищ» идет в Балтимор / Михаил Григор. – Одесса: Маяк, 1973. – 116 с.: ил.
- Крон А.А.Капитан дальнего плавания: Повесть о друге / А.А.Крон. – Киев: Политиздат Украины, 1989. – С. 98. (Люди и подвиги).
- На «Товарище» // Большевицское знамя. – 1941. – 19 апреля. – С.4.
- Пальм А. В гавани, далекой гавани /Аркадий Пальм // Дерибасовская-Ришельевская: Альманах. – 2003. – №13. – С. 77.

Алена ЯВОРСКАЯ. Тайны одесского кладбища.
Историческая справка.

«Осиротелые ветви низко склоняются...»

Старый одесский анекдот: Идут два еврея по кладбищу. Первый: «Здесь лежит банкир Ашкенази, я бы хотел лежать рядом». Идут дальше. – «Вот лежит адвокат Абрамович, я хотел бы лежать рядом. А ты?». – «Я? С Розочкой Рабинович». – «Так она же еще жива!» – «О!»

Евреи шутят обо всем, даже на такую печальную тему.

Самое яркое описание одесских похорон оставил Исаак Бабель в рассказе «Как это делалось в Одессе». Беня Крик утешает мать убитого случайно Иосифа Мунштейна: «Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...»

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настезь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков евреев, а за приказчиками евреями – присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

В городе нашем было не одно еврейское кладбище. Если верить Семену Гехту, ученику Бабеля: «...у нас там было четыре кладбища. На первом хоронили миллионеров и стотысячников; их укладывали в мраморные склепы с райскими изображениями на каменных плитах. Их отпевал кантор Маньковский [правильно Миньковский – А.Я.], их навещали толстые старухи в черных шелках. Они приезжали сюда в лакированных экипажах. <...>

– А на второе кладбище свозили адвокатов, зубных врачей и торговцев с «Привоza». Их отпевал кантор из Шалашной синагоги. Здесь не было склепов, но все же покойников размещали удобно...

– За зелеными оградами, – сказал Броун, – среди тенистых акаций... и сторожа обходили свои владения, прогоняя бродяг и любимные парочки.

– Третье кладбище, – продолжал я, – было далеко за городом, рядом с сумасшедшим домом, на глухой и скандальной слободке Романовке. В ужасной куче теснились бедняки и члены погребального братства; они жаловались, что нищие их разоряют. наших бедных отцов хоронили быстро и бесплатно. Вместо акаций рос дерн, вместо гранитных памятников над убогими и неряшливыми холмиками возвышались деревянные таблички...

– И еще было четвертое кладбище, – сказал Броун, – кладбище для самоубийц, для тех, кого религия поставила вне закона».

О роскошных памятниках упоминает и Бабель в рассказе «Король»: «Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора».

И в «Конце богадельни»: «Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и негоциантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджи-бей. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессены и Эфрусси, лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плеска, жавшегося к стенам».

История первого еврейского кладбища прослеживается по документам Одесского архива. И документы там можно найти самые разнообразные.

3 июля 1829 Одесский еврейский кагал пишет рапорт одесскому градоначальнику о недопустимости соседства кладбищ христианского и еврейского (участок хотели отвести для захоронения умерших в военном госпитале) «...имеет честь кагал поднести к рассмотрению поданное прошение братством, покорнейше просит повлиять, кому следует. Отведенное место оставить для еврейского кладбища, ибо сообщать христианское с еврейским погребением будет противно религиям – как первым, так и последним».

Рапорт этот последовал после поданного в кагал прошения Братства сословия еврейского Одесскому еврейскому кагалу: «...как сие место еврейскому обществу отведено здешним комитетом еще за градоначальничества г-на Дюка, то мы покорнейше просим кагал

предпринять меры в застраивании сего места».

Через два дня Одесский кагал обращается в Одесский строительный комитет: «Хотя кагал имеет отдельное от христиан кладбище, но как до сего малочисленно находление в Одессе евреев, то достаточно было по сие время к погребению умирающих на отведенном месте, а так как увеличилось еврейское общество, более стало умирать, то такового места к погребению евреев весьма недостаточно <...> кагал просит отвести в добавку к имеющемуся месту еще 25 сажень в квадрат, которое обязывается произвести сообразно плану комитета под оградой».

В 1836 вновь последовало прошение попечителей одесского братства Еврейского общества «О присоединении части места к еврейскому кладбищу для увеличения оногo» из-за увеличения численности евреев: «не зная, что они распространятся до такого множества, каково оно теперь состоит прибылью и поселением здесь из разных мест евреев»

В 1846 году о расширении кладбища за счет пустопорожнего места просили караимы. Но тут же возразили старшины Одесского еврейского погребального братства. В докладной записке Одесскому военному губернатору они просили об отведении этого пустопорожнего места для еврейского кладбища « т.к. евреев в Одессе до 16 тысяч, а караимов не более 200 душ». В предписании Строительного комитета архитектору Моранди было сказано об ограничении участка караимского кладбища «в уважение многочисленности населения в г. Одессе евреев и весьма недостаточного участка земли, отведенного под кладбище».

Кладбище расширялось: место отвели в 1836 году – по приказу градоначальника, а в 1846 и в 1856 – уже по распоряжению генерал-губернатора.

В 1860, когда строили новую ограду, возник спор с владелицей соседствовавшего с кладбищем хутора Максимовой из-за проезда на ее участок. Закончилось дело через год, в мае 1861, докладом «о неуместности претензий владелицы хутора и устройстве проезда между хутором и еврейским кладбищем».

Гражданская война изменила и жизнь кладбища. Семен Гехт писал об этом времени в повести «Пароход идет в Яффу и обратно»: «У Гордона был среди родственников один скорняк, заседавший в погребальном братстве. Теперь, когда Гордон ходил по улице, о нем часто шептались: «Вы видите этого мальчика? Это – Гордон. У него рука в погребальном братстве».

Впрочем, работать и даже просить милостыню на кладбище было делом опасным. «Одесский листок» 27 августа 1919 (день, когда из города ушли красные и пришли белые) сообщал: «Семь вооруженных грабителей явились на Второе еврейское кладбище и ограбили всех

служащих, посетителей и даже... кладбищенских нищих».

В марте 1920 контролер сообщал городскому начальству о том, что «хотя на основании формальных данных Еврейское погребальное братство имеет право на получение денег за похороны неимущих, но по существу платить не следует, так как означенное братство захватило в свои руки монополию на погребение евреев, и ни один еврей не может быть похоронен помимо этого братства, и братство, не боясь конкуренции, назначает за похороны состоятельных граждан такую плату, что с избытком покрывает свои расходы и получает очень значительный доход, выразившийся за прошлый, 1919 год, в сумме полутора миллионов рублей чистой прибыли. Таким образом, уплата Еврейскому братству просимых ими 180 583 руб. за прошлый, 1919 год, еще больше увеличила бы эту, и без того громадную прибыль».

Мрачную картину похорон дважды описывает Константин Паустовский – в дневнике 1920 и в повести «Время больших ожиданий».

«Дневник 1920 года»: «Вспомнил похороны Гартенштейна. Он был еврей. Что-то бормотал над ним рыжий синагогальный служка в пыльном цилиндре. На кладбище около гроба подрались канторы. Один из них взял верх и надрывно, отчаянно запел отходную. «Ой, лейбе, ицко, лейбе!» Было невыносимо тяжело. <...>Старик умер от тоски – пять дней ничего не ел».

«Время больших ожиданий»: «... гроб, взятый «напрокат», уже сотни раз перевозил на расшатанных дорогах покойников из города на еврейское кладбище.

<...>Я впервые был на еврейских похоронах. Меня поразила их судорожная спешка.

Приехали дроги, запряженные траурной пыльной клячей. Седой болтливый возница вошел в комнату, постучал кнутовищем по крышке гроба и сказал:

– А ну, герои, кто помоложе! Взяли! Подняли! Разом. Понесли! Осторожнее на поворотах. Того, кто строил эту лестницу, надо заколотить в гроб вместо этой девицы, чтобы ему икалось на том свете. Разве это лестница! Это головоломка, накажи меня бог!

Потом мы долго шли по булыжным мостовым, и дроги перед нами подсакивали и неожиданно сильно дергались из стороны в сторону, будто хотели сбросить гроб на землю, как норовистая лошадь сбрасывает надоевшего седока.

Кладбище лежало в степи за городом. Степь уже выгорела, несмотря на раннее лето.

Вдоль высокой кладбищенской ограды ветер нес теплую пыль.

<...> Вокруг не было ни одного дерева. Должно быть, их все порубили на дрова. Только одинаковые могильные памятники желтели по сторонам на грязной, неподметенной земле.

Могила была далеко. Мы бежали за дрогами вместе с толпой спотыкающихся кладбищенских нищих. <...> Торелли роздал нищим подаяние – по тысяче рублей каждому (в то время деньги уже поднялись в цене). Нищие, брали деньги неохотно и не скрывали своего недовольства. <...> Торелли не мог успокоиться и всю дорогу до дома время от времени плакал. А синагогальный служка ковылял рядом и говорил:

– Время лопнуло вдребезги, и я уже не узнаю людей, месье Блюмкис. Чем так хоронить, так лучше самому лечь в могилу, клянусь матерью».

Впрочем, читателям книги больше запомнился другой эпизод:

«Я помню, как ошеломило меня одно похоронное объявление и своим содержанием и своим умелым набором. Выглядело оно так:

Рухнул дуб ХАИМ ВОЛЬФ СЕРЕБРЯНЫЙ
и осиротелые ветви низко склоняются
в тяжелой тоске.

Вынос тела на 2-е еврейское кладбище тогда-то и там-то.

Это было очень живописное объявление. Можно было довольно ясно представить себе этот «могучий дуб», этого биндюжника или портового грузчика – Хаима Серебряного, привыкшего завтракать каждый день фунтом сала, «жменей» маслин и полбутылкой водки. Но всех особенно умиляли эти «осиротелые ветви» – сыновья и дочери могучего Хаима». (О Хаиме-Вольфе и его детях замечательно написал Александр Розенбойм).

И завершает рассказ о еврейском кладбище Исаак Бабель:

«В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они

пьянствовали в погребок Залмана Криворучки и подавали соседям обеды».

Но счастье заканчивается, новая власть выселяет нищих с кладбища. «Солнце стояло высоко. Зной терзал грудь лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу».

